

*НОВЫЙ
Журнал*

93

*THE NEW
REVIEW*

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1968.
2. Title of Publication—The New Review.
3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; President, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York, N. Y. 10025; Secretary, Prof. Zoya Yurieff, 46-04 196th St., Flushing, N. Y. 11358; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York, N. Y. 10032.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual). Not applicable.

10. Extent and Nature of Circulation.

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Single issue nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed	1550	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	400	400
2. Mail subscriptions	1100	1120
C. Total paid circulation	1510	1520
D. Free distribution/including samples/by mail, carrier or other means	30	40
E. Total distribution/sum of C and D/	1540	1560
F. Office use, left-over, unaccounted spoiled after printing	10	40
G. Total/sum of E & F—should equal net press run shown in A/	1550	1600
I certify that the statements made by me above are correct and complete. Roman Goul, Managing Editor		

THE NEW REVIEW *Новый Журнал*

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать седьмой год издания

Кн. 93

НЬЮ ИОРК

1968

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1968
Quarterly, No. 93
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>Л. Ржевский</i> — Сольфа Миредо	5
<i>И. А. Бунин</i> — Известные стихи	23
<i>А. Солженицын</i> — Правая кисть	25
<i>И. Елагин</i> — Стихи	36
<i>М. Булгаков</i> — Багровый остров, пьеса	38
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	77
<i>М. Л. Толстой</i> — Мои родители	80
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	109
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	112
<i>Л. Чуковская</i> — Ответственность писателя и безответственность «Литературной Газеты»	114
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	125
<i>Е. Шияев</i> — Аполлон Григорьев — критик	127
<i>Странник</i> — Стихи	143
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	145

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Г. Вернадский</i> — Братство «Приютино»	147
<i>В. Мороз</i> — Репортаж из заповедника имени Берия	172
<i>Письма московского писателя Ю. В. Мальцева</i>	204
<i>«Дело» Солженицына:</i>	
<i>А. Белингов</i> — А. Солженицын и больные ракового корпуса	209
<i>Документы по «делу» А. Солженицына</i>	220

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>От редакции</i>	269
<i>Д. Анин</i> — Пражские уроки	270
<i>А. Иванов</i> — Конец «рыночного социализма» в Чехословакии	281
<i>С. Пушкарёв</i> — Николай и Александра	295

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>И. Бергер</i> — О И. А. Пятницком (Тарсисе)	309
--	-----

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013



СОЛЬФА МИРЕДО

1

Когда водишь тряпочкой с живой водой памяти по засвеченным негативам прошлого — что оживает первым?

Звук?

Запах?

Цвет?

Слово ?

2

Подходя к этому особнячку в одном из приарбатских переулков, я прежде всего слышал гаммы — хроматические двенадцатизвуковые, минорные (эолийские) и мажорные, натуральные, восходящего или спадающего звукоряда.

Гаммы вылетали из фортки барского — нижнего — этажа, второй был мансардный, как обычно в этих донаполеоновских постройках.

В парадном пахла навстречу мне лестница — свежей масляной краской, то-есть олифой, то-есть отчасти чем-то вроде сардин; еще — деревянной обшивкой стен и чуть кошками: в мансарде, я знал, было их несколько штук.

Дверь в квартиру пушисто и вафельно была обита зеленой клеенкой. Эта зелень, и яичного цвета ступени, и запах сардин обещали некий почти на вкус осязаемый московский уют.

Минуя звонок, я стучал в зеленую вмятину двери:

— От-во-ри-те!

Взято это из глинковской «Жизни за царя». Там некий отрок, исполняемый великолепным контральто, колотит в ворота лавры, за которыми спасается русский будущий царь, и выпевает этот музыкальный третий пэон:

— От-во-ри-те!

Потом (по старому либретто) в отчаянии ждет, когда ему

отопрут, и, присевши на камешек, начинает знаменитую арию:

Ты не плачь, не плачь, сироти-инушка,
Ах, не мне, не мне-е царя-а спасать!...

Я не присаживался на ступеньки и не отчаивался, если сразу не было отклика, но стучал еще и еще.

Дверь, наконец, чмокнув клеенчатой кромкой, приоткрывалась на ширину цепочки, и в узком растворе встречал меня темный с чуть испуганными ресницами глаз, и милый, тоже словно бы чуть испуганный голос говорил с придыханием:

— О, это вы!...

3

Вот ведь все в том самом порядке и припомнилось, как предположил: звук, запах, цвет, слово!...

Воображаемый разговор с читателем:

— А проще не можете?

— ?

— Проще, спрашиваю, не можете рассказать? Без этих ваших словесных росчерков и речитативов?

— Вряд ли. Ведь это у меня голос такой... Саксофон! Но — буду стараться...

4

...Которая встречала меня в дверном растворе, звалась Мисюсь.

Да, да! Был такой плагиат. Совершился в год, когда умер Чехов и родилась она; когда в ее семье культ этого самого поэтического из русских прозаиков стал почти религиозным, а критики еще не успели сделать образ девушки с трогательно слабыми руками хрестоматийным.

Мисюсь осиротела в малолетстве, — бабушка отдала ее в один из московских институтов, где воспитанниц одевали в зеленые длинные платья с пелеринками и прюнелевые обутки.

Я ходил туда в качестве дальнего родственника, также и на одну-другую из их танцулек. Мне казалось тогда, что именно для нее, для Мисюсь, были придуманы эти зеленые пеле-

ринки, так хорошо оттенявшие взмах несмелых ресниц и матовый блеск волос — каштановых, когда были скручены в косы, и золотеющих, когда попадали в световой сквозняк надо лбом и в завитках на затылке. Казалось мне также, что только у нее у одной эти прюнелевые с ушками ботинки не выглядели уродливо...

Лучше всего помню последнюю встречу уже зимой двадцатого года, когда разогнали их всех по домам.

Протопав от Рогожской заставы через весь город, выступал смерзшимся кулаком свой пэон в зеленую дверь (звонка уже не было).

Открыла Мисюсь в бабкиной, проглотившей ее с головой, шубе и в чёсанках, которые переламывались в следу пополам — там, где кончалась ее собственная крохотная ступня.

— Не раздевайтесь! — сказала она глухо вместе с облачком пара из-за меховых створок ворот. — У нас как на улице...

Обе жили теперь, оказывается, в одной комнате, куда из остальных переехало все, что только можно было сюда затолкать. Перед диваном — жестяная печка с дымоходом из водопроводных ворованных труб. Тоже и в этой комнате вставал от дыхания пар.

— Не могу растопить! — сказала виновато Мисюсь. — Что-то для этого надо, не знаю...

Надо было выгрести золу. Я это и сделал, напустив в воздух тысячи серых разнокалиберных мотыльков из бумажного перегоревшего праха.

Топили Шиллером в парадном издании Брокгауза и Ефрона, и первая порция топлива раскрылась на трогательнейших строках:

Ах, почто за меч воинственный
Я мой посох отдала,
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была!...

Мне, Пречистая, являла Ты
Свет небесного лица

И венец мне обещала Ты —
Недостойна я венца...

Второе сожжение Орлеанской девы вместе с комментариями и плотным — по синему золотом — переплетом довели печную жечь местами до персикового каления. Стало тепло.

Ведь вот вовсе не ново: сколько уж было таких пассажей, а отказаться нет сил! Когда пружина рассказа заключена в «помню» — не выкинешь самого банального описания, как слова из песни.

Помню: метроном на пианино, оттаяв, будто приготовился отстукивать такты в немзыкальные уши бабушкиных учениц. Отрок Варфоломей в черной узенькой рамке с нестеровской дарственной надписью под босыми ногами, благодарственно сложил ладони во славу огню.

Стало тепло, как в субтропиках.

Сравнение шло — от пальмы подле бабушкиного киота: в полыханьи печного жара мерещились ей теперь горячие пески, и она помавала на нас в воздухе острой стрельчатой кроной.

Тоже и киот, растеплев, озаренный лампадкой, мерцал и переливался косыми короткими лучиками и брызгами, летящими с риз. Это была совершенная бабушкина слабость (или, может быть, сила!) — иконы, в три, не то даже в целых четыре яруса — их тут хватило бы на некрупный иконостас. Некоторые, особенно примечательные, помню и посейчас: св. Николай Мирликийский, покровитель семьи, вышитый шелком, с венчиком из алмазной крошки; он же — спасающий утопающего отрока, писанный, по бабушкиным словам, еще в семнадцатом веке; Богородица Умиление — в складне, который всегда был раскрыт над самой лампадкой; этот образ под серебряным плотным литьем считала она чудотворным; боковые створки складня почему-то риз не имели; на матовой черни их, яично-терракотовые и растепленные, протаивали сейчас лики святых.

Но пуше вещей растеплили мы сами.

Я стащил с себя фуфайку, мечтал скинуть и буцы, в которых еще застревала промерзлость, но старомодно совестился дырявых носков. А Мисюсь чёсанки скинула и поджала под се-

бя голые ноги, пряча от меня — было ведь когда-то такое стыдливое время! Я же глазел вовсю: так непривычен казался мне ее новый, домашний облик — светлый и батистовый после институтской крашеной униформы. В меховых разводах бабкиной шубы, сброшенной на диван, она была похожа на андерсеновскую Дюймовочку, какой изображают ее иллюстраторы — тоже с поджатыми ножками, игрушечно-хрупкую, в раскрытой купавке или на каком-нибудь пловучем листке.

Помню, представилось мне, что колющие чёсанки непременно должны были больно натереть кожу у нее на подъеме — она перехватила мой взгляд и натянула подол на маленькую ступню. Потом, отвернувшись, стала ворошить кочережкой тлевшую еще стопку шиллеровых страниц. На масляно обуглившихся полях отблескивало «40» — номер страницы. Кочережка задела за край, и отблеск пропал. Где-то у сердцевины стопки жили еще, может быть, черные на сливочно-желтом грядки слов — монолог, может быть, какого-нибудь маркиза Позы. Долой маркизов! — подкинутый кочережкой монолог вспыхнул дымчатым по краям языком. «Давно бы так!» — сказала Мисюся.

Вместо кос она соорудила теперь узел, круто сплывавший на затылок. Два каштановых завитка под ним, когда она орудовала кочережкой, вздрагивали кротко и умирительно.

Умиление, впрочем, примысливаю я, должно быть, только теперь, вспоминая. А тогда было другое. Было внезапное предвкушение открывающегося тебе счастья, совсем близкого, совсем рядом; и от этого горячего предвкушения все вокруг — пальма, киот, отрок Варфоломей с молитвенными ладонями, цифра «40» под кочережкой, мистически слагавшая возрасты «17» и «23», — все казалось мостиком к этому счастью, нетерпеливым и кратким, не длиннее клавиатурной октавы — расстояния, на котором сидела она от меня.

А потом, уронив кочережку, повернулась ко мне лицом; в радужках над зрачками — побежденная робость, и просьба, и чего только не было, перехватывающего у вас дух:

— Бабушка велела спросить: будете вы перебираться к нам в детскую?

«Детская» была третья их комната, еще не отобранная дом-

комом. Перебираясь туда, я избавлял их от уплотнения. На Рогожской своей заставе я был одинок; бывшая гостиная, где жил, окружалась кольцом трех вселенных в квартиру семейств. Я торжественно обещал родным сохранить ее вместе с вещами во что бы то ни стало, но что значили обещания перед описанными выше радугами глаз и словами, звучавшими для меня тогда, в моем предвкушении счастья, как симфония:

— ...будете вы перебираться к нам в детскую?

Забавная одна подробность: в детской, я знал, бродила привязанная за ногу курица, подаренная бабушке одной из фортепьянных учениц. Дар предполагалось зарезать, но Мисюсь, в слезах, воспротивилась, уверяя, что курица вот-вот соберется нестись.

— А что будем делать с курицей? — спросил я.

— Вы переедете к нам? Да?...

— Завтра же!

— О! — сказала она беззвучно, потянув в себя воздух, и положила мне на плечи руки с запястьями узенькими, как у ребенка.

Тут же, помню, или почти тут же раздался в прихожей бабушкин стук в дверь.

Она так и ввалилась к нам, почти не отряхнувши снега, с белыми, тоже как снег, волосами из-под платка и порывисто молодыми, несмотря на свои почти шестьдесят, движениями. Обняла обоих, обрадованная теплом, и тут же, едва скинув шубку, утопила в жестяном чайнике электрический варварской конструкции кипятильник, какими пользовалась тогда вся Москва.

— Бабушка, он к нам переезжает!

— Когда?

— Завтра.

В дальнейшем течении того вечера слово **завтра** в разнообразнейших сочетаниях было повторено, я думаю, не менее сотни раз: «к завтраму» были заказаны санки для перевозки с Рогожской моих пожитков; «завтра поутру» Мисюсь с какой-то дружелюбной соседкой должны были вымыть в детской окна и стены; «завтра в обед» бывший дворник брался зарезать кури-

цу, так и не успевшую доказать свою способность нестись; «завтра вечером» должно было произойти новосельное торжество; и т. д.

— До завтра! — шепнула в дверях, провожая меня, Мисюся, и, как я понимал, не обняла меня потому только, что и поцелуй мысленно отложила «на завтра».

Но **завтра** не состоялось.

5

Завтра — увы! — отодвинулось на целых пятнадцать лет!

Вернувшись — уж почти в ночь — на Рогожскую, я застал у своей двери нашего управдома с бегающими глазами и повесткой: велено было явиться в ближайшее отделение милиции, когда б ни пришел.

Три «вражеских» частушки, сочиненные из озорства, две неполадки в метрическом свидетельстве и один донос — восстали против нашего с Мисюсь «завтра».

Частушки обошлись мне почти в три года отсидки — по году за каждую; неполадки с рождением — в пять лет дальней высылки; итого — восемь лет. Семь остальных съел быт, припавший к месту.

Повести из пережитого за эти годы не сделаешь: все слишком как и у многих других и провинциально.

А с темой «Разлука ты, разлука!» можно было бы попробовать что-нибудь вроде романа в письмах в духе неосентиментализма, но — увы! Приарбатских писем за все эти пятнадцать лет я получил только три — в ответ на полдюжины, примерно, своих, посылавшихся главным образом с оказией.

Письмо первое — от Мисюсь, в первую же, особенно долгую зиму сиденья.

Она писала, что, как Робинзон, отмечает зарубками недели и месяцы моего срока, т.-е. «сколько осталось, пока вас выпустят». Дальше — про дворника, который вместо меня вселился к ним в «детскую» и которого они с бабушкой прозвали Сольфа Миредо: «Похоже на его настоящее имя (полунацмен какой-

то), и когда услышал, как бабушка эту гамму пропела, был потрясен и все тянул басом: «соль-фа-а-ми...» И знаете: заступился за нас, когда хотели отнять мою комнату, а мы с бабушкой чтобы в одной»...

Второе письмо получилось лет семь либо даже восемь спустя. Писала бабушка в своей деловито-сжатой манере. О себе: «Бегаю по урокам с утра до ночи. Ничего, жива...» О Мисюсь, которая кончила какой-то прикладного художества техникум и теперь раскрашивает какие-то снимки: «В университет, как понимаешь сам, ходу ей не дали. Был жених, прелестный юноша и талант. Готовили свадьбу, но неожиданно отправили его в командировку, туда же, где мой Коля, я думаю. Представь: ей всего двадцать семь, а вчера седой волос у нее нашла...»

Коля, бабушкин сын, был расстрелян в 19-ом. Неужто и «прелестный юноша» тоже? Бедняжка Мисюсь!...

Признаться, в последние годы московское прошлое стало из памяти моей утекать: была уже семья, была начатая в заочном одном институте небольшая работка, которую собирался печатать, и прочее...

Прошлое это воскресло при чтении письма третьего и последнего, писанного когда-то ровным, как снизка бус, почерком Мисюсь, теперь испорченным ненужными нажимами и сползавшими книзу концами строк. «Бабушка третий год как слепла», — читал я, — «она ослепла совсем и у нее парализована вся правая сторона. Врач ждет вот-вот нового удара, и это будет конец. Если будет, я, кажется, тоже не захочу жить. Приезжайте проститься с нами».

Мучительное письмо, за которым я, как ни старался, не мог представить себе Мисюсь, какой ее помнил.

Воскресло московское прошлое так, что, едва дождавшись лета, я всеми неправдами раздобыл полукомандировку в Ленинград, где помещался стационар моего института.

День — по пути — я мог провести в Москве.

Сила привязанности к родным местам проверяется сердцебиением. Подмосковные высокие платформы чиркали, казалось,

не по ребрам сибирского моего экспресса, а по грудной моей клетке, и с каждым разом острее. Клязьма! Тарасовка!! Мытищи!!! Дыши, чтобы подкинуть артериям кислород! Чаше дыши!...

Москва!

У меня дух заняло на Каланчевской — сколько отсюда езжено!... Немного отпустило в метро — великолепно, но это не та Москва, в которой я вырос! Загорячело в груди, когда вылез у Дворца Советов и шел по Гагаринскому. А когда завернул в свой Приарбатский — сердце колотилось уже где-то в горле.

В парадном пахла навстречу лестница — масляной облупившейся краской, жухлостью дерева, подтачиваемого жучком, и кошками.

Клеенка на двери полопалась и сопрела: в прорехи ползли серые клочья ваты; было похоже — так мне вдруг показалось — на перевязку, забытую на уже безжизненном теле.

Минуя табличку — сколько кому звонить, выстукал кулаком в сальную вмятину свое:

— От-во-ри-те!

И еще раз.

И еще...

Дверь, наконец, чмокнув клеенчатой кромкой, открылась на ширину ржавой цепочки, и в узком растворе глянул на меня темный с чуть испуганными ресницами глаз, и милый (они не меняются ведь с годами, эти женские голоса!) — милый голос произнес с придыханием:

— О, это вы?...

Она всхлипнула и прижалась ко мне щекой, обхватив за плечи. Разглядеть ее я не мог в потемках прихожей и от слез, заставших глаза. Но неожиданно и обидно различил запах несвежего платья, неухоженной кожи, дурно промытых волос...

— Какая радость для бабушки! Она так вас ждала! — говорила Мисюся, ведя меня через свою комнату. И шопотом у двери:

— Ей совсем нельзя волноваться. Пойдите минутку, я предупреджу.

Она отвернулась от меня раньше, чем договорила, прочтя,

должно быть, почти испуг на моем лице. Разве что в этом ее повороте с дрогнувшими на затылке завитками было что-то от прежнего. Остальное — тусклый прямой пробор, раздавленные бедра, приземленная, вязкого шага, фигура — оскорбительно отрицали Мисюсь моей молодости. Да полно, была ли когда-нибудь та, другая, Мисюсь — светящаяся, словно шелком по облаку вышитая?...

— Войдите!

А за порогом, куда шагнул, прошлое будто застыло. Пальма, киот, метроном на пианино — все, как когда-то. Голова на подушке в белых космах волос; кружевные оборки под подбородком и на запястьях — как прежде. Кисть руки, приподнявшейся мне навстречу — с теми же коричневыми старческими крапинками и заботливо отполированными ногтями...

— Ты, верно, неверующий, как нынче все, — сказала бабушка (Мисюсь промокала ей в это время слезы в глазницах). А мы сначала помолимся. Дай складенёк мой, Мисюсь...

— «Матерь Пречистая», — читала она голосом, который обычно называют «срывающимся» и «слабым», но которого внутренней силы хватило бы на полдюжины бессильных вроде меня, — «не отвергни благодарения нашего, не оставь нас заступничеством своим, Господа Иисуса Христа ради»...

Мисюсь, шевеля беззвучно губами, повторяла слова.

А я все рассматривал комнату, в которой был последний раз пятнадцать лет назад и в которой время остановилось. Нет больше буржуйки (может быть, только пока не сезон); на оставших обоях — несколько невыцветших четырехугольных пятен, в том числе — на месте отрока Варфоломея с молитвенными ладонями. И киот! Я сразу заметил в нем странное, но не вдруг установил, в чем дело: ни одной на иконах ризы! Сверкающий прежде, он как паутиной заткан теперь чернотой. Лампадка бессильна хоть сколько-нибудь ее расплавить.

— Ну, садись! — говорит бабушка, и Мисюсь ставит складень на место, — Не скажу «дай на тебя посмотреть!» — видишь: ослепла! И ведь вот семьдесят лет слушала жизнь, как музыку; думала: слушать — нет важнее и дороже. А теперь, что ни заиграет Мисюсь — не могу: шарманка! А как подумаю, что

никогда больше не увижу заката, ни шмеля на цветке — гневлю Господа, плачу и плачу!... И картин — ты знаешь, я все заграничные галереи обтопала, прежде ведь не держали народ под замком, — и любимых картин не увижу, ни даже икон своих. Тех, что вон в киоте... Бывало, лежу вот так, как сейчас, и все гляжу на свечение это золотое и — как оживают лики... Ты ведь помнишь мои иконы? Ризы, бывало, сама заказывала первейшим в Москве мастерам. У Николы, например, Мирликийского — слева в третьем ряду — риза Прохорова работы, он ведь и гравер был чудесный, — так на венчике молитва Господня вязью вырезана, без лупы и не прочтешь — тонкость такая! Ты встань, погляди...

— Но, бабушка...

— Ради Бога! — слышу я над ухом шопот Мисюсь. — Ради Бога! — Она прижимает палец к губам.

— О чем вы там?... — спрашивает бабушка. — Подумала ты, Мисюсь, чем его угощать? Прежде, помню, он очень любил варенье. Чайник поставлен?

— Так ты помнишь мои иконы? — повторяет она, когда уходит Мисюсь. — Маленькая, со Спасом, что в самом нижнем ряду — это из церкви св. Духа в Зачатьевском, когда собрались разорять монастырь. Век, должно быть, семнадцатый. А крест рядом — новгородская старина. Подарила было его нашей церкви Успенья, что на Могильцах, да, слава Богу, поспела обратно взять, когда из нее склад устроили. А над лампадкой прямо, видишь? — это копия с чудотворной иконы Скорбящей Божьей Матери, что в селении Императорского Стекланного завода в Петербурге. Это благословение мне старца Анатолия из Оптиной пустыни. Риза — тоже прохоровской резьбы. В правый там обшлажок я три розочки из своего кулона велела вставить. Три алмазика. Видишь, как горят?

Мурашки бегут у меня по спине от этого вопросительного взгляда невидящих глаз.

— Горят замечательно! — говорю я, глядя в безрадостно тусклый угол. И когда она переводит дыхание — ей труден длинный такой монолог! — спрашиваю:

— Можно мне ненадолго исчезнуть — до арбатского толь-

ко гастронома? Что я привез с севера — это не гастрономическое. А хорошо бы шампанского по случаю встречи...

Она неожиданно легко соглашается, и я поднимаюсь.

В полутемной передней, когда открываю дверь, — две фигуры. Одна, помельче, торопливо отлипает от большой, и я не столько вижу, сколько угадываю смятенное лицо. По лицу большой пробегает полоска света, когда открываю дверь, и мне видны желваки и отеклости щек и нижняя мокрая губа. Качнувшись, фигура эта тяжело поворачивается и уходит.

— Сольфа Миредо... — говорит Мисюсь и, выслушав, куда иду и зачем, добавляет, выпуская меня:

— Он пьян...

7

Я выключу теперь себя из рассказа, пока хожу в гастроном.

Выпустив меня, Мисюсь (так я, по крайней мере, воображаю) долго еще стоит в полумраке прихожей — в смятении, может быть; заламывая руки, может быть; перебирая, может быть, в памяти тех, чьи судьбы вторгались в ее собственную судьбу за эти пятнадцать лет...

8

Сольфа Миредо...

У того, к кому приросла эта странная кличка, два облика. Две ипостаси — как сказала бы бабушка.

Ипостась первая — покуда была жива Дина, его жена. В детскую переселили их из подвала, и оба, как маленькие, радовались избытку света в венецианском окне, резным узорам на потолке и веселому колеру штофных обоев.

— Бабушка, он похож на гориллу! Посмотри: руки почти до колен, и какие клешни к ним подвешены! Челюсть — как у щелкунчика. А лицо доброе, как у ребенка.

— Дети бывают злы, Мисюсь.

— Мой — как овечка. Чего прикажу, то и сделает!

Она была в самом деле аккумулятором душевной и вещной жизни обоих, Дина, маленькая, смуглая, как цыганка, и необычно, совсем не по времени, доброжелательная. «Оттягать

хотят комнату? Я скажу своему, чтобы внушил, где надо. Чай теперь он рабочий, перевела его на свою фабрику, в дворниках неча сидеть! Трубы, говорите, дымят? В выходной он прочистит...»

По воскресеньям оба являлись слушать музыку. Оставались сидеть и тогда, когда приходила случайная праздничная ученица. На таком как раз уроке и была пропета нисходящая гамма, родившая прозвище:

До-си-ля-соль-фа-ми-ре-до!

— Бабушка, ты слышишь: он все про себя мычит: соль-фа-ми... И у него в паспорте «Зольфа» — имя, а фамилия, не помню, не то Мюридов, не то Муреев, но тоже похоже...

Оба у бабушки проходили ликбез, и на аттестатах, выданных культотделом домоуправления, красовалась ее подпись.

Дальнейшего просвещения, правда, не получилось.

— Он сам «нисходящий» какой-то, бабушка! — огорчалась Мисюсь. — Дала ему «Записки охотника» — принес обратно, сказал «чижало» и взял старую «Ниву».

Дина невидимо, но благословенно управляла коммунальным благополучием целых двенадцать лет. Когда она погибла от взрыва в фабричной котельной, бабушка месяц ходила в черном.

А Сольфа Миредо стал пить.

Запой образовал вторую его, позднейшую ипостась.

9

Пьяный он был молчалив, почти страшен этой своей молчаливостью и налитым нечистой кровью лицом, но потребность общения испытывал неудержимую.

Топал к соседям, и, чтобы как-нибудь его выдворить, они представлялись, будто вот-вот должны уходить.

Приходил к бабушке, и она отчитывала его за пьянство часами. Может быть, это напоминало ему динины головомойки — он покорно слушал, навалиясь спиной на косяк, кивая выпершей своей челюстью в знак согласия.

Когда с бабушкой случился удар, он пропадал в запое неделю, и домой привели его из милиции.

Наутро, чуть свет, постучался к Мисюсю — разжиться на четвертинку.

Принимая трешку, мутным — искоса — взглядом повел по накинутому наспех халатику, и от этого взгляда ей стало не по себе.

Взгляд этот так и застрял у него, даже и трезвого, и, встречаясь на кухне, Мисюсю обходила его глазами.

Одним поздним вечером, когда, перемогая сон, она кончала срочную партию своих разрисовок, он вошел к ней без стука.

— Надо стучаться, Сольфа. Чего тебе? — спросила она.

Он не ответил, тупо глядя на пятно света под абажуром, в котором пестрели ванночки с красками и водила кисточкой ее рука.

Потом двинулся к ней, покачиваясь — мокрые губы в обрывках беззвучных слов, под набрякшими веками — тот же пугающий взгляд.

— Сольфа, ты — что?... — выдохнула она, поднимаясь на встречу, и с ужасом обернулась на бабкину дверь — заперта, но — Господи! все равно ведь немисливо закричать...

— Ты с ума сошел, Сольфа!...

Он обжал ее лицо пятерней и толкнул на софу.

10

У нее теперь становилось влажно под мышками, когда раздавались за дверью волочущиеся шаги. Дней пять после того вечера, подолгу прижималась ухом к дверной скважине, прежде чем откинуть крючок.

На шестой он подкараулил ее в коридоре; она сопротивлялась, била ногами, но он прихватил ее в обхват, как котенка, и отнес к себе.

Потом, осмелев и в часы совершенной осоловелости, просто вызывал ее стуком.

— Мисюсю, ты не слышишь разве? Стучат к нам! — кричала бабушка.

Она выходила, загораживая спиной дверь, и ноги у нее становились ватными.

В первый раз, когда, вызванная им, она уже без сопротивления вошла к нему в комнату, он не отпускал ее от себя больше часу.

А когда уходила — протянул что-то завернутое в порванный номер «Правды»: — Выciniла бы мне, Маша. Один я...

Были в свертке желто застиранные кальсоны, лопнувшие на мотне, и домашней вязки носки с протертыми пятками.

Натянув на штопальный гриб гигантский носок со ступней, похожей на устье Волги, она вдруг отбросила его в сторону и замерла, обхватив ладонями голову.

— Кто я теперь? кто я? кто?... — твердила она про себя, кусая губы.

11

А затем Сольфа Миредо стал требовать денег.

В ту пору его уже уволили с фабрики, и он снова что-то делал по дворам и по дому, куда позовут.

Когда бывал трезв.

Но это случалось все реже, и из рублевых и трехрублевых бумажек («скинуться на пол-литра!»), которые давала ему Ми-сюсь, можно было снизить недурную праздничную гирлянду.

Как раз это и было в октябрьское послепраздничное похмелье, когда он, распухший и злой, вызвал ее в прихожую.

— Ни копейки нет, Сольфа. Последнее заплатили вчера за дрова.

— Неси ик... иконку — сказал он, вязко ворочая языком. — Серебро — в торгсин. Богу не надо...

Она не вдруг поняла — так это было внезапно. У него совсем белые глаза, и из угла рта тягучая струнка слюны.

— Ты не в себе, Сольфа? Бабушкины иконы? Выкинь из головы раз навсегда.

— Машка!...

— Ни за что! — почти выкрикнула она, поворачиваясь к нему спиной.

Он не сильно, но злобно ткнул кулаком и дрогнувшие на ее затылке все еще притягательные завитки — и она упала на стул подле зеркала, закрыв руками лицо.

— Не принесешь — пойду сам! — сказал он и, показалось ей, сделал шаг.

Тогда она поднялась, пошла в комнату, оставив открытой дверь, и через полминуты вернулась с иконой.

Следила со страхом, как, неловко орудуя перочинным но-

жом и роняя на пол крохотные серебряные гвоздики, он снял и прикинул на ладони неожиданно легкую ризу.

Потом вытянула из его рук образ, странно помолодевший лаковой молодостью вдруг заигравших красок, — это была Скорбящая, благословение старца из Оптиной, вынутая ею из киота вслепую.

Придя к себе, поставила образ на рабочий свой столик и бросилась на колени.

— Владычица! прости, прости... — шептала она.

— Кто это был, Мисюсь?

Приходил Сольфа за книжкой, бабушка!...

12

Сияющий угол тускнел и заплывал тьмой.

Был, конечно, и хозяйственный небольшой профит, помимо спиртного: раза два-три — на платье, и для бабушки — импортный кофе, без которого она не могла жить.

Затмение угла кончилось, не дойдя до заветного складня: «Через мой труп, Сольфа! Она не переживет, если все раскроется».

— Это точно...

А металл на лампадке оказался бронзой...

13

Да, мне представлялось на самом деле, когда возвращался из гастронома, будто Мисюсь, погруженная в эти свои воспоминания, все еще стоит в полутемной прихожей. — Ничуть не бывало! Она возилась на кухне с глазуньей и свое «От-во-ри-те!» я повторил трижды.

Ленинградский экспресс «Красная стрела» отходил только в начале первого, но увы! в тот вечер, за шампанским с яичницей, мне хотелось подтолкнуть стрелку часов: в таком все у нас получалось миноре.

Бабушка перебрала жертвы победоносного режима из числа общих знакомых и родственников — вереница некрологов, очень живых, хоть записывай! Но щеки у нее при этом заливались болезненным багрецом, и никак не отвести было ее от нездоровых тем.

— Ведь этакая дрянь! — говорила она про чайную ложечку из алюминия, нащупав ее вслепую дрожащими пальцами. — Тебе претит, верно, наша мерзкая сервировка? Но знаешь: перед тем как взорвать наш храм, они объявили сбор серебра по прихожанам: наберется, мол, достаточно — пощадим! Мы с Мисюсь сдали больше пуда, до последней серебряной застёжки с альбома; тоже и другие нанесли... А потом его все-таки взорвали... Богатейший в стране храм! Памятник славы...

— Бабушка, тебе нельзя волноваться...

— Теперь они распродают Эрмитаж. Племянник приехал, искусствовед, ты его знаешь. Рассказывал — по секрету, конечно, может стоить ему головы! — половину самых ценных картин спланировали за границу! Спросила я про одну вещь Ватто, которую люблю — в парке, на скамье, человек в чулках и камзоле, с гитарой... «Продана», — говорит. Это — как считать? Каким словом называется?...

— Бабушка!...

Под конец, когда Мисюсь вышла зачем-то и мы остались вдвоем, она поманила меня к себе:

— Нагнись! Хочу спросить: что ж, уходит совсем наша Россия? Не будет ее больше никогда?

И не дождавшись ответа:

— Ладно. Заедешь на обратном пути? Нет?... Стало быть больше не увидимся. Ну, прощай! Постой, просьба есть: когда умру, устрой так, чтобы Мисюсь отсюда уехала. Сделаешь? Ну, дай обниму...

Она крепко обняла меня здоровой рукой — другая мертвенно выпросталась вдоль постели. Да и сама она — чувствовал я — наполовину уже была не с нами...

И, когда прощались с Мисюсь:

— Если случится что с бабушкой, напишите сейчас же.

Она кивнула.

Я мог бы тогда найти вам работу в наших краях. Поедете?

Не знаю, вряд ли... Я приросла к этому углу.

— Мисюсь!

— Мисюсь больше нет! — сказала она вдруг твердо, в первый, может быть, раз за всю встречу посмотрев мне прямо в глаза. Станный был этот взгляд: тоже очень прямой и твердый, но нельзя было не разглядеть слежавшейся в нем тоски. — Мисюсь больше нет, — повторила она. — Я не знаю, как назвать то, что от нее осталось... Но то, что осталось — другое...

14

Что же (если повторить вопрос) оживает раньше, когда ворошишь в памяти пережитое?

Звук?

Запах?

Цвет?

Слово?

Может быть, прежде всего — чувство утраты, для которого цвет, звуки и запахи суть смутные облики миновавшей нас жизни?

Оно, это чувство, помню, как раз и охватило меня, когда звякнула цепочка, которой Мисюсь заложила за мною дверь.

«...Не будет больше никогда»...

Бабушкиного сверкающего в углу иконостаса.

Отрока Варфоломея с молитвенными ладонями.

Прежней Мисюсь.

Помню, я выжимал из себя это чувство утраты по капле, идя к Арбатской, где хотел взять такси. Над переулком, которым шел, и Гоголевским — поперек — бульваром плыла июньская ночь, налитая живительным — так мне по крайней мере казалось — воздухом, который, после пятнадцатилетней разлуки, я глотал, как вино.

И делалось легче...

И то сказать: было тогда неведение катастрофы, стоявшей уже на пороге и грозившей другой, еще более непоправимой, разлукой.

И вера, что жизнь еще не вся позади.

Л. Ржевский

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И. А. БУНИНА

По древнему унывному распеву
Поет собор. Злаченные столпы
Блестят из тьмы. Бог, пригвожденный к Древу,
Почил — и се, в огнях, среди толпы.

И дьявол тут. Теперь он входит смело
И смело зрит простертое пред ним,
Нагое зеленеющее Тело,
Костры свечей и погребальный дым.

Он радостен, он шепчет, торжествуя:
На долгий срок ваш Бог покинул вас,
Притворное рыданье ваше вскуе,
Далек воскресный час!

27.VI.16.



В столетнем мраке черной ели
Истлела¹ темная заря
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом янтаря.
И на скамье сидел я старой,
И парка сумеречный сон
Меня баюкал смутной чарой
Далеких дедовских времен.

Эти неизвестные стихотворения И. А. Бунина присланы нам из его архива Л. Ф. Зуровым. РЕД.

¹ В первой редакции было «краснела темная заря».

И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твоей рояли
Про невозвратный небосклон,
Что был над садом² — бледный, ровный,
Ночной, июньский, — тот,³ где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеких лет.

16.VII.16.



Сомкнулась степь сияющим кольцом
И нет конца ее цветущей нови.
Вот впереди старуха на корове,
Скуластая и желтая лицом.

Ровняемся. Халат на вате, шапка
С собачьим острым верхом, сапоги...
— Как неуклюж кривой постав ноги!
Как ты сатра и узкоглаза, бабка!

— “Хозяин, я не бабка, я старик.
Я с виду дряхл от скуки и печали,
Я узкоглаз затем, что я привык
Смотреть в обманчивые дали”.

9.VIII.16.

Ив. Бунин

² В первой редакции было «надо парком».

³ В первой редакции было «там, где след».

ПРАВАЯ КИСТЬ

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать.

А меня вернули пожить еще.

Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганная ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Еще не смел сам себе признаться, что я выздоравливаю, еще в самых заветных мечтах измерял добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, — я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов Медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей тошноты, и прилечь, ниже опустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их, и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную страну — и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был **навечно**, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Этот рассказ А. И. Солженицына получен нами с оказией из СССР. Там он напечатан не был и ходит в списках. Мы получили его и печатаем без ведома и согласия автора, в чем приносим ему наши извинения. РЕД.

Обо всем этом я не мог рассказать окружающим меня вольным больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размышлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус к жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном переступе еще слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вздохе. В одной не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Все было для меня забыто или невиданно, все интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брендсбойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более жеребенок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкой швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к главным воротам, белел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше на пути к воротам, с равномерной разрядкой расставлены были и другие бюсты, поменьше. Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашники и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные, — а книжки записные у меня уже в жизни бывали, а потом попадали не туда, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагались: фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал. — Этих отдель-

ных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть, со столиками, и узбекская — со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках под камышевым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларек торговал и для больных тоже — но мои ссыльные копеечки поеживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни — и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза в день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город — миллионный, а кладбище было тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они хорошо знали, что было нужно). А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовывались из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это все покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис, и никогда не привелось. Под крутым берегом клочкотал мутно-желтый бешеный Салар. В парке жили раскидистые дубы, осеняющие нежные японские акации. И восьмигранный фонтан выбрасывал тонкие свежие серебринки струй — к вершинам. А что за трава была на газонах — сочная, давно забытая (в лагерях ее велили выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения — было уже блаженством.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям мило зубрили

свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлебываясь в рассказах, шли с зачета. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, — на душевой стадион. Вечерами неразличимые, а потому втрое притягательные, девушки в нетроганных и троганных платьицах, обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было кого-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демьянском, сожженных в Освенциме, истравленных в Джесказгане, домиравших в тайге, — что не нам достанутся эти девушки. Или девушек этих — за то, что мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины! — молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторши, кастелянши, и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в нежнострогих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче — вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики — солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув на секунду, составляла целый сюжет: о ее прожитой жизни до меня, ее возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, медленное отравление ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щек добавилась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше шиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вышивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройти со мною рядом!... Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня — мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучевые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, метали кубики,

— а у загородки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

— Товарищи..... Товарищи.....

Пестрая занятая толпа не слушала его. Я подошел:

— Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной — мешком обвисший, распирающий грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстегнутое пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огорожденного пугала.

Отечные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу — и на заявлении искося две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила были горьздравские, и выражали разумно мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные — сегодня.

— Ну, что ж, — громко растолковывал я ему, как глухому. — В приемный покой вам надо, в первый корпус. Пойдете, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что у самой цели силы оставили его, что не только расспрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке полторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. И я решил:

— Ладно, папаша, провожу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налег на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повел его под локоть через пальто, порывевшее от пыли. Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело вздыхал.

Так мы пошли, два обтрепыша, той самой аллеей, где я

в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо алебастровых бюстов.

Наконец свернули. По нашему пути стояла скамья с прилоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже уже начало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Еще по дороге старик мне сказал несколько фраз, и теперь, отдышавшись, добавил: ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахна-Ташем (где, я помнил, начинали строить канал). В Угренче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали — и выписали. В Чарджеу он с поезда сходил, и в Урсавтьевской — но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не осталось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло — уж я и не спрашивал. Болезнь его была по медицинским справкам запетлистая, а если посмотреть на самого, так **последняя** болезнь. Наглядысь на многих больных, я различал ясно, что в нем уже не оставалось воли и жизни. Губы его расслабились, речь была маловнятная, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его. С трудом подняв руку, он стянул ее на колени. Опять подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба пот. Куполок его головы полысел, а кругом, по темени, сохранились нечесанные, сбитые пылью, волосы, еще русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалости потончавшей, цыплячьей, висело много кожи лишней, и отдельно ходил спереди трехгранный кадык.

На чем было голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть, и что ему надо в приемный покой.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвивалась почти

бесшумная фонтанная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Они мне очень понравились. Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв желто-серые веки, посмотрел на меня снизу, сбоку:

— А курить у вас не найдется, товарищ?

— И из головы выкинь, папаша! — прикрикнул я. — Нам с тобой хоть не куря бы еще землю сапогами погрести. В зеркало на себя посмотри. Курить! Я сам то курить бросил месяц назад, еле оторвался.

Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под желтых век, как то по-собачьему.

— Всеж-таки, дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался еще зэк, а он был как-никак вольный. Сколько лет я там работал — мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещенные зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей шутовской курточки я достал клеенчатый кошелек, пересмотрел бумажки в нем. Вздохнул, протянул старику трешницу.

— Спасибо, — просипел он. С трудом держа руку приподнятой, взял эту трешницу, заложил ее в карман — и тут же его освобожденная рука шлепнулась на колено. А голова опять уперлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом еще две студентки. Все три мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблучка.

— Еще удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его просветился смысл, дрогнул голос, и речь стала разборчивее:

— Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров под

Царицыном лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щек и губ — тень гордой улыбки — выразилось на его небритом лице.

Я оглядел его тряпье и еще раз его самого.

— Почему ж не платят?

— Жизнь так полегла, — вздохнул он. — Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам я виноват, справок не скопил... Одна вот только и есть...

Правую кисть — суставы пальцев ее были кругло-опухшие, пальцы мешали друг другу — он донес до кармана, стал туда втискивать, — но тут короткое оживание его прервалось, он опять уронил руку, голову, и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приемный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда при мне не было легко с местами:

Я взял старика за плечо:

— Папаша! Очнись! Вон, видишь, двери! Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь — сам дойди, нет — меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приемном покое — куске большого обшарпанного зала, отгороженном грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, передевальня, парикмахерская), днем всегда теснились больные и измеряли долгие часы, пока не примут. Но сейчас, на удивление, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом — туфелькой, с губами, накрашенными не краской, а густо-лиловой помадой.

— Вам чего? Она сидела за столом и читала по всей видимости комикс про шпионов.

Быстренькие также у нее были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

— Не смейте никого вести! — резко вскрикнула она, да-

же не посмотрев бумажку. — Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!

Это она не знала «порядка». Я просунул в форточку голову, и сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, прошипячивая:

— Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестерке.

Она оробела, отодвинула стул вглубь своей комнаты и сбавила:

— Приема нет, гражданин! В девять утра.

— Ты почти бумажку! — очень посоветовал я ей низким недоброежелательным голосом.

Она прочла.

— Ну, и чтож! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром — не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.

— Но человек — проездом, понимаете? Ему деться некуда.

По мере того, как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо ее принимало прежнее жесткое выражение:

— У нас все приезжие! Куда их ложить? Пусть на квартиру станет!

— Но вы выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

— Еще чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка!

И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиной заведена на ответы.

Так для кого вы тут сидите?! — хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. — Тогда закройте двери!

— Вас не спросили! Нахал! — взорвалась она. Вскочила, обежала кругом, и появилась из коридорчика. — Кто вы такой? Не учите меня! Нам скорая помощь привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик ее украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты — и виднелась косынка — розовенькая, славная, и комсомольский значок.

— Как? Если бы он не сам к вам пришел, а его б на улице подобрала скорая — вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я — оглядел ее. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид, и окончила:

— Да, **больной!** Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истертый бумажник.

Вот... — изнеможенно выговорил он, — вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать — опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Справка.

Дана сия товарищу Боброву Н. К. в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубил оставшихся гадов.

Комиссар (Подпись).

И бледнела фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

— Это что ж — «Особого Назначения»? Какой?

Ага, — ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. — Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть — такую маленькую, со вздувшимися бурными венами, с кругло-опухшими суставами, почти не способную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил, как пешего рубили с коня наотмашь. Наискосок.

Странно... На полном размахе рука доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча — эта правая кисть. А сейчас не могла удержать — бумажника.....

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил ее. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного военного, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги, и обернувшись, все время поглаживая грудь от тошноты, пошел к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головой ниже.

— Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! — стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушел в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бедрах.

А. Солженицын

АМНИСТИЯ

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое.

И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер, —
Наверное жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой проволокой
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.

Верно, тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То наверное жив человек,
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.

Может быть конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.



Сурово и важно
Ветки скрипят на весу.
Как деревьям не страшно
Ночью одним в лесу?

Валится тучи темная башня,
А им не страшно!

Птица ночная крикнет протяжно,
А им не страшно!
Ветром они ошарашены,
А им не страшно!
Только вздохнут тяжело,
Да месяц блеснет — стекляшка —
Словно смахнет слезу.
Как деревьям не страшно
Ночью, одним, в лесу?
А может — не в силах сдвинуться,
И потому стоят, не бегут.
А я вот живу в гостинице,
А зачем — понять не могу.
Гостиница многоэтажна,
И мне в гостинице страшно.
Кругом какие-то темные шашни —
Страшно!
Заревом красным окно закрашено —
Страшно!
И чего я мытарюсь?
Пойду к нотариусу,
Постучу в дверь его.
Войду и скажу:
— Я хочу быть деревом!
Я хочу, чтобы было заверено,
Что такой-то, такой-то — дерево,
И отказался от человеческих прав.
В зелень себя разубрав,
Он теперь стоит у ручья
На страже.
И ему по ночам
Не страшно.

Иван Елагин

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Генеральная репетиция пьесы гражданина Жюль Верна в театре Геннадия Панфиловича, с музыкой, извержением вулкана и английскими матросами.

В 4-х действиях с прологом и эпилогом.

Действия 1-е, 2-е и 4-е происходят на необитаемом острове, действие 3-е в Европе, а пролог в театре Геннадия Панфиловича.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Геннадий Панфилович, директор театра, он же лорд Эдвард Гленарван

Василий Артурович Дымогацкий, он же Жюль Верн, он же Кири-Куки, проходимец при дворе.

Метелкин Никанор, помощник режиссера, он же слуга Паспарту, он же ставит самовар Геннадию Панфиловичу, он же говорящий попугай

Жак Паганель, член географического общества

Лидия Иванна, она же лэди Гленарван

Гаттерас, капитан

Бетси, горничная лэди Гленарван

Сизи-Бузи 2-й, белый арап, повелитель острова

Ликки-Тикки, полководец, белый арап

Суфлер

Ликуй Исаич, дирижер

Пьеса «Багровый Остров» М. Булгакова в 1928 году была поставлена А. Я. Таировым в Камерном Театре в Москве и имела большой успех. Но власти ее очень быстро сняли, как несозвучную «строительству социализма». После этого пьеса никогда в СССР не шла и не была напечатана. Мы получили экзemplяры пьесы с оказией из СССР от одного из бывших артистов Камерного Театра, пожелавшего остаться неизвестным. Это именно тот текст, по которому А. Я. Таиров ставил пьесу. Мы печатаем из нее пролог и два первых акта. РЕД.

Тохона, арап из гвардии
Кай-Кум, первый положительный туземец
Фарра-Тете, второй положительный туземец
Музыкант с волторной
Савва Лукич

Арапова гвардия (отрицательная, но раскаялась), красные туземцы и туземки (положительные и несметные полчища), гарем Сизи-Бузи, английские матросы, музыканты, театральные школьники, парикмахеры и портные

ПРОЛОГ

Открывается часть занавеса и появляется кабинет и гри-мировальная уборная Геннадия Панфиловича. Письменный стол, афиши, зеркало.

Геннадий Панфилович, рыжий, бритый, очень опытный, за столом. Расстроен.

Где-то слышна приятная и очень ритмическая музыка и глухие ненатуральные голоса (*идет репетиция бала*).

МЕТЕЛКИН висит в небе на путанных веревках и поет: — “Любила я, страдала я, а он, подлец, сгубил меня...” — День.

ГЕННАДИЙ. Метелкин.

МЕТЕЛКИН (*сваливаясь с неба в кабинет*). Я, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Не приходил?

МЕТЕЛКИН. Нет, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Да на квартиру-то к нему посылали?

МЕТЕЛКИН. Три раза сегодня курьер бегал. Комната па замке. Хозяюку спрашивает, когда он дома бывает, а та говорит: “Что вы, батюшка, да его с собаками не сыщешь!”

ГЕННАДИЙ. Писатель! А! Вот черт его возьми!

МЕТЕЛКИН. Черт его возьми, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Ну, что квакаешь, как попугай? Делай доклад.

МЕТЕЛКИН. Слушаю. Задник у “Марии Стюарт” лопнул, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Что же, я, что-ли, тебе задники чинить буду? Лезешь с пустяками. Заштопать.

МЕТЕЛКИН. Он весь дырявый, Геннадий Панфилич. Намедни спустили, а сквозь него рабочих на колосниках видать...

На столе звенит телефон.

ГЕННАДИЙ. Заплату положи. (*По телефону*). Да. Театр.

Контрамарок не даем. Честь имею. (*Кладет трубку*). Удивительное дело. В трамвай садится, небось, он у кондукторши контрамарки не просит, а в театр он почему-то священным долгом считает ходить даром. Ведь это нахальство! А?

МЕТЕЛКИН. Нахальство.

ГЕННАДИЙ. Дальше.

МЕТЕЛКИН. Денег пожалте, Геннадий Панфилович на заплату.

ГЕННАДИЙ. Сейчас отвалю. Червонец пятьдесят, как это му гусю уже отвалил!.. Возьмешь, вырежешь... (*Телефон*). Да?.. Контрамарок не даем. Да. (*Кладет трубку*). Вот типы! Возьмешь... (*Телефон*). Никому не даем. (*Вешает трубку*). Наказание божеское! Возьмешь, стало быть, задник... (*Телефон*). Ах, чтоб тебе треснуть!.. Что? Никому не даем!.. Виноват... Евгений Гомуальдович! Не узнал голоса. Как же... с супругой? Очаровательно! Прямо без четверти восемь пожалуйста в кассу. Всего добренького. (*Вешает трубку*). Метелкин, будь добр, скажи кассиру, чтобы загнул два кресла посередине во втором ряду этому водяному черту.

МЕТЕЛКИН. Это кому, Геннадий Панфилович?

ГЕННАДИЙ. Да заведующему водопроводом.

МЕТЕЛКИН. Слушаю.

ГЕННАДИЙ. Возьмешь, стало быть... Дыра-то велика?

МЕТЕЛКИН. Никак нет, маленькая. Аршин пять-шесть.

ГЕННАДИЙ. По твоему большая, это — версты в три. Чудак! (*Задумчиво*). Иоанн Грозный больше не пойдет... Стало быть, вот что. Возьмешь ты, вырежешь подходящий кусок. Понял?

МЕТЕЛКИН. Понятно. (*Кричит*). Володя! Возьмешь из задника у Иоанна Грозного кусок, выкроешь из него заплату в Марию Стюарт!.. Не пойдет Иоанн Грозный... Запретили... Значит, есть за что... Какое тебе дело?..

Телефон.

ГЕННАДИЙ (*слушает*). Нет, не дам. (*Вешает трубку*). Еще что?

МЕТЕЛКИН. Велите вы школьникам, Геннадий Панфилович, ведь это безобразие. Они жаба́ми лица вытирают.

ГЕННАДИЙ. Ничего не понимаю.

МЕТЕЛКИН. Выдал я им жабы́ на "Горе от ума", а они ими вместо тряпок грим стирают.

ГЕННАДИЙ. Ах, бандиты! Ладно, я им скажу. (*Телефон*

звонит. Не снимая трубки). Никому контрамарок не даем. (*Телефон умолкает*). Ступай.

МЕТЕЛКИН. Слушаю. (*Уходит*).

ГЕННАДИЙ. Первый час. Но если, дорогие граждане, вы хотите знать, кто у нас в области театра первый проходимец и бандит, я вам сообщу. Это — Васька Дымогацкий, который пишет в разных журнальчиках под псевдонимом Жюль Верн. Но вы мне скажите, товарищи, чем он меня опоил? Как я мог ему довериться?

МЕТЕЛКИН (*быстро входит*). Геннадий Панфилич! Пришел!

ГЕННАДИЙ (*хищно*). А! Зови его сюда, зови, зови!

МЕТЕЛКИН. Пожалуйста. (*Уходит*).

ДЫМОГАЦКИЙ (*с ирудой тетрадей в руках*). Здравствуй-те, Геннадий Панфилич!

ГЕННАДИЙ. А здравствуйте, многоуважаемый товарищ Дымогацкий, здравствуйте, месье Жюль Верн!

ДЫМОГАЦКИЙ. Вы сердитесь, Геннадий Панфилич?

ГЕННАДИЙ. Что вы? Что вы? Ха-ха! Я сержусь? Хи-хи! Я в полном восторге! Прямо дрожу от восхищения!

ДЫМОГАЦКИЙ. Болен я был, Геннадий Панфилич. Ужас, как болен...

ГЕННАДИЙ. Скажите, пожалуйста. Ах, ах. Скарлатиной?

ДЫМОГАЦКИЙ. Жесточайшая инфлуенца, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Так, так.

ДЫМОГАЦКИЙ. Вот, я принес, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Какое у нас сегодня число, гражданин Дымогацкий?

ДЫМОГАЦКИЙ. Восемнадцатое по новому стилю.

ГЕННАДИЙ. Совершенно верно. И вы мне дали честное слово, что пьесу в исправленном виде доставите пятнадцатого.

ДЫМОГАЦКИЙ. Всего три дня, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Три дня! А вы знаете, что за эти три дня произошло? Савва Лукич в Крым уезжает! Завтра в 11 часов утра!

ДЫМОГАЦКИЙ. Да что вы?

ГЕННАДИЙ. Вот оно и “да что вы”! Стало быть, ежели мы сегодня ему генеральную не покажем, то получим вместо пьесы кукиш с ветчиной! Вы мне, господин Жюль Верн, сорвали сезон! Вот что! Я, старый идеалист, поверил вам! Когда вы аванс в

пятьсот рублей тяпнули, у вас, небось, инфлуенцы не было по новому стилю! Так писатели не поступают, дорогой гражданин Жюль Верн!

ДЫМОГАЦКИЙ. Геннадий Панфилич! Что же теперь делать?

ГЕННАДИЙ. Что теперь делать? Не говоря уже о том, что я вам пятьсот рублей всучил, как в бреду, я еще на декорации потратился, я вверх дном театр поставил, я весь производственный план сломал! Метелкин! Метелкин!

МЕТЕЛКИН (*убегает*). Я, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Вот что: что они там делают?

МЕТЕЛКИН. Сцену бала репетируют.

ГЕННАДИЙ. Ё черту бал! Вели прекратить и чтобы ни один человек из театра не уходил!

МЕТЕЛКИН. Разгримировываться?

ГЕННАДИЙ. Некогда! Все нужны! Как есть!

МЕТЕЛКИН. Слушаю. (*Убегает*). Володька! Вели швейцару, чтобы ни одного человека из театра не выпускал!

ГЕННАДИЙ (*вслед*). Все школьники нужны! Оркестр!.. Первый час в начале. Ну, господа благослови! (*По телефону*). 16-17-18. Савву Лукича, пожалуйста! Директор театра, Геннадий Панфилич... Савва Лукич? Здравствуйте, Савва Лукич. Как здоровьице? Слышал, слышал. Починка организма, как говорится. Переутомились. Хе-хе! Вам надо отдохнуть. Ваш организм нам нужен. Вот какого рода дельце, Савва Лукич. Известный писатель Жюль Верн представил нам свой новыйopus "Багровый остров". Как умер? Он у меня в театре сейчас сидит. Ах... хе-хе. Псевдоним. Гражданин Дымогацкий. Подписывается Жюль Верн. Страшный талантище...

ДЫМОГАЦКИЙ (*вздраивает и бледнеет*).

ГЕННАДИЙ. Так вот, Савва Лукич, необходимо разрешение. Чего-с? или запрещеньице? Хи! Остроумны, как всегда! Что? До осени? Савва Лукич, не губите! Умоляю посмотреть сегодня же на генеральной... Готова пьеса, совершенно готова. Ну, что вам возиться с чтением в Крыму? Вам нужно купаться, Савва Лукич, а не всякую ерунду читать! По пляжу походить. Савва Лукич! Убиваете! В трубу летим! До мозга костей идеологическая пьеса! Неужели вы думаете, что я допущу что-нибудь такое в своем театре?... Через двадцать минут начинаем. Ну, хоть к третьему акту, а первые два я вам здесь дам посмотреть. Крайне признателен. Гран мерси! Слу-

шаю, жду! (*Вешает трубку*). Уф! Ну, теперь держитесь, гражданин автор.

ДЫМОГАЦКИЙ. Неужели он так страшен?

ГЕННАДИЙ. А вот сами увидите. Я тут наговорил — идеологическая, идеологическая, а ну, как она вовсе не идеологическая? Имейте в виду, я, в случае чего, беспощадно вычеркивать буду, тут надо шкуру спасать. А то так можно вляпаться, что лучше и нельзя! Репутацию можно потерять... Главное горе, что и просмотреть-то ведь некогда. (*Разбирает тетради*).

ДЫМОГАЦКИЙ. Я старался, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Как стараться! Итак, стало быть, акт первый. Остров, населенный красными туземцами, кои живут под властью белых арапов... Позвольте, это что же за туземцы такие?

ДЫМОГАЦКИЙ. Аллегория это, Геннадий Панфилич. Тут надо тонко понимать.

ГЕННАДИЙ. Ох, уж мне эти аллегии! Смотрите! Не любит Савва аллегорий до смерти! Знаю я, говорит, эти аллегии! Снаружи аллегория, а внутри такой меньшевизм, что хоть топор повесь! Метелкин! Метелкин!

МЕТЕЛКИН (*вбегая*). Чего изволите?

ГЕННАДИЙ. На монтировку пьесы назначаю тебя. Получай, дружок, экземпляр. Первый акт. Экзотический остров. Бананы дашь, пальмы... (*Дымогакжому*). Он в чем живет? Царь-то ихний?

ДЫМОГАЦКИЙ. В вигваме, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Вигвам, Метелкин, нужен.

МЕТЕЛКИН. Нет вигвамов, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Ну, хижину из “Дяди Тома” поставишь. Тропическую растительность, обезьяны на ветках, трубочки с кремом и самовар.

МЕТЕЛКИН. Самовар бутафорский?

ГЕННАДИЙ. Э, Метелкин, десять лет ты в театре, а все равно, как маленький! Савва Лукич приедет генеральную смотреть.

МЕТЕЛКИН. Так, как, так...

ГЕННАДИЙ. Ну, значит, сервируешь чай. Скажи буфетчику, чтобы составил два бутерброда побогаче, с кетовой икрой, что-ли.

МЕТЕЛКИН (*в дверь*). Володя! Сбегай к буфетчику! Самовар на генеральную!

ГЕННАДИЙ. Вот оно! Не пито, не едено, а уже расходы начинаются! Смотрите, господин автор. Какой-то доход от вашей пьесы будет, еще неизвестно, да и вообще будет ли он? Да-с... Вулкан! А-а... без вулкана обойтись нельзя?

ДЫМОГАЦКИЙ. Геннадий Панфилич! Помилуйте! У меня извержение во втором акте. На извержении все построено.

ГЕННАДИЙ. Эх, авторы, авторы! Пишете вы безо всякого удержу! Хотя извержение хорошая штука! Классовая! Публика любит такие вещи. Вот что. Метелкин! Гор ведь у нас много?

МЕТЕЛКИН. Горами хоть завались. Полный сарай.

ГЕННАДИЙ. Ну, так вот что: вели бутафору, чтоб он горю, которая похуже, в вулкан превратил. Одним словом, действуй!

МЕТЕЛКИН (*уходит, кричит*). Володя, крикни бутафору, чтобы в Арарате провертел дыру вверх и в нее огню! Что? Да, с дымом. А ковчег скиньте.

ЛИДИЯ (*стремительно входит*). Здравствуй, Геня.

ГЕННАДИЙ. Здравствуй, котик, здравствуй. Да... вот позволь тебя познакомить... Василий Артурыч Дымогацкий. Жюль Верн. Известный талант.

ЛИДИЯ. Ах, я так много слышала о вас.

ГЕННАДИЙ. Жена моя, гран-кокетт.

ДЫМОГАЦКИЙ. Очень приятно.

ЛИДИЯ. Вы, говорят, нам пьесу представили?

ДЫМОГАЦКИЙ. Точно так.

За сценой музыка внезапно прекращается.

ЛИДИЯ. Ах, это очень приятно. Мы так нуждаемся в современных пьесах. Надеюсь, Геннадий, я занята? Впрочем, может быть, я не нужна в вашей пьесе.

ДЫМОГАЦКИЙ. Ах, что вы! Очень, очень приятно.

ГЕННАДИЙ. Конечно, душончик, натурально. Вот — лэди Гленарван... очаровательнейшая роль. Вполне твоего типажа женщина. Вот, бери!

ЛИДИЯ (*овладевая ролью*). Наконец-то! Мой Геннадий из-за того, чтобы не думали, что он дает мне роли вследствие родства, совершенно игнорирует меня. В этом сезоне я была занята только восемь раз...

ГЕННАДИЙ. Театр, матушка, это храм, этого тоже не следует забывать.

МЕТЕЛКИН (*врываясь*). Механик спрашивает: корабль с парусами?

ГЕННАДИЙ. Василий Артурыч!

ДЫМОГАЦКИЙ. С парусами и с трубой. Шестидесятых годов.

МЕТЕЛКИН (*улетая*). Володя!..

ГЕННАДИЙ (*ему вслед*). Метелкин! Всех на сцену! Всех срочно!

МЕТЕЛКИН (*за сценой*). Володя!.. (*Слышны отчаянные электрические звонки. Занавес раздвигается и скрывает кабинет Геннадия. Появляется громадная пустынная сцена. Посреди ее стоит вулкан, сделанный из горы, и извергает дым. Метелкин, отступая задом*): Живет! Володя! Ставь его на место!

Вулкан скромно уезжает в сторону. На сцену начинает выходить труппа: дирижер Ликуй Исаич во фраке. Суфлер, Ликки во фраке, Сизи-Бузи во фраке, какие-то тонконогие барышни с накрашенными губами... Гул, говор... Женские голоса: "Новая пьеса... новая пьеса..."

СИЗИ. В чем дело? Репетиция?

Женские голоса: "Говорят, страшно интересно!.." Появляются Геннадий, Лидия и Дымогацкий. С неба мягко спускается банан и садится на Дымогацкого.

ДЫМОГАЦКИЙ. Ах!

ГЕННАДИЙ. Легче, черти, автора задавили!

Женские голоса: "Володя!.. Володя!"

МЕТЕЛКИН. Володька, легче! Убери его назад! Рано.

Банан уходит вверх.

ГЕННАДИЙ (*становится на уступ вулкана и взмахивает тетрадами*). Попрошу тишины! Я пригласил вас, товарищи, с тем, чтобы сообщить вам...

СИЗИ. Пренебрежительное известие...

ЛИДИЯ. Тише, Анемподист.

ГЕННАДИЙ. ...гражданин Жюль Верн-Дымогацкий разрешился от бремени. (*Кто-то хихикнул*). А интересно знать, кому здесь смешно? (*Голоса: "Мы не смеялись, Геннадий Панфилович!"*). Я ясно слышал: "ги-ги". Если среди школьников есть весельчак неукротимый, он может поступать в какой-нибудь смешной театр. Я не буду удерживать. Кстати, я не позволю жабом стирать грим с лица. Это недопустимо и с виновного я строго взыщу! Итак: Василий Артурыч, колоссальнейший та-

лант нашего времени, представил нашему театру свой последний опус под заглавием "Багровый остров"... (*Гул и интерес*)... Попрошу внимания! Обстоятельства заставляют нас спешить, Савва Лукич покидает нас на целый месяц, поэтому я сейчас же назначаю генеральную репетицию в гриме и костюмах.

СИЗИ. Геннадий! Ты быстрый, как лань, но ведь ролей никто не знает.

ГЕННАДИЙ. Под суфлера. И я надеюсь, что артисты вверенного мне правительством театра окажутся настолько сознательными, что приложат все силы-меры к тому, чтобы... в виду... и не взирая на очевидные трудности... (*зарантовался*). Товарищ Мухин!

СУФЛЕР. Вот он я.

ГЕННАДИЙ (*вручая ему экземпляр пьесы*). Подавать попрошу четко.

СУФЛЕР. Слушаю...

ГЕННАДИЙ. По дороге будут исправления.

СУФЛЕР. Понятно-с.

ГЕННАДИЙ. Итак, позвольте вам вкратце изложить содержание пьесы. Впрочем, налицо наш талант... Василий Артуруч! Пожалте сюда!

ДЫМОГАЦКИЙ. Я... гм... ххе... моя пьеса, в сущности, это просто так...

ГЕННАДИЙ. Смелее, Василий Артуруч, мы вас слушаем.

ДЫМОГАЦКИЙ. Это, видите ли, аллегория. Одним словом, на острове... это, видите ли, фантастическая пьеса... на острове живут угнетенные красные туземцы под властью белых арапов... У них повелитель Сизи-Бузи второй...

ЛИДИЯ. Ты знаешь, Адочка, у него вдохновенное лицо.

БЕТСИ. Самое ординарное.

ГЕННАДИЙ. Попрошу внимания.

ДЫМОГАЦКИЙ. И вот происходит извержение вулкана... но это во втором акте. Я очень люблю Жюль Верна... даже избрал это имя в качестве псевдонима... поэтому мои герои носят имена из Жюль Верна в большинстве случаев... вот, например, лорд Гленарван...

ГЕННАДИЙ. Виноват, Василий Артурович! Разрешите мне более, так сказать, конспективно... Ваше дело, же-же, музы, чернильницы. Итак. Акт первый. Кири-Куки провокатор. Ловят двух туземцев (положительные типы). Хлоп! В тюрьму! Суд! Хлоп! Повесить! Убегают! Приезжают европейцы. Хлоп! Пе-

реговоры. Праздник на острове. Конец первого акта. Занавес.
СИЗИ. Вот это рассказал!

ГЕННАДИЙ. Заметьте, Ликуй Исаич, праздник.

ЛИКУЙ ИСАИЧ. Не продолжайте, Геннадий Панфилич, я уже понял.

ГЕННАДИЙ. Вот, позвольте познакомить. Наш капельмейстер. Уж он сделает музыку, будьте покойны. Отец его жил в одном доме с Римским-Корсаковым.

ДЫМОГАЦКИЙ. Очень, очень приятно.

ГЕННАДИЙ. Экзотика, Ликуй Исаич. Туземцы, знаете ли, такие, что не продохнуть, но в то же время аллегория.

ЛИКУЙ ИСАИЧ. Не продолжайте, Геннадий Панфилич, я уже понял.

ГЕННАДИЙ. Итак, роли... (*Гул и интерес*)... Сизи-Бузи второй. Повелитель туземцев, белый арап. Тупой злодей на троне. Ну если тупой злодей — Сундучков. Получи, Анемподист!

СИЗИ. Мерси.

ГЕННАДИЙ. Ликки-Тикки, полководец, впоследствии раскаялся в этом. Александр Павлович Ринский. Прошу...

ЛИККИ. Фрак снимать, Геннадий?

ГЕННАДИЙ. Некогда, Саша. Сверху костюм. Туземец Кай-Кум, положительный тип... Вондаклеевский. Прошу. Туземец Фарра-Тете. Тоже крайне положительный — Шурков... Получите!

СИЗИ. Пьеса заканчивается победой арапов?

ГЕННАДИЙ. Она заканчивается победою красных туземцев и никак иначе заканчиваться не может.

СИЗИ. А меня уже во втором акте нету. Этак до победных торжеств не доживешь.

ГЕННАДИЙ. Анемподист Тимофеевич! Я тебя убедительно попрошу школьников меньшевистскими островами не смущать. Вообще театр, это — храм. Мне юношество вверено государством. Лэди Гленарван... гм... ну, это гранд-коккетт, значит — Лидия Иванна. Это ясно. Лиди... ах ты уже взяла роль...

Гул в женской группе.

БЕТСИ. Ну, конечно, ясно! Как же не ясно?!

ГЕННАДИЙ. Виноват, Аделаида Карповна. Вы что-то хотите сказать?

ЛИДИЯ. Я извиняюсь...

БЕТСИ. Нет, так, ничего. Хорошая погода.

ЛИДИЯ. Есть актрисы, которые полагают...

БЕТСИ. Что они полагают? Они полагают, что женам директоров трудно получать роли.

ГЕННАДИЙ. Медам, я категорически протестую!.. (*Женский голос: "Сколько всех женских ролей?"*)... Две. (*Гул разочарования*)... Бетси, горничная лэди Гленарван. Аделаида Карповна, вам!

БЕТСИ. Я, Геннадий Панфилович десять лет уже на сцене, и выносить подносы мне уже поздно.

ГЕННАДИЙ. Аделаида Карповна! Побойтесь вы бога!

БЕТСИ. Не далее, как вчера на общем собрании вы утверждали, Геннадий Панфилович, что бога нет, так как присутствовал Савва Лукич. Ну, а как только тот из театра вон, бог мгновенно появляется на сцене!

ЛИДИЯ. Ну, и характерец!

ГЕННАДИЙ. Аделаида Карповна! Я протестую против такого тона!

СИЗИ. Говорил я Геннадию, не женись на актрисах... И всегда будешь в таком положении...

ГЕННАДИЙ. Театр, это...

БЕТСИ. Место интриг.

ГЕННАДИЙ. Бетси. Субретка. Дивная роль. Толстенная роль. Понятно? Угодно, или я передаю Чудновской.

БЕТСИ. Пожалуйста! (*Схватывает роль*).

ГЕННАДИЙ. Жак Паганель, француз. Акцент. Империалист. Суздальцев-Владимирский. Капитан Гаттерас — Чернобоев. Appetitнейшая ролька.

ГАТТЕРАС. Черта пухлого аппетитная! Две страницы!

ГЕННАДИЙ. Во-первых, не две, а шесть, а во-вторых, помните, что сказал наш великий Шекспир: "Нет плохих ролей, а есть паршивцы актеры, которые портят все, что им не дай". Лорд Гленарван. Ну, это я сам сыграю. Потружусь для вас, Василий Артурыч. Арап Тохонга, любовник. Соколенко. Паспарту, лакей... Э, черт!.. Старицын-то болен?

МЕТЕЛКИН. Болен, Геннадий Панфилович.

ГЕННАДИЙ. Плохо, что болен. Гм... Э, некому больше... Метелкин, придется тебе.

МЕТЕЛКИН. Мне ведь монтировать, Геннадий Панфилович.

ГЕННАДИЙ. Метелкин! Я не узнаю тебя, старый товарищ!

МЕТЕЛКИН. Слушаю, Геннадий Панфилович.

ГЕННАДИЙ. Ну, теперь главная роль. Проходимец Кири-Куки, церемонимейстер у Сизи-Бузи, Это по праву роль Вар-

равы Аполлоновича Морромехова. Кто не знает Варравы? Любимец публики! Скромность честность, простота! Старой щепкинской школы человек! На-днях предлагали ему звание народного. Отказался Варрава! К чему, говорит, это мне? Варрава Аполлонович! (*Голоса: "Его нет! Его нет!"*). Как так нет? Вызвать срочно! В чем дело?

МЕТЕЛКИН (*интимно*). Они в сорок четвертом отделении милиции, Геннадий Панфилич.

ГЕННАДИЙ. Как в сорок четвертом? Зачем же он туда попал?

МЕТЕЛКИН. Ужинали вчера в "Праге" с почитателями таланта. Ну, шум случился.

ГЕННАДИЙ. Шум случился? Каково?.. У нас экстренный выпуск пьесы, все на посту... и шум случился! А! Да разве это актер? Актер это разве? Босьяк он, а не актер! Вот что! Сколько раз я упрашивал... Пей ты, говорю, Варрава, сдержанно.

МЕТЕЛКИН. Звонили по телефону, к вечеру выпустят.

ГЕННАДИЙ. На кой предмет он мне вечером? На какого дьявола?.. Савва будет днем, Савва в Крым уезжает! Он нужен мне сию секунду или никогда не нужен! И ты хорош! В "сорок четвертом!"...

МЕТЕЛКИН. Помилуйте, Геннадий Панфилич! Поил я его, что-ли?

ГЕННАДИЙ. К чорту все, одним словом! Не будет репетиции, не будет и пьесы! Закрываю театр! Я не могу работать в окружении мецан и алкоголиков! Уходите все! (*Движение*). Стоп! Куда вы! Назад!

ЛИДИЯ. Геннадий! Не волнуйся! Тебе вредно расстраиваться.

ЛИККИ. Геннадий! Дай кому-нибудь из школьников прочитать.

ГЕННАДИЙ. Да что ты? Смеешься, что ли? Они только умеют жабó портить. Всё на моих плечах, всё на меня валится!.. Народный!.. Пьяница он международный!

ДЫМОГАЦКИЙ. Геннадий Панфилич!

ГЕННАДИЙ. Оставьте меня все! Оставьте! Пусть идеалист Геннадий, мечтавший о возрождении театра, умрет, как бездомный пес, на вулкане.

ДЫМОГАЦКИЙ. Если гибнет пьеса, позвольте, я сегодня сыграю Кири-Куки. Я ведь наизусть знаю все роли.

ГЕННАДИЙ. Что вы! Помилуйте! Заменять Морромехова!..
(Пауза). Да вы играли когда-нибудь?

ДЫМОГАЦКИЙ. Я на даче играл.

ГЕННАДИЙ. На даче? (Пауза). Хорошо, рискнем. Пусть все видят, как старый Геннадий спасает пьесу. Роль Кири-Куки, проходимца, исполнит сам автор.

СИЗИ. Ну, вот и разошлась пьеска.

ЛИДИЯ. Нечего было и истерику устраивать.

ГЕННАДИЙ (по тетради). Итак: арапы, несметные полчища красных туземцев, заняты все школьники. (Гул). Английские матросы — хор. Говорящий попугай... гм... ну, это Метелкин, натурально. Постарайся, дружочек. Ликуй Исаич! Прошу немедленно заняться музыкой... экзотика.

ЛИКУЙ ИСАИЧ. Не продолжайте, я уже понял. Ребятишки, ссыпайтесь в оркестр! (Музыканты идут в оркестр).

ГЕННАДИЙ. Всех на грим! Василий Артуруч, пожалуйста в мою уборную!

СИЗИ. Портные!

ЛИДИЯ. Парикмахер!

Актеры разбегаются.

МЕТЕЛКИН. Володя, начинай!

Задник уходит вверх и открывается ряд зеркал с ослепительными лампами. Появляются парикмахеры. Актеры усаживаются и начинают гримироваться и одеваться.

ЛИККИ (по тетради). Молчать, когда с тобою разговаривают! Ма... ма... Белые перья мне!

СИЗИ. Федосеев, мне корону нужно!

КАЙ-КУМ. И всегда мне добродетельная голубая роль достается. Уж такое счастье!

СИЗИ. И ты слышал, что Шекспир сказал: “Нет голубых ролей, а есть красные”. Эй, вы фашисты! Будет мне корона или нет?

МЕТЕЛКИН (пролетает бурей). Володя!..

ДИРИЖЕР (в оркестре). А где же волторна? Больна? Я ее вчера видел в магазине, она носки покупала. Это прямо смешно! Без ножа! (Голос: “Что без ножа?”). Зарезала без ножа! Я, право, не понимаю таких музыкантов!

ГЕННАДИЙ (из своей уборной). Сто лет мне штанов дожидаться? Портные! Штаны в крупную клетку!

МЕТЕЛКИН (на сцене). Володя! Давай задник! (Сверху сползает задник — готический храм, — в который вшит кусок

Грановитой палаты с боярами, закрывает зеркала). Володька, черт! Ну, что спустил? Не готический, а экзотический! Давай океан с голубым воздухом!

*Задник уходит, открывает зеркала. Возле них — шум; па-
рики на болванках.*

ЛИККИ. Опять трико лопнуло! Скупердяй этот Геннадий!

СИЗИ. Режим экономии, батюшка.

*Мрачно шумя, опускается океан. В оркестре настраивают
инструменты. Зеркала исчезают. Опускаются горящие софиты,
какие-то блоки.*

МЕТЕЛКИН. Вулкан налево, налево двинь!

Вулкан едет, изрылая дым.

ДИРИЖЕР. Увертюра № 17, приготовьте ноты.

МЕТЕЛКИН. Готовы актеры? (Голоса: “Готовы!”). Во-
лодя! Давай занавес!

Идет общий занавес и закрывает сцену.

А К Т П Е Р В Ы Й

МЕТЕЛКИН (*в разрезе занавеса*). Готово! Ликуй Исаич,
начинайте! (*Исчезает*).

Удар гонга.

ДИРИЖЕР. Тихе!

Оркестр начинает увертюру.

МУЗЫКАНТ С ВОЛТОРНОЙ (*появляется в разрезе за-
навеса. Он опоздал и взволнован*).

ДИРИЖЕР (*опускает палочку, музыка разваливается*). А!
Это вы? Очень приятно. Отчего вы так рано? Ах, вы в новых
носках? Ну, поздравляю вас, вы уже оштрафованы. Пожалуйста
в оркестр.

*Музыкант спускается в оркестр. Увертюра возобновляется.
С последним тактом ее открывается занавес. На сцене волшеб-
ство — горит солнце, сверкает и переливается тропический
остров. На ветках обезьяны, летают попугаи. Вивам Сизи-
Бузи на уступах вулкана, окружен частоколом. На заднем плане
океан. Сизи-Бузи сидит на троне в окружении одалисок из га-
рема. Возле него стоят в белых перьях сверкающий Ликки-Тик-
ки, Тохонга и шеренга арапов с копьями.*

СИЗИ. Ай, ай, ай! Мог ли я думать, что мои верноподдан-
ные туземцы способны на преступление против своего законно-
го государя! Я не верю моим царственным ушам... Где же пре-
ступники?

ЛИККИ. В тюремном подземельи, повелитель. Кири-Куки я посадил вместе с ними.

СИЗИ. Зачем?

ЛИККИ. Так он придумал. Чтобы туземцы не догадались о его вероломстве.

СИЗИ. А, это умно!

ЛИККИ. Прикажете представить злоумышленников, ваше величество?

СИЗИ. Представь, бодрый генерал.

ЛИККИ. Эй! Тохонга! Вынуть бездельников из подземелья!

Арапы открывают трап и выталкивают Кай-Кума, Фарра-Тете и Кири-Куки.

ТОХОНГА. Выходите на суд властителя!

СИЗИ. Ай-яй-яй! Ну, здравствуйте, дорогие мерзавцы!

КИРИ. Здравия желаю, ваше величество!

Кай и Фарра удивлены.

ЛИККИ. Прикажете допросить, ваше величество?

СИЗИ. Допроси, милый храбрец.

ЛИККИ. Ну-те, красавцы, что вы говорили у мансовых кустиков?

КАЙ. Мы ничего не говорили.

ЛИККИ. Ах, вот как! Да ты глазами не моргай! Говорил?

ФАРРА. Нет.

ЛИККИ. Молчать, когда с тобой разговаривают! Говорил? Отвечать, когда тебя спрашивают!

СИЗИ. Ай-яй-яй! Какие упорные! Если вы будете записаться, бог Вайдуа на том свете накажет вас.

КАЙ. Мы не верим больше в бога Вайдуа. Нам слишком мерзко живется. Его нет. Иначе он заступился бы за нас.

СИЗИ. Ах! Поставь их подальше от меня. Если в них ударит молния, она может зацепить и меня.

ЛИККИ. Видно, от них не добьемся толку. Кири, рассказывай ты.

КАЙ. Брат наш арап, будь мужественен, молчи.

КИРИ. Виноват, я вам не брат.

КАЙ. Как?

КИРИ. Ваше величество! Ужас, ужас, ужас! Впрочем, я так истомился в подземельи, что не могу говорить. Тохонга, дай мне для подкрепления глоток огненной воды. *(Тохонга подает Кири фляжку)*. Ух, хорошо! *(Кай и Фарра поражены)*. Итак, ваше величество, давно я стал замечать, что в умах ваших верно-

подданных происходит брожение. Угнетенный мыслью о том, что будет с нашим дорогим островом в случае, если движение примет гибельные размеры, решил я пуститься на хитрость...

КАЙ. Как? Кири...

ФАРРА. Вот оно что! Он провокатор. Все ясно!

ЛИККИ. Молчать!

КИРИ. Давно уже эти двое молодцов у меня на примете. Сегодня утром подсел я к ним и разговорился. Так, мол, и так. Отчего, ребятишки, вы такие грустные? Аль вам плохо живется?..

ФАРРА. Кай, мы в руках предателя. Ну, погоди же ты, гнусная гадина!

КИРИ. Ваше величество, защитите вашего преданного Кири от нападок госпреступников.

ЛИККИ. Молчать!

СИЗИ. Продолжай, умник.

КИРИ. Да что же, ваше величество. Ужас, ужас, ужас! Говорить-то страшно... Я и говорю им, — чего вы, братцы, мнетесь? К чему эта скрытность между своими? Как, — говорят, — разве ты наш? Ты — белый арап, состоишь в свите у Сизи-Бузи, что у тебя общего с нами, бедными рабами-туземцами? Ну, тут я им наговорил с три короба. И что я по виду только арап, а в душе я с ними, с красными туземцами...

КАЙ. О, есть ли на свете мера человеческой подлости!

КИРИ. ...и что давно я уже, тронувшись стремлениями туземного народа, задумал... вымолвить страшно, ваше величество... да, задумал бунт против вашего величества... и спрашиваю их: “А что, пошли бы вы в случае чего за мной?” — и вообразите, они отвечают: “пошли бы”.

СИЗИ. Где же ты, небесная молния?! Нету небесной молнии.

КИРИ. И тут еще народишко подошел, и многие стали сочувствовать... Я прямо в ужас впал от тех дел, что затеваются у нас на острове... Но вида не подаю и кричу: “Ужас, ужас, ужас! Долой, — кричу, — тирана Сизи-Бузи со сворой белых опричников!” И что же вы думаете, они мне стали вторить... Долой! Долой! Ну, а потом на этот крик сбежалась стража, как я и велел, и нас всех схватили.

СИЗИ. И это правда?

КАЙ. Да, это правда. И никогда еще правда не вылетала из уст, более гнусных, чем уста этого человека.

КИРИ. Видали, что за тип, ваше величество?

ЛИККИ. Заткнуть ему рот!

КАЙ (*отбиваясь*). Слушай, ты, пиявка!

СИЗИ. Пиявка? Это ты мне?

КАЙ. Тебе! Почему ты оказался на троне? Почему ты с несколькими сотнями вооруженных бездельников правишь несчетными толпами туземцев-рабов?..

ЛИККИ. Заткнуть его!

Тохонга затыкает рот Каю.

ФАРРА. Тысячи туземцев, задавленный, покорный народ ползает по жгучей земле, сеет манс, добывает для тебя жемчуг и собирает черепахи яйца. Они работают от восхода до заката солнечного бога.

ЛИККИ. Заткнуть и этого!

КИРИ. Ужас, ваше величество!

Фарре затыкают рот.

КАЙ (*вырывается*). А ты продаешь все это европейцам и пропиваешь?! Где же справедливость? Туземцы, вы слышите нас?..

Араны затыкают ему рот наглухо.

ФАРРА (*вырывается*). Злодей!

КИРИ. Удивляюсь вашему долготерпению, ваше величество.

СИЗИ. Что же мне, уши ватой затыкать, что ли? Тьфу, ваши утой. Трудный текст. Ватой уши... Молчи, негодный!

ФАРРА. Но трепещи, злодей! Уже светит зловещим пламенем молчавший доселе вулкан Муанганам. Гляди, гляди!

Туча скрывает солнце, и над вулканом показывается зловещий отблеск.

СИЗИ. Тьфу, тьфу, сухо дерево — завтра пятница! Не смей накликать беду, безбожник.

Туча уходит, светло. Каю и Фарре наглухо затыкают рты.

КИРИ. Извольте видеть, ваше величество, каких типчиков я вам обнаружил.

СИЗИ. Спасибо тебе, верный министр Кири. Ты получишь награду.

КИРИ. Ах, не из-за наград я работаю, ваше величество. Сознание исполненного долга самая сладкая награда моя. (*Тихо*). Ловко загнул! (*Вслух*). Кстати о наградах, ваше величество. Мне некоторое время не придется показываться на глаза туземцам. Пусть объявят, что я сижу в подземельи.

СИЗИ. Это умная мысль. Хорошо! Что же мне теперь с ними делать?

КИРИ. Натурально, повесить на пальме в назидание всем прочим.

СИЗИ. Это мысль. Читай приговор.

КИРИ. Туземцы Кай-Кум и Фарра-Тете за попытку к бунту против законного повелителя острова... да продлят боги неомраченным светлое царствование его, Сизи-Бузи второго... (*Дирижер дает знак, в оркестре фанфары. Арапы берут на караул*) ...приговариваются (*дробь барабана*) к лишению всех прав, конфискации имущества... где помещается ваше имущество? Эй, вынуть тряпку у этого!

КАЙ. Сволочь ты!..

КИРИ. Заткнуть!.. и повешению на пальме кверху ногами!

СИЗИ. Не забудь — “но принимая...”

КИРИ. Эх, ваше величество, избалуете вы их этими “принимая”.

СИЗИ. Я не хочу этим мерзавцам дать повод упрекать меня в жестокости.

КИРИ. Как бы это они упрекнули, вися на пальме? Висели бы себе тихо... Но принимая, прав не лишать, повесить со всеми правами и общепринятым способом вверх головой.

Кай и Фарра вырываются из рук арапов и взбегают на скалу.

КАЙ (*Фарре*). Нам нечего терять! Лучше смерть в волнах, чем в петле! За мною!

ФАРРА. Долой тирана!

Бросаются в океан, за сценой грузный всплеск.

СИЗИ. Ах!

КИРИ. Что же вы, черти, не держали их?!

ЛИККИ. Поймать!

Арапы бегут.

КИРИ. К пирогам!

ТОХОНГА. К пирогам! (*Пускает стрелу со скалы. Все убегают. Сизи тоже*).

ПАСПАРТУ (*за сценой*). Европейцы, на выход! Володька! Что же ты корабль не спустил? У, накладчики черти.

Дирижер дает знак. Матросы (за сценой, с оркестром поют): По морям... по морям... Нынче здесь... завтра там... С неба на тросах спускается корабль, на нем Лорд, Лэди, Паганель,

Паспарту, Гаттерас, матросы. Все в костюмах с иллюстраций к книжкам Жюль Верна.

МАТРОСЫ (*поют*): Ах, далеко нам до Типерери...

Пушечный удар.

Земля! Земля! Ура! Ура!

ЛЭДИ. Лорд Эдвард, земля! О, как я рада!

ЛОРД. О, иес. Я вижу. Капитан, спускайте нас на берег.

ГАТТЕРАС. Трап спустить! Ротозен! Эй! Ты в штанах клёш, ползешь к трапу, как вошь! А чтоб тебя лихорадка бросала с кровати на кровать, чтоб ты мог понимать...

ЛЭДИ. О, Боже мой, как он выражается!

ПАГАНЕЛЬ. Как вы выражаетесь при мадам, мсье Гаттерас.

ГАТТЕРАС. Тысячу извинений, лэди, я вас не заметил. Спустите трап, ангелочки, спустите, херувимчики, английским языком вам говорю! Трам-та-рам-та-рам... (*Ругается беззвучно*).

Матросы спускают трап, все сходят на берег.

ЛЭДИ. Какая дивная земля! Лорд Эдвард, мне кажется, этот остров необитаем.

ПАГАНЕЛЬ. Мадам имеет резон. Остров необитаем. Клянусь Елисейскими Полями, я первый заметил это.

ЛЭДИ. Простите, мсье Паганель, я первая крикнула — “необитаемый!”

ЛОРД. Лэди права. Капитан, подать сюда флаг! (*Втыкает английский флаг в землю*). Иес. Остров английский!

ПАГАНЕЛЬ. Паспарту! Флаг! (*Втыкает французский флаг в землю*). Уй. Остров французский.

ЛОРД. Как понимать ваш поступок, сэр?

ПАГАНЕЛЬ. Как хотите, понимайте, мсье.

ЛОРД. Вы — гость на моей яхте, сэр, и я не понимаю вас. Я не могу допустить, чтобы остров валялся на дороге безпризорным.

ПАГАНЕЛЬ. Я тоже не могу допустить такое.

ПАСПАРТУ. Прошу извинения, джентльмены. Маленький совет: остров пополам.

ЛОРД. Согласен. Иес.

ПАГАНЕЛЬ. Уй. (*Показывается Сизи и вся остальная компания*). О, вуаля! Смотрите, смотрите!

ЛОРД. Остров обитаем. Кто вы такие?

КИРИ. Позвольте поздравить, ваше сиятельство, по поводу прибытия на наш уважаемый остров.

ЛОРД. Вы здесь живете?

КИРИ. Точно так. Прописаны на острове.

ЛОРД. Убрать флаги! Кто же владеет островом?

СИЗИ (*поместившись на троне*). Я, милостию богов и духа Вайдуа. (*Фанфары*). Я — Сизи-Бузи второй царствую здесь. Вот гвардия моя, арапы верные, и предводитель Ликки-Тикки.

КИРИ. Честь имею рекомендовать себя. Я — Кири-Куки, церемониймейстер двора его величества.

ЛОРД. А где же двор?

КИРИ. А вот, извольте видеть, вигвам на вулкане, а возле него палисадничек. Это и есть двор.

ЛЭДИ. Ах, какое забавное племя мы открыли!

СИЗИ. А вы кто такие будете, дорогие гости?

ЛОРД. Я... (*В оркестре музыка*). ...лорд Эдвард Гленарван, владелец замка Малькольм. Со мною лэди Гленарван и Гаттерас, мой капитан, с командою.

ПАГАНЕЛЬ. Я... (*в оркестре — Марсельеза*). ...Как Элиасин Мария Паганель, секретарь географического общества. Со мною лакей мой...

ПАСПАРТУ. Паспарту.

СИЗИ. Сердцу моему приятны знатные гости.

ЛОРД. Подать сюда складные стулья. (*Матросы подают стулья, европейцы усаживаются*). Где же ваш народ?

СИЗИ. Народ у нас — красные туземцы. Они живут там далеко.

ЛОРД. Много их?

СИЗИ. О, много... один... два... пятнадцать... и еще много полчищ.

ПАГАНЕЛЬ. Как интересно! (*Записывает*).

ЛОРД. Вы управляете, а они работают?

СИЗИ. Так, дорогой, так.

ЛОРД. О, это умно! Добрый народ?

КИРИ. Очаровательнейший народишко, ваше сиятельство! Тут намерении двоих приводили... впрочем, ничего.

ЛОРД. Остров богат?

СИЗИ. Слава богам, живем не жалуемся. На острове у нас есть маис, рис, черепахи, слоны, попугаи, а в прошлом году обьвился жемчуг.

ЛЭДИ. Жемчуг? О, это крайне интересно!

ПАГАНЕЛЬ. О, да.

ЛОРД. Жемчуг? Вы говорите — жемчуг? И много вы до-
бываете его?

СИЗИ. Немного, дорогой. Пудов пятьсот каждый год.

ЛОРД ЛЭДИ ПАГАНЕЛЬ ГАТТЕРАС	}	Сколь — ко?..
--------------------------------------	---	---------------

СИЗИ. Почему вы так удивились, о знатный иностранец?

ЛОРД. Мало. И куда вы деваете этот жемчуг.

СИЗИ. Продали.

ЛОРД. Кому?

ЛЭДИ. Продали!

ЛОРД. Лэди, прошу вас помолчать.

СИЗИ, Немец к нам один приезжал.

ПАГАНЕЛЬ. Всюду этот немец!

ЛОРД. И сколько он вам заплатил?

СИЗИ. Пятьсот аршин ситцу, двадцать боченков пива, од-
ного миссионера, и, кроме того, он подарил Кири-Куки брюки...

КИРИ. Вот эти самые штаны.

СИЗИ. А мне он подарил на память пятьсот своих денежных
марок, и я ими обклеил свой вигвам.

ЛОРД. И он забрал пятьсот пудов жемчугу?

СИЗИ. И увез.

КИРИ. Я говорил вам, ваше величество, что мы продеше-
вили.

ПАГАНЕЛЬ. Мошенник!

КИРИ. Я говорил вам, ваше величество.

СИЗИ. Неужели он обидел старого Сизи? А ведь он обещал
вернуться к нам на своем пыхтящем катере.

ГАТТЕРАС. И когда он вернется на этом катере, ты должен
послать его обратно в Европу. Ах, чтоб тебя перевернуло килем
вверх! И ты хорош, старая образина! Да если он еще раз явится
сюда и ты не спустишь его с ржавым якорем на ногах в океан, я
прямо...

ЛОРД. Капитан, успокойтесь.

ГАТТЕРАС. Да не могу я, ваше сиятельство, с этими ара-
пами... Господи!

ЛОРД (*тихо*). Сэр... ведь это что же такое! А? Желаете?

ПАГАНЕЛЬ. Сертенеман. Конечно. Уй.

ЛОРД. Попролам?

ПАГАНЕЛЬ. Пополам.

ЛОРД (*вслух*). Ну, вот что... Сейчас есть жемчуг?

СИЗИ. Сейчас, дорогой, не имеем. Весною будет, через три месяца.

ЛЭДИ. Покажите, какой он? Образчик.

СИЗИ. Показать можно. Тохонга, принеси из вигвама жемчужину, которой я забиваю гвозди.

Тохонга выносит жемчужину сверхъестественных размеров.

ТОХОНГА. Вот.

КИРИ. Вуаля.

ЛЭДИ. Ах, мне нехорошо....

ПАГАНЕЛЬ. Собор Парижской Богоматери!

ГАТТЕРАС. Пятьсот пудов такого? Такого?

СИЗИ. Нет, тот был крупнее.

КИРИ. Гораздо крупнее, ваше сиятельство.

ГАТТЕРАС. Я не могу...

ЛОРД. Ну, вот что. Коротко. Нам сейчас нужно отплыть в Европу. Пойми, король, что у тебя был жулик.

СИЗИ. Ах, ах! Дух Вайдуа его накажет.

ГАТТЕРАС. Конечно, держи карман шире.

ЛОРД. Капитан, попрошу меня не перебивать. Итак! Я покупаю весь ваш жемчуг. И не только тот, что вы добудете весной... Но все, что вы выловите за десять лет. Я заплачу вам...

ПАГАНЕЛЬ. Пополам со мной.

ЛОРД. Да, пополам с господином Жаком Паганель... Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов?

СИЗИ. Нет, дорогой. Это что?

ЛОРД. Это удобная вещь. Всюду, где бы ты ни был на земном шаре, одним словом, эта бумажка... вот она. Всюду, где бы ты ни предъявил ее, ты получишь грудку ситцу, горы табаку, штанов и сколько угодно огненной воды.

ГАТТЕРАС. Да не вонючего жуликова пива...

ЛОРД. ...а рому! Рому!

СИЗИ. Боги благословят тебя, иностранец.

ЛОРД. Слушай. Я дам тебе тысячу таких бумажек. И ты закутаешь свой остров в ситец, как в юбку. Я дам тебе пятьсот бочек коньяку, который горит, как солома, если к нему поднести спичку, я дам тебе тысячу аршин коленкору, тысячу, понимаешь? Сто... сто... десять раз сто. Пятьдесят коробок сардинок... Чего ты еще хочешь?

СИЗИ. Больше ничего не хочу. Ты — великодушный иностранец.

ГАТТЕРАС. А я тебе со своей стороны дарю трубку с условием, что к моему приезду сукин немец будет висеть здесь на дереве, как гнилой банан.

КИРИ. А мне чемодан, ваше сиятельство.

ЛОРД. Хорошо. Я заплачу тебе все это сейчас, вперед, поняла?

СИЗИ. Я люблю тебя, иностранец!

ЛОРД. Я тебя тоже, только обслужил ты меня всего. Целуй мсье Паганеля.

ПАГАНЕЛЬ. Мерси, я поцеловался позавчера. И сыт.

ЛОРД. Подпишись здесь.

СИЗИ. Я, дорогой, как месяц пробыл в ликвидации неграмотности, все забыл. Помню — Зе — крендель, а остальное вылетело.

КИРИ. Позвольте мне, лорд. Вот пожалте. КИ, И, КИ, КИ-РИ, КУКИ.

ЛЭДИ. О, вы грамотны? (*Тихо*). Он очень недурен этот арап. (*Вслух*). Кто выучил вас?

КИРИ. Заезжие иностранцы, сударыня.

ЛОРД (*читает*). Кири-Куки и... чемодан. Что такое?

КИРИ. А это я напоминаю. Не забыть бы про чемодан, ваше сиятельство.

ЛОРД. А! Выдать ему чемодан с блестящими застежками.

Паспорту подает чемодан.

КИРИ. Какая прелесть! Верить ли мне моим голубым глазам! Ах, ах! Нет, я недостоин такого чемодана. Позвольте мне обнять вас, лорд.

Лорд уклоняется, Кири обнимает лэди.

ЛЭДИ. Ах, вы дерзкий!

ЛОРД. Ну, это лишнее. Итак, получай... (*Выдает толстые пачки денег*). Вот фунты стерлингов. Но помни: честным нужно быть! Через три месяца я приеду за жемчугом. Немца, если появится, гнать! Не плутовать! Иначе я рассержусь.

ПАГАНЕЛЬ. Я тоже. Мы сделаем войну.

СИЗИ. Ах, что пугаешь старого Сизи? Он не обманет.

ЛОРД. Ну, молодец! Матросы, выдать коленкор, сардины, выкатить ром!

ГАТТЕРАС. Даешь ром! Там-тар...

МАТРОСЫ. Эгей!.. (*Выбрасывают товары, выкатывают бочки*).

СИЗИ. Спасибо тебе. Я тебе дарю жемчужину. На!

ЛЭДИ. Мерси! Ах, чудо! Чудо!

КИРИ. Тохонга! Поймай для лэди попугая!

ТОХОНГА. Сейчас. (*Стая попугаев взлетает. Тохонга ловит чудовищного и подносит его*). Вот.

КИРИ. Позвольте вам, сударыня, поднести на память попугая. Приятное украшение вашей гостиной в Европе.

ЛИККИ. Ловок, каналья!

ПАГАНЕЛЬ. Черт! Дикарь галантен!

ЛЭДИ. Он очарователен, мсье Паганель! Мерси! Мерси! Он говорит?

КИРИ. Еще как!

ГАТТЕРАС. В первый раз в жизни вижу такой экземпляр! Ах, чтоб тебе сдохнуть!

ПОПУГАЙ. Чтоб тебе самому сдохнуть.

Общее изумление.

ГАТТЕРАС. Ты это кому? Ах, ты, сатана безхвостый!

ПОПУГАЙ. Сам сатана!

ГАТТЕРАС. Вот я тебя!

ЛЭДИ. Что вы, капитан? Не смейте обижать мою птичку! Попка дурак!

ПОПУГАЙ. Сама дура!

ЛЭДИ. Ах!

ЛОРД. Полегче, Метелкин!

ПОПУГАЙ. Слушаю, Геннадий Панфилович.

ГАТТЕРАС. Лорд, солнце садится. Пора ехать. У острова рифы.

ЛОРД. Поднимайте паруса, капитан.

ГАТТЕРАС. Слушаю. Команда, на корабль!

Матросы идут на корабль, и он одевается парусами.

ЛОРД. Гуд бай!

СИЗИ. Пока!

ЛЭДИ. Паспарту! Взять попугая!

ПАСПАРТУ. Слушаю, лэди.

ПАГАНЕЛЬ. О ревуар!

ГАТТЕРАС. Трап поднять! Трам-та-ра-рам!

ПОПУГАЙ. Мать, мать мать...

ГАТТЕРАС. Ах, чтоб ты сгорел в камбузе! Завязать ему клюв канатом! Из бухты вон!

Поднимают якорь. Корабль начинает уходить. Солнце садится в океан.

МАТРОСЫ (*затихая*). По морям... по морям...

ПОПУГАЙ (*поет*). Нынче здесь, завтра там!

СИЗИ. Уехали! Хорошие иностранцы!

КИРИ. Честь имею поздравить, ваше величество, с выгодной сделкой.

ЛИККИ. А я тебя с чемоданом! Умеешь ты кланчить, чертов сын!

КИРИ. Ты знаешь, Ликки, иностранка в меня влюбилась, кажется.

ЛИККИ. Ну, конечно, она никогда не видала такого красавца, как ты!

СИЗИ. Кири, прими деньги и спрячь.

КИРИ. Слушаю, ваше величество. (*Прячет деньги в чемодан*). Как прикажете быть с продуктами?

СИЗИ. Спрятать в мои кладовые. Арапам выдать по чарке огненной иностранной воды.

АРАПЫ. Покорнейше благодарим, ваше величество!

СИЗИ. Молодцы ребята!

АРАПЫ. Рады стараться, ваше величество!

СИЗИ. Хорошо, только замолчите. (*Тохона вскрывает бочку. Она вспыхивает синим огнем в сумерках*). Вот это я понимаю!

ЛИККИ. Ваше величество, следовало бы и туземцам объявить какую-нибудь милость.

СИЗИ. Милость? Ты думаешь? Ну, что ж! Объяви им, что я их прощаю за бунт. Прощаю и тех двух головорезов, которые потонули. Я на них не сержусь.

КИРИ. Добрейший государь! (*Тихо*). Однако, хотел бы я наверняка знать, что они потонули.

СИЗИ. Назначая сегодня вечером праздник всем придворным и верной моей гвардии, и пусть в час восхода ночного светила... (*Всходит таинственная луна*)... потешат нас пляскою одалиски из моего гарема.

Дирижер дает знак, и оркестр буйно играет 2-ю рапсодию Франца Листа. Одалиски начинают пляску. Радостнее всех пляшет Кири-Куки с чемоданом. Идет занавес и закрывает сцену.

ПАСПАРТУ (*в прорезе занавеса взмахивает рукою, и музыка прекращается*). Антракт.

В залу дают свет.

А К Т В Т О Р О Й

КАРТИНА ПЕРВАЯ

В оркестре раскаты катастрофы. Открывается занавес. На сцене тьма и только над вулканом зловещее зарево.

КИРИ (с фонариком). О! Кто тут есть? Ко мне! Ко мне! Кто это? Полководец, ты?

ЛИККИ (с фонариком). Я! Я! Это ты, Кири?

КИРИ. Я! Я! Вот так штука! Ты уцелел?

ЛИККИ. Как видишь, благодаря богам!

КИРИ. Отвечай, погиб Сизи-Бузи?

ЛИККИ. Погиб.

КИРИ. Сколько раз я твердил старику, убери ты вигвам с этого чертова примуса! Нет, не послушался. “Боги не допустят!”... Вот тебе и не допустили!.. Кто еще погиб?

ЛИККИ. Весь гарем и половина арапов. Все, кто были в карауле.

КИРИ. Хорошенькие дела!

ЛИККИ. Ума не приложу, что же теперь будет?..

КИРИ. Нет, дорогой генерал, тут очень даже придется приложить!

ЛИККИ. Ну, так прикладывай скорее!

КИРИ. Погоди... Сядем... Ох!

ЛИККИ. Что?

КИРИ. Кажется, я ногу себе вывихнул. Ох!.. Итак... Прежде всего, разберемся в том, что произошло. Произошло...

ЛИККИ. Извержение.

КИРИ. Погоди, не перебивай! Извержение! Да, хлынула лава и затопила царский вигвам. И вот мы остались без повелителя.

ЛИККИ. И без половины гвардии.

КИРИ. Да это ужасно, но это факт. Спрашивается, что же теперь произойдет на острове?

ЛИККИ. А что?

КИРИ. Я тебя спрашиваю, что?

ЛИККИ. Не знаю.

КИРИ. А я знаю. Произойдет бунт.

ЛИККИ. Да неужели?

КИРИ. Будь спокоен. Тебе отлично известно, в каком состоянии наш добрый туземный народ, а теперь, когда он узнает, что повелителя больше нету, он совершенно взбесится...

ЛИККИ. Не может быть!

КИРИ. “Не может быть!”... Что ты — как ребенок, в самом деле!.. Ой, смотри, еще огонь!.. Не хлынуло бы сюда!

ЛИККИ. Нет, уже утихло.

КИРИ. Ну, брат, я внутри там не был. Черт его знает, утихает он, не утихает... Перейдем-ка вниз на всякий случай... (*Перебегают*). Тут спокойнее. Итак, спрашивается, что нужно сделать, чтобы избежать ужасов бунта и безначалия?

ЛИККИ. Не знаю.

КИРИ. Ну, а я знаю. Необходимо сейчас же избрать нового правителя.

ЛИККИ. Ага! Понял! Но кого?

КИРИ. Меня.

ЛИККИ. Ты — как, в здравом уме?

КИРИ. Я всегда в здравом, что бы ни случилось.

ЛИККИ. Ты — правитель?!.. Слушай, это нахальство!

КИРИ. Молчи, ты ничего не понимаешь. Слушай меня внимательно: эти двое чертей утонули наверно?

ЛИККИ. Кай-Кум и Фарра-Тете?

КИРИ. Ну, да.

ЛИККИ. Мне кажется, я видел, как головы их скрылись под водою.

КИРИ. Хвала богам! Только эти две личности и могли помешать исполнению моего плана, который я считаю блестящим.

ЛИККИ. Кири, ты нагл! Кто ты такой, чтобы тебе лезть в правители?! Скорее уже я, начальник гвардии...

КИРИ. Что ты можешь? Ну, что ты можешь? Ты умеешь только орать команды и больше ничего! Нужен умный человек!

ЛИККИ. А я не умен? Молчать, когда...

КИРИ. Ты среднего ума человек, а нужен гениальный.

ЛИККИ. Это ты-то гениальный?

КИРИ. Не спорь. Ой!.. Слышишь?

Шум за сценой.

ЛИККИ. Ну, конечно, проснулись, черти!

КИРИ. Да, они проснулись, и если ты не хочешь, чтобы они тебя, вместе с остатками твоей гвардии, выкинули в воду, слушай меня. Коротко! Я пройду в правители. Отвечай мне, желаешь ли ты оставаться у меня начальником гвардии?

ЛИККИ. Это неслыханно! Я — Ликки-Тикки, полководец, буду начальником гвардии у какого-то проходимца!..

КИРИ. Ах, так! Пропадай же ты, как собака, без церковного

даже покаяния! Имей в виду, что план я свой все равно выполню. Я перейду на сторону туземцев, в правители я все равно пройду! Ибо островом управлять некому, кроме меня. Ну, а ты будешь кормить крабов в бухте Голубого Спокойствия. До свидания! У меня нет времени!

ЛИККИ. Стой, мерзавец! Я согласен.

КИРИ. Ага, это другое дело.

ЛИККИ. Что я должен делать?

КИРИ. Собери уцелевших арапов и молчи в тряпочку. Что бы с ними не происходило! Понял? Молчи!

ЛИККИ. Ладно. Посмотрю я, что из этого выйдет... Тохонга! Тохонга! Где ты?

ТОХОНГА (*входит*). Я здесь, генерал.

ЛИККИ. Зови сюда всех, кто уцелел!

ТОХОНГА. Слушаю, генерал!

Шум громаднейшей толпы. На сцене — сперва отдельные, потом толпами появляются туземцы с красными флагами. Пламя дрожит, и от этого всего вся сцена освещается мистическим светом.

КИРИ (*вскочив на пустую ромовую бочку*). Эй! Эгей! Туземцы, сюда! Сюда!

ТУЗЕМЦЫ. Кто зовет? Что случилось? Извержение? Кто? Что? Почему?

Тохонга вводит на сцену гвардию с белыми фонарями.

КИРИ. Я зову! Зову я! Кири-Куки, друг туземного народа! Сюда! (*Поднимает свой фонарик над головой*).

1-й ТУЗЕМЕЦ. Извержение!

КИРИ. Да! Извержение! Сюда! Слушайте, все слушайте, что я вам скажу!

ТУЗЕМЦЫ. Кто это говорит? Кто говорит? Кто?

КИРИ. Это говорю я — Кири! Друг туземного народа!

ТУЗЕМЦЫ. Слушайте! Слушайте!

КИРИ. Тише, друзья мои! Сейчас вы узнаете о том, что произошло... (*Наступает тишина*). Сегодня ночью, в то время, когда бывший царь наш Сизи-Бузи второй...

В оркестре звуки фанфар.

АРАПЫ. Боги да хранят!..

ЛИККИ. Тише вы!

КИРИ (*делает отчаянные знаки с бочки, и фанфары умолкают, а также и арапы*). ...ничего его боги не хранят! Да и не

хранили никогда! Да и незачем богам охранять тирана, измучившего свой народ!

Туземцы издают звуки изумления.

КИРИ. Итак, когда Сизи, напившись огненной воды, мирно спал в своем гареме на уступе, — вулкан Муанганам, молчавший триста лет, внезапно отверз свою огненную пасть и изрыгнул потоки лавы, кои и стерли с лица острова как самого Сизи-Бузи, так равно и его гарем и половину гвардии. Видно, пришел начертанный в книге жизни предел божественному терпению, и волею духа Вайдуа тирана не стало...

Гул.

ЛИККИ. До чего, каналья, красноречив!

КИРИ. Братья! Я — Кири-Куки, арап по рождению, но туземец по духу, поддерживаю вас! Вы свободны, туземцы! Кричите же вместе со мною — ура! Ура!

ТУЗЕМЦЫ (*вначале тихо, потом громче*). Ура! Ура! Ура!

ДИРИЖЕР (*встает и делает знаки*). Ура! Ура! Ура!

ТУЗЕМЦЫ. Ура! Ура! Ура!

Гул стихает.

КИРИ. Не будет больше угнетения на острове, не будет жгучих бичей надсмотрщиков-арапов, не будет рабства. Вы сами теперь хозяева своего острова, вы сами — владыки! О, туземцы!

2-й ТУЗЕМЕЦ. Почему он говорит это, братья, почему арап из свиты радуется за нас? В чем дело?

1-й ТУЗЕМЕЦ. Это — Кири-Куки.

3-й ТУЗЕМЕЦ. Кто? Кто?

Гул.

ЛИККИ. Говорил я, что ничего не выйдет из этой прелестной затеи! Унести бы только ноги!

4-й ТУЗЕМЕЦ. Это Кири!

КИРИ. Да, это я. Кто-то из вас, возлюбленные мои туземцы, крикнул: "почему арап радуется вместе с нами?" Ах, ах, ах! Горечь в моем сердце от подобного вопроса! Кто не знает Кири-Куки? Кто не слышал его не далее, как вчера, у майсовых кустов?

1-й ТУЗЕМЕЦ. Да, да, мы слышали!

ТУЗЕМЦЫ. Мы слышали!

1-й ТУЗЕМЕЦ. Где Кай-Кум и Фарра-Тете?

КИРИ. Тише! Слушайте, что сделал я, истинный друг туземного народа, Кири-Куки! Вчера я был схвачен стражею вместе с другими туземцами Кай-Кумом и Фарра-Тете...

3-й ТУЗЕМЕЦ. Где же они? Почему ты один?

КИРИ. Слушайте, слушайте! Нас бросили в темницу, а затем привели сюда к подножию сизиною трона, и здесь верная смерть глядела нам в глаза. Я был свидетелем того, как бедных Кая и Фарра приговорили к повешению. Ужас, ужас, ужас!

3-й ТУЗЕМЕЦ. А тебя?

КИРИ. Меня? Со мною вышло гораздо хуже. Старый тиран решил, что для меня, арапа, изменившего ему, смерть в петле на пальме — слишком легкое наказание. Меня ввергли обратно в подземелье и оставили там на сутки, чтобы изобрести для меня неслыханную по жестокости казнь. Там, сидя в сырых недрах, я слышал, как доблестные Кай-Кум и Фарра-Тете вырвались из рук палачей, бросились с Муанганама в океан и уплыли. Бог Вайдуа да хранит их в бурлящей пучине!

ЛИККИ (*тихо*). А ну, как они выплывут, батюшки мои, батюшки!

1-й ТУЗЕМЕЦ. Боги да хранят Кая и Фарра! Да здравствует Кири-Куки, друг туземного народа.

ТУЗЕМЦЫ. Да здравствует Кири! Да здравствует Кири! Хвала богам!

КИРИ. Дорогие друзья, теперь перед нами возникает вопрос о том, что делать нам? Неужели цветущий остров наш остается без правителя? Неужели нам грозит ужас безначалия и анархии?

ТУЗЕМЦЫ. Он прав, Кири-Куки! Он прав!

КИРИ. Друзья мои, я предлагаю тут же, не сходя с места, избрать человека, которому мы могли бы без страха доверить судьбу нашего острова и все богатства его. Он должен быть честен и правдив, друзья! Он должен быть справедлив и милостив, но он, друзья мои, должен быть и образован, чтобы вести сношения с европейцами, нередко посещающими наш плодородный остров. Кто же это, друзья?..

ТУЗЕМЦЫ. Это ты, Кири-Куки!..

КИРИ. Да, это я! То-есть, нет! Ни за что! Я недостоин этой чести!

ТУЗЕМЦЫ. Кири, ты не смеешь отказываться! Кири! Ты не можешь покинуть нас в столь трудную минуту! Ты один образованный человек на острове!

КИРИ. Нет! Нет!

ЛИККИ. Вот черт! (*Тихо*). Кири! Зачем ты ломаешься?

КИРИ (*тихо*). Пошел вон, болван! (*Громко*). Неужели мне

придется взять па себя эту страшную тяжесть и ответственность? Неужели мне?! Хорошо, я согласен.

ТУЗЕМЦЫ (*громовыми голосами*). Ура! Да здравствует Кири-Куки 1-й — друг туземного народа!

КИРИ. Слезы умиления застилают мне глаза, о, дорогие мои! Хорошо, дорогие туземцы, я приложу все старания, чтобы вы не раскаялись в вашем выборе. И, в знак того, что я душою и сердцем с вами, я снимаю с себя белый арапов убор и надеваю ваши прелестные туземные цвета... (*Снимает головной убор, надевает багряные туземные перья*).

Туземцы ликуют. Музыка.

Я, Кири-Куки 1-й, объявляю вам свой первый декрет. В знак радости, переименовываю наш дорогой остров, во времена Сизи-Бузи носивший название Туземного острова, в остров Багровый. (*Туземцы ликуют*). Теперь возникает вопрос, что делать нам с остатками гвардии Сизи-Бузи? Вот они!

Ликки и арапы растеряны.

ТУЗЕМЦЫ. В воду их!

ТОХОНГА (*Ликки*). Генерал, ты слышишь?

ЛИККИ. Предатель...

ТУЗЕМЦЫ. В океан!

КИРИ. Нет! Выслушайте меня, верноподданные мои! Кто будет защищать остров в случае нашествия иноплеменников? Кому мы, наконец, поручим охрану меня? Жизнь человека, который, повидимому, так нужен острову! Я предлагаю, друзья мои, в случае их раскаяния, простить их, забыть их прежнюю службу тирану и взять их на службу к нам. (*Ликки*). Отвечай, преступный генерал, согласен ли ты раскаяться и верою-правдою служить туземному народу и мне?

Ликки молчит.

КИРИ. Отвечай, тумба, когда тебя спрашивают!

ЛИККИ (*тихо*). Ты велел мне молчать...

КИРИ. Рекомендую тебе быть посообразительнее.

ЛИККИ. Согласен, повелитель.

КИРИ. Будешь служить?

ЛИККИ. Так точно, ваше величество.

КИРИ. Не пойдешь против меня и народа?

ЛИККИ. Никак нет, ваше величество!

КИРИ. Молодец, ты верный старик!

ЛИККИ. Рад стараться, ваше величество!

КИРИ. Ну, тебя не перекричишь. (*Арапам*). Согласны?

АРАПЫ. Согласны, ваше величество!

КИРИ. Прощаю вас и в знак милости переименовываю в заслуженных народных арапов.

АРАПЫ. Покорнейше благодарим, ваше величество!

КИРИ. А, черт вас возьми. У меня могут барабанные перепонки лопнуть. Прикажи им молчать.

ЛИККИ. Молчать!

КИРИ. Переодеть их в наш туземный цвет!

ЛИККИ. Слушаю, ваше величество.

КИРИ. Пожалуйста, без крику! Молчи!

ЛИККИ. Слуш... (*Хлопает в ладоши, — с арапов миновено сваливаются перья и на голове вырастают багровые. Фонари их, вместо белого цвета, загораются розовым*).

КИРИ. Вот, туземный народ, вот твоя гвардия!

ТУЗЕМЦЫ. Ура!

ЛИККИ. По церемониальному маршу!.. (*Дирижер взмахивает палочкой*)... шагом... арш!

Оркестр играет марш. Арапы идут мимо Кири церемониальным маршем. Туземцы, несметные полчища, машут фонариками.

КИРИ. Здравствуйте, гвардейцы!

АРАПЫ. Здр... жел... ваше величество!

ЛИККИ (*отмаршировав, становится рядом с Кири*).

КИРИ. Видал?

ЛИККИ. Ты — действительно гениальный человек! Теперь я вижу!

КИРИ. То-то!

З а н а в е с.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Царственный вигвам Кири-Куки

КИРИ. Три дня всего прошло, как я управляю нашим проклятым островом, а между тем от этого жемчуга у меня голова кругом идет!

ЛИККИ (*закусывая*). Сам виноват.

КИРИ. Чем же это, спрашивается?

ЛИККИ. Насулил им черт знает чего, теперь отдувайся. (*Пронически*). Друг туземного народа! (*Жует*). Кто квакал: всего у нас вдоволь будет, вдоволь и рису и мансу... и огненной

воды. Всё для вас и всё про вас. Вы сами хозяева. Помнишь, как ты им говорил? Ну, вот они и хозяйничают.

КИРИ. Чудовищнее всего это требование не отдавать жемчуг англичанам. Хорошенькое дельце! Как же это я не отдам, когда он за него деньги заплатил!

ЛИККИ. И огненную воду. Стало быть, и подавай жемчуг англичанам!

КИРИ. Да они всерьез не желают отдавать его. Выловить, говорят, выловим, а пусть нам пойдет. У меня мороз по коже подирает при мысли о том, как явится на корабле эта толстая физиономия с рыжими бакенбардами. Спрашивается, что я буду делать? О, великое счастье, что потонули эти два подстрекателя...

ЛИККИ (*жует*). Да...

КИРИ. Что ты говоришь?

ЛИККИ. Я говорю — да.

КИРИ. “Да”. А что — да? Только и умеешь, что мычать. Ты бы лучше совет дал.

ЛИККИ. Это не моя специальность советы давать. Мне что поручено? Караулить тебя. Я и караулю. А уже ты сам управляй, как тебе нравится.

КИРИ. Очень хорошо ты поступаешь!

ЛИККИ. Вот при покойном Сизи-Бузи хорошо было!

КИРИ. Чем, спрашивается?

ЛИККИ. При Сизи они отдавали жемчуг беспрекословно. Порядок был, вот чем!

КИРИ. Нужно и теперь навести порядок.

ЛИККИ. Теперь трудно, дорогой правитель. Слишком ты их избаловал.

КИРИ. Ну, нечего скулить! Этим дела не исправишь.

ТОХОНГА (*входит*). Привет тебе, правитель!

КИРИ. Спасибо. Что скажешь, дорогой мой?

ТОХОНГА. Туземцы опять пришли. Желают лицезреть твою милость!

КИРИ. Опять? Наказанье, честное слово! Гони ты их... сюда, в кабинет.

ТОХОНГА. Слушаю, повелитель. (*Выходит*). Входите!

Входят 1-й, 2-й, 3-й туземцы.

ТУЗЕМЦЫ. Привет тебе, Кири, наш повелитель и друг, да хранят тебя боги!

КИРИ. А-а! И вас они пусть да хранят тоже самое. Очень

приятно. Я прямо соскучился по вас. Ведь с самого утра вас не было.

ТУЗЕМЦЫ. Боги да хранят Ликки-Тикки, храброго полководца народной гвардии!

ЛИККИ. И вас, и вас.

1-й ТУЗЕМЕЦ. Ты закусываешь, бравый Ликки?

ЛИККИ. Нет, танцую.

2-й ТУЗЕМЕЦ. Наш храбрый Ликки любит пошутить.

КИРИ. Да, он веселого нрава человек. Кстати, полководец, я нахожу, что ты мог бы разговаривать более приветливо с дорогими моими подданными. (*Ликки ворчит*). Присаживайтесь, ребята, на корточки. (*Туземцы усаживаются*). Чтобы не терять драгоценного времени, излагайте, голуби, что вас привело к моему вигваму в час высшего стояния солнечного бога, когда не только правители, но и простые смертные, утомленные сбором маиса, отдыхают в своих вигвамах? (*Тихо*). Не понимают, черти, намеков!

1-й ТУЗЕМЕЦ. Мы пришли сообщить тебе радостную весть.

КИРИ. Радуюсь с вами заранее, даже не зная, в чем она заключается.

3-й ТУЗЕМЕЦ. Мы пришли сказать, что улов жемчуга сегодня был чрезвычайно удачен. Мы вытащили пятнадцать жемчужин, из которых самая маленькая была величиной с мой кулак.

КИРИ. Я в восторге! И поражает меня только одно, почему вы их немедленно не доставили в мой вигвам, как я уже говорил вам сегодня утром?

1-й ТУЗЕМЕЦ. О, Кири-повелитель! Народ очень волнуется по поводу этих жемчужин и послал нас к тебе, чтобы узнать, что ты собираешься сделать с ними?

КИРИ. Дорогие мои, сейчас очень жарко, чтобы по десяти раз повторять одно и то же. Тем не менее, повторяю вам в одиннадцатый — жемчуг должен быть доставлен в мой вигвам, а когда мы накопим пятьсот пудов, за ним придет англичанин и заберет его.

2-й ТУЗЕМЕЦ. Кири! Народ не хочет отдавать англичанину жемчуг.

КИРИ. Тем не менее, жемчуг придется отдать. Сизи получил за него уплату полностью и продал англичанину жемчуг.

3-й ТУЗЕМЕЦ. Кири, ты знаешь, о чем болтал народ сегодня в бухте во время ловли?

ЛИККИ (*сквозь зубы*). Вот, вот... вот и плоды... Поболтал бы он при Сизи!..

1-й ТУЗЕМЕЦ. Что ты говоришь, телохранитель?

ЛИККИ. Нет, ничего. Это я напеваю романс.

КИРИ. Полководец, вредно петь на жаре.

ЛИККИ. Я молчу, молчу.

КИРИ. Что же он болтал?

3-й ТУЗЕМЕЦ. Он болтал о том, что наш Кири, боги да продлят его жизнь, поступает плохо, настаивая на выдаче жемчуга.

КИРИ. Дорогие, вы понимаете туземный язык? Англичанин придет с пушками, а бумагу подписал я.

1-й ТУЗЕМЕЦ. Кири, друг народа, поступил легкомысленно, подписав бумагу.

КИРИ. Не находишь ли ты, дорогой мой, что простому туземцу неудобно таким образом отзываться о правителе острова?

1-й ТУЗЕМЕЦ. Я говорил, любя.

КИРИ. А я вам, любя, говорю, чтоб вас... боги хранили, что жемчуг должен быть доставлен сюда.

2-й ТУЗЕМЕЦ. Туземный народ не сделает этого.

КИРИ. А я говорю, что сделает.

ТУЗЕМЦЫ. Нет, не сделает.

КИРИ. Нет, сделает.

ТУЗЕМЦЫ. Нет, не сделает.

КИРИ. Тохонга!

ТОХОНГА. Чего изволите?

КИРИ. Дай мне огненной воды! (*Пьет, кричит*). Сделает!

1-й ТУЗЕМЕЦ. Кири, если ты будешь кричать так страшно, у тебя может лопнуть жила на шее.

КИРИ. Нет, я больше не в силах разговаривать с вами. Тогда придется мне по тупить иначе. Вождь! Потрудитесь принять меры, чтобы жемчужный улов был доставлен сюда сейчас же. Я ухожу и раскинусь на циновках, чтобы мои истомленные члены отдохнули хоть немного.

ЛИККИ. Стало быть, ты передаешь это дело мне?

КИРИ. Да. (*Скрывается*).

ЛИККИ. Слушаю-сь. (*Начал засучивать рукава*).

1-й ТУЗЕМЕЦ. Что ты собираешься делать, храбрый начальник?

ЛИККИ. Я собираюсь дать тебе в зубы и для этого засучиваю рукава.

1-й ТУЗЕМЕЦ. Верить ли мне моим ушам? Дорогие, вы слышали? Он собирается мне дать в зубы! Мне, свободному туземцу!.. Он, начальник нашей гвардии... дает в зубы!..

2-й и 3-й ТУЗЕМЦЫ. Э-ге-ге! Хе-хе!

ЛИККИ (*дает в зубы 1-му туземцу. 2-й и 3-й садятся в ужасе на землю*). Будет жемчуг! Будет! Будет!

2-й и 3-й ТУЗЕМЦЫ. Караул!

ЛИККИ. Позвать сюда стражу.

ТОХОНГА. Эй!.. (*Вбегают арапы*).

ЛИККИ. Взять этих негодяев в подвал!

2-й и 3-й ТУЗЕМЦЫ. Как? Как... Нас?!

Страшный шум за сценой, показывается толпа туземцев; сзади — Кай-Кум и Фарра-Тете.

ТУЗЕМЦЫ. Пустите, пустите-ка нас!

ТОХОНГА. Стой, стой! Куда вы? Куда?

ЛИККИ. Что это значит? Назад! Как вы смеете лезть непрошенные в вигвам повелителя?

4-й ТУЗЕМЕЦ. Нет, Ликки, ты это брось! Кончились вигвамы! Мы принесли великую новость! Друзья, сюда!

2-й и 3-й ТУЗЕМЦЫ. Караул!..

1-й ТУЗЕМЕЦ. Друзья, вы знаете, что произошло?.. Он... он...

ЛИККИ. Опять с жемчугом? Я вам покажу, как не слушаться законного и вами самими избранного повелителя! Эй!

4-й ТУЗЕМЕЦ. Нет, тут дело не в жемчуге! Произошли более интересные события. Где Кири?

ТУЗЕМЦЫ. Кири! Кири!

ЛИККИ. Да что такое, черт возьми! Прекратить гвалт! Эй, Тохонга! Оттесни их!

4-й ТУЗЕМЕЦ. Ну, ничего, ничего!

ТУЗЕМЦЫ. Кири! Кири!

КИРИ (*выходит*). В чем дело?

ТУЗЕМЦЫ (*взволнованно*). Вот он! Вот он! Вот он! А-а!

КИРИ. Да, я вот он. Здравствуйте, дорогие друзья. Как вас много! Прелесть!

4-й ТУЗЕМЕЦ. Мы принесли тебе новость, Кири! Да!

КИРИ. Друзья мои, я уже выслушал сегодня одну новость. Кроме того, я хочу спать. Но все-таки, в чем дело?

4-й ТУЗЕМЕЦ. Сегодня, когда вторая партия ловцов бросилась в бухте в воду, чтобы таскать жемчуг... как ты полагаешь, Кири, что они вытащили, кроме жемчуга?

КИРИ. Очень интересно! Крабов, наверно, или паршивенькое ожерелье, которое потеряла какая-нибудь туземка, купаясь. Но, право же, эта новость не настолько значительна, чтобы из-за нее вламываться толпой в вигвам повелителя!

4-й ТУЗЕМЕЦ. Нет, Кири, мы вытащили не крабов! Мы вытащили двух изнемогающих людей... Смотри! Друзья мои, раздвиньтесь!

Туземцы раздвигаются, и выходят Кай и Фарра. Наступает полное молчание.

КИРИ (падая с трона). Черт возьми!

ЛИККИ. Мое сердце чувствовало это! Теперь будет игра. (Кири). Интересно, что ты будешь теперь делать?

КАЙ. Царствуешь, Кири? Ты узнаешь нас?

КИРИ (всматриваясь). Нет... гм... нет, не узнаю.

ФАРРА. Ах, подлец, подлец!

КИРИ. Как вы смеее так говорить с правителем? (Ликки, тихо). Готовь гвардию, сейчас будет скандал.

ЛИККИ. Я знаю, уже знаю. Тохонга! Тохонга!

КАЙ (преградив ему дорогу). Постой, постой! Назад, приятель!

ФАРРА. Как, не узнаешь?

КИРИ. Лицо знакомое... но не вспомню, где я видел вашу честную открытую физиономию и идеологические глаза... Уж не во сне ли?

ФАРРА. Прохвост! Ты видел нас в последний раз на этом самом месте в день суда над нами у Сизи-Бузи. (Ликки). И ты тоже, палач!

ЛИККИ. Да я ничуть не отказываюсь, я вас сразу узнал, смутьяны!

КИРИ. Ба! Да где же были мои глаза! Нет, право, мне нужно завести очки, я становлюсь близорук. О, какое счастье! Хвала бессмертным богам!

КАЙ. Сукин сын!

КИРИ. Я не понимаю тебя, миленький Кай-Кум! Что ты, господь с тобой! Зачем ты на меня набрасываешься? Неужели ты забыл, как мы с тобой томились в подземельи? Вот здесь, где сейчас стоят твои честные ноги.

КАЙ. А вы, ослепленные, темные люди! Кого же вы избрали себе в правители?

КИРИ. Да, кого? Вот в чем вопрос, как воскликнул великий Гамлет... Ликки, готовь стрелы!

ЛИККИ. Не тяни, лучше сразу начинать драку. Тохонга! Тохонга!.. Копье мое давай!

КАЙ. Кого?.. Прохвоста, которого мир еще не видал со дня основания его великими богами. Провокатора, подлеца и проходимца!

КИРИ. Вы мне объясните только одно: как вы выплыли?

ФАРРА. Три дня мы плыли в виду острова, изнемогая от жажды, и когда уже не было сил бороться со смертью, приплыли в бухту, где верные братья вытащили нас.

КАЙ. Братья, вот этот негодяй, изукрасивший себя вашими перьями, сам на этом месте прочитал нам смертный приговор. Он, понимаете, этот бесчестный мерзавец, обманул нас и вас тогда у майсовых кустов, прикинувшись другом народа и революционером. Он, он, царский жандарм сизин!

КИРИ. Ой, ой!.. Что это будет!

ТУЗЕМЦЫ. Предатель!

КАЙ. Смерть ему!

ФАРРА. Смерть ему и гнусному душителю Ликки-Тикки!

ЛИККИ. Ну, нет! Полегче, я, брат, так не дамся!

1-й и 4-й ТУЗЕМЦЫ. Смерть им!

КАЙ. Сдавайся, мерзавец!

ТУЗЕМЦЫ. Сдавайся!

ЛИККИ. Гвардия, вперед!

ДИРИЖЕР (дает знак — слышна труба).

Арапы с копьями выбегают на сцену. Суета.

КАЙ. Ах, так, братья-туземцы! К оружию! К оружию! Вооружитесь луками, копьями! У кого их нет, камнями! Все вперед! Убить эту мерзкую змею, пробравшуюся на трон.

ТУЗЕМЦЫ (разбегаются с криками). К оружию!

ФАРРА. За оружием!

ЛИККИ. Видал, друг народа? Тохонга, запереть ворота! Все к частоколу! Гвардия, стройся!

Арапы бросаются к частоколу.

КИРИ. Голубчик, Ликки, постарайся, отбей их, красавец, чтобы мы успели убежать к пирогам. К оружию, мои верные гвардейцы! К оружию! (Бросается в вихрь и выбегает со своим чемоданом).

ЛИККИ. Ах, чемодан, по твоему, оружие? Изволь идти вперед, к частоколу! Личным мужеством твоим ты должен показать пример гвардейцам!

КИРИ. Я лучше отсюда покажу им пример личного мужества, как они воют!.. из вигвама...

ЛИККИ. Жалкий трус! Ты причина...

ТУЗЕМЦЫ *(за сценой)*. Сюда, товарищи, сюда! Смерть предателю Кири-Куки, награда за его голову!

КИРИ. Ты слышишь, что они кричат?.. Ой, ужас, ужас, ужас!

ЛИККИ. Ну, валяйся здесь, презренная тварь! Тохонга, ворота заперты?

ТОХОНГА. Так точно, генерал.

ЛИККИ. Гвардия, по наступающим туземцам залпами!.. *(1-й туземец внезапно показывается над частоколом)*. Огонь.

Арапы пускают стрелы.

1-й ТУЗЕМЕЦ *(со стрелой в груди)*. Я умираю! *(Исчезает за частоколом)*. С громом вылетает стекло в вигваме.

КИРИ. Ой, что это?

ЛИККИ. Это — первый подарок тебе, друг народа! Камнем в окно. Арапы, не трусь! Огонь! С вами повелитель и военачальник. *(Кири)*. Негодай! Не смей обнаруживать своей трусости перед гвардией.

КИРИ. Милый Ликки, я ведь не специалист по военным делам. Теперь твоя очередь. А я пойду в вигвам и обдумаю план дальнейших действий. Тем более, что доктор мне строжайше запретил волноваться.

ТУЗЕМЦЫ *(за сценой)*. Ура!

На сцену влетает туча туземных стрел.

1-й АРАП. Ах, я умираю!

ЛИККИ. Ободри гвардию каким-нибудь вступительным словом.

Вылетает второе стекло в вигваме.

КИРИ. Гвардия! Спасайся, кто может! *(Открывает чемодан, прячется в него и в чемодане ползком уезжает)*.

ЛИККИ. Подлец!

Летят стрелы.

З а н а в е с.

Михаил Булгаков

О СХОДСТВЕ КРАЙНОСТЕЙ

Где ты не видишь разницы,
Там вижу я зарницы.
Ты ищешь повод крыситься,
А я б хотел искриться.

Ты сердишься: “Противно!
Убийство то! В острог!
Я радуюсь: “Напротив!
То буйство и восторг!”

Ты говоришь: “Мазня!”
Я возражаю: “Знамя!”
Не проходило дня
Без спора между нами.

Друг друга мы терзаем,
Друг другу мы обуза.
Ты негодуешь: “Заумь!”
Я протестую: “Муза!”

БУДЕМ ЦЕНИТЬ

Быков — по племени,
А злак — по семени.

Коров — по вымени,
Бояр — по имени.

Солдат — по знамени,
Любовь — по пламени.

А как же быть с поэтами
И с песнями пропетыми?

Ни знамени, ни семени,
Ни вымени, ни племени —

Есть только пламя-строчество,
Да имя-(один)отчество.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ РАДУГИ

Взошла роскошной аркой —
О! в семи-само-цвѣтах
И триумфально яркой,
Как память о поэтах.

А после быстро гасла
В небесных лабиринтах,
В глубины пряча краски,
Как память о поэтах:

О шумных и о дивных,
Запретных и открытых,
Наивных и заумных,
Маститых и отпетых.

АЛЬПИНИСТЫ

Прямо в пропасть вьется тропка,
Презирая рифму “робко”.

Залегли в ущелье тучи,
Рифмой брезгуя “летучи”.

И растрескался гранит,
Отвергающий “хранит”.

Прековарнейший пейзажик
Не сулит стихам поблажек —
Мелюзга зайдет на пик,
Что рифмуется с “тупик”.

Мы из гласных и согласных
Отберем лишь первоклассных
И отпустим на тропу
Острошипую стопу.

Мы осилим эту тропку,
Зарифмуем стихофобку!

НОРМА БРАКА

Нравится нам или не нравится,
Но у этой задачи
Есть классическое решение:
Из девицы, красавицы,
Душеньки, девушки, певшей в церковном хоре,
Получается вскоре
Прекрасная пиковая дама с собачкой,
Приятная во всех отношениях.

НА ВЫСТАВКЕ

Здесь подражатели увешали все стены —
Не то го-го, не то ге-ге, не го Гогены.

Одни красавицы расписаны цветисто
И под ма-ма, и под ти-ти, и под Матисса.

Другие смахивают радостно и вяло
То на ша-ша, то на га-га, то на Шагала.

И есть холсты совсем загадочного класса:
Полу-пи-пи, полу-ка-ка, полу-Пикассо.

Николай Моршен

МОИ РОДИТЕЛИ

ВСТУПЛЕНИЕ

В настоящей книге я решил описать характеры и взаимоотношения моих родителей и чтобы не быть голословным я привел много выдержек из писем и дневников отца и матери. Когда эти письма писались, они писались не для обнародования в печати, а друг для друга и потому представляют правдивое освещение их долгой совместной жизни. Я привожу также эпизоды из Московской и Ясно-Полянской жизни, которую я хорошо помню, они дают представление о характере моих родителей, так же как и отрывки из сочинений отца. В своих художественных произведениях отец часто брал случаи из собственной жизни, передавая свои мысли через главных героев своих романов.

Я поместил также краткую родословную Толстых и Волконских, от которых произошел мой отец. Толстые и Волконские были совершенно различны и своим мирозерцанием и характером и эти два характера унаследовал мой отец.

Прочитав много критических отзывов о Толстом и его жене я нахожу, что многие критики не вполне ясно и правильно понимали моих родителей и писали иногда пристрастно. Одни были на стороне отца, порицая мать, другие на стороне матери, порицая отца. Я полагаю, что ни те, ни другие не правы, что я и стараюсь доказать в этой рукописи.

Мне кажется, что нам, детям, более понятны и родственны

Мы приступаем к печатанию исключительно ценной рукописи «Мои родители» — написанной сыном Льва Толстого, Михаилом Львовичем Толстым. М. Л. написал ее в 1941 году в Африке, в Марокко (Рабат), где он жил тогда у своего сына. Работа М. Л. никогда напечатана не была. Мы получили ее от известной переводчицы Элизабет Рейнольдс Хаппгуд, которой М. Л. в свое время прислал свой манускрипт для перевода на английский. Печатаем мы эту рукопись с разрешения детей М. Л. Толстого — Александры Михайловны Сагацкой, Ивана Михайловича, Владимира Михайловича и Сергея Михайловича Толстых, за что и приносим им нашу благодарность. РЕД.

некоторые черты характера отца и матери, более понятны, чем многим людям, которые общались с ними, переписывались и даже живали подолгу у нас в доме. Поэтому, несмотря на многочисленные критические отзывы и воспоминания о моих родителях, мне и захотелось написать о них, какими я их помню с детства, юности и в те мои приезды в Ясную Поляну, когда я уже там не жил, а жил с семьей в своем имении в тридцати пяти верстах от Ясной.

Мне хочется дать представление о характере отца и о его постоянной борьбе с самим собой, — борьбе ума и сердца. Всю жизнь он искал истину и к старости найдя ее в Евангельском учении, все-таки до самой смерти хотел еще более и более постичь эту истину. Его ум постоянно работал над этим. Он часто говорил: «Как хорошо, что существует Евангелие... Почитаешь и делается хорошо на душе». И действительно это было его кредо, его религия: Бог — добро. От своих религиозных основ он никогда не отступал и с большой страстностью доказывал свои убеждения, радовался, когда слушатели понимали и сочувствовали ему, когда же некоторые, как это часто бывает, не понимая его, спорили большей частью не по существу, он сердился, волновался и возражал резко и неприятно, чему потом очень огорчался, и часто, если обижал своей резкостью собеседника, извинялся перед ним.

Я также описываю характер матери и ту громадную роль, которую она играла в его жизни.

Живя в настоящее время в Марокко и находясь далеко от центра я, к сожалению, не располагал большим количеством материалов, благодаря чему в эту работу могли вкрасться незначительные неточности, что же касается характеров и жизни моих родителей, то я старался описать их правдиво и беспристрастно, как я их чувствую и понимаю.

ГЛАВА 1

Нас было тринадцать человек детей. Двое из моих братьев и одна сестра умерли в раннем возрасте до моего рождения, а на моей памяти скончались еще два брата. Один моложе меня на два года — Алексей, другой на семь лет, Иван, младший в семье, он был любимец моих родителей и они очень тяжело перенесли это горе.

Родился я в 1879 году и был по счету десятый. Отцу был

51 год. В это время он переживал духовный перелом и начал сомневаться в правильности своей жизни и искать истину. Этот период был самый тяжелый в его жизни. Он мучился, сомневался и чуть не дошел до самоубийства. Конечно, окружающим его было также тяжело, особенно моей матери. Мы, младшие дети, уже не воспитывались отцом как старшие братья и сестры: — нами занималась мать.

По взглядам отца мы воспитывались дурно в роскоши и в бездельи: — и это он критиковал. Моя мать, не разделяя убеждений отца, должна была заниматься кроме воспитания детей, домом, в котором жило больше двадцати человек, управлением имуществом, от которого мой отец отстранился, и кроме того, несла огромный труд переписыванья и корректуры его сочинений. Конечно, это разногласие было очень тяжело обоим, но взаимная любовь моих родителей была очень велика так же как и любовь и сердечная забота о детях, что ясно выражается в их письмах до самых последних дней их жизни.

Привожу выдержки из некоторых писем. В сентябре 1882 года мой отец уехал из Ясной Поляны в Москву, где он был занят устройством дома для семьи, он пишет матери: «Мальчики (сыновья Илья и Лев), живут чудесно. Оба заняты очень, спокойно добродушны. Я застал обоих за книгами... Тебе верно не больше моего хочется соединиться. За дом я что-то робею перед тобою. Пожалуйста, не будь строга. Мальчики ужасно милы. Такой я счастливый. У вас был, у вас очень хорошо. Сюда к мальчикам приехал — очень хорошо».

Мать пишет: «Я уверена, что ты очень хлопочешь и устаеть и если тебе трудно, то мне тебя жаль. Строга я не буду ни к чему что не красиво, а только то меня может огорчить, что для детей опасно, как редкие балясины на лестнице, или слишком неудобно, а письмо твое такое хорошее, так радостно было прочесть, что ты счастлив. Как я этого страстно желала, чтобы ты счастлив был. Я этого у Бога просила и Он дал».

Из письма отца от 5-го сентября 1891 года: — «Что мальчики, Андрюша и Миша, главное Андрюша: помните, что гимназия не вся хорошая, что в гимназии можно жить и хорошо и дурно, можно сойтись с хорошими товарищами и дурными, хорошо себя поставить с учителями и дурно, стать на ногу доброго или ленивого учения, и что очень важно, как станешь сначала...» Из письма отца 13-го ноября 1895 года: — «Ужасно грустно мне было, милая голубушка Соня, получить вчера твое

письмо к Тане, в котором ты жалуешься на то, что мы тебе не пишем. Я пишу теперь третье письмо. И они писали. Меня только огорчает, что после твоего отъезда пропустил день. Надо было рассчитывать на промедление. Ты спрашиваешь: люблю ли я всё тебя? Мои чувства к тебе такие, что мне думается, что они никак не могут измениться, потому что в них есть все, что только может связать людей... Нет, не все. Недостает внешнего согласия в верованиях — я говорю внешнего, потому что думаю, что разногласие только внешнее и всегда уверен, что оно уничтожится. Связывает же и прошедшее, и дети, и сознание своих вин, и жалость и влечение непреодолимое. Одним словом завязано, зашнуровано плотно. И я рад».

ГЛАВА 2

Постараюсь припомнить некоторые эпизоды своего детства, юности и дальнейших лет, связанных с моим отцом и матерью...

Помню мне было лет шесть. Мы в это время жили зимой в Москве. Однажды мой отец куда то уходил из дома и увидав меня предложил идти с ним гулять. Я, конечно, с радостью согласился и побежал одеваться, не сказав матери, что уйду с отцом. Мы с ним вышли на улицу и долго куда-то шли, так что я начал уже устывать, но тут к моему счастью мы подошли к какому-то маленькому домику и вошли в калитку. Помню маленькую, очень жарко натопленную комнату, в которой сидел старик с большой бородой, бедно одетый. Мой отец сейчас же начал с ним какой-то разговор, в котором часто упоминались слова Бог, Евангелие... Больше говорил старик, отец же внимательно слушал.

Мне было очень жарко и душно, я вспотел, но не хотел говорить это моему отцу и терпел, боясь ему мешать, а он увлеченный разговором, повидимому, совершенно забыл о моем существовании. Наконец он меня заметил и увидав, что мне плохо, сейчас же простился со стариком, и мы приехали домой на извозчике. По дороге он очень беспокоился, что я заболел, и я его успокаивал, говорил, что мне хорошо, хотя голова уже болела, а он все ахал, укоряя себя в невнимательности. Моя мать, очень встревоженная, встретила отца упреками, что он увез меня, не предупредив, но потом все обошлось и за обедом отец с увлечением рассказывал свой разговор со стариком, друзьям обедавшим у нас.

Старик, как я потом узнал, был известный сектант, советовавший отцу читать как можно чаще Евангелие, где, по его мнению, истина. К вечеру у меня сделался сильный жар и всю ночь моя мать за мной ухаживала. Отец же, чувствуя в моей простуде свою вину, постоянно вставал ночью, спрашивал про мое здоровье и я никогда не забуду его виноватого озабоченного лица, когда он обращался с вопросами к моей матери.

Мой отец имел дар очаровывать людей, и многие приезжавшие поговорить с ним и его послушать, а таковых было великое множество, часто потом говорили, что ожидали найти в Толстом сурового сумрачного учителя, а находили отзывчивого, сердечного, очаровательного человека и сразу поддавали под его влияние, даже если не соглашались с его рассуждениями и не разделяли его взглядов.

У меня с детства сохранился в памяти случай с одним сумасшедшим, где сила влияния отца оставила во мне неизгладимое впечатление. Расскажу этот случай.

В то время мы жили в Ясной Поляне. Мне было восемь лет, а брату моему Андрею десять. Мы росли вместе. Однажды, наша милая гувернантка мисс Лейк, велела нам собраться итти гулять, и мы с радостью побежали за картузами. Ночью прошла сильная гроза, но утром выглянуло и засияло солнце, лужи стали подсыхать, птицы весело чирикали, от смоченной земли шли испарения, пахло цветами, гнилым листом и распускающимися почками липы. У всех было весело на душе. Мы побежали по липовой аллее на перегонки и добежав до густого малинника остановились отдышаться. Вдруг нам навстречу показался наш старый повар Николай Михайлович. Он озабоченно спрашивал не видели ли мы его сына Николая, который с утра скрылся из дома. Этот Николай был тихий и смирный сумасшедший, но на него иногда находили припадки буйного помешательства, тогда его связывали и держали связанным в запертом чулане до тех пор пока не проходило буйство, потом он приходил в обыкновенное свое тихое состояние и уже был неопасен. Мы его очень боялись. Если в начале припадка его не успевали связать, он убегал из дома и творил много бед, бил всех встречаемых, которые были на его дороге, разбивал стекла и даже вышибал двери, быстро запиравшиеся при его появлении. Он был очень силен и во время припадков его сила увеличивалась во много раз. Известие о побеге Николая страшно испугало и взволновало нас. Мы уже решили вернуться домой,

чтобы не натолкнуться на Николая, как вдруг прибежала запыхавшаяся дворовая девченка и задышающим голосом сообщила, что дяденьку Николая Николаевича поймали мужики и повели домой. Старый Николай Михайлович ахнул и торопливо побежал на деревню, мы же пошли дальше в большой старый березовый парк собрать для мамы цветы, которые она очень любила. Весело болтая с нашей гувернанткой, мы уже подходили с большими букетами к дому, как с ужасом увидели Николая бегущего через лужайку с безумными глазами, размахивая руками и кричащего какие-то бессвязные слова. Помню, что сперва мы в ужасе замерли на месте, а потом схватившись за руки с визгом бросились в дом и взбежав по лестнице заперлись у себя в детской. Через минуту мы услышали в передней шум, вопли сумасшедшего и крики людей, старавшихся его связать. Мы тряслись забившись за диван и боялись оттуда выглянуть, несмотря на увещанья матери, что бояться нечего, что Николая увели и завтра навсегда увезут в город в сумасшедший дом...

Впоследствии мы узнали от наших слуг, что не приди мой отец, Николай наделал бы много бед. Вбежав в переднюю он в порыве невероятного бешенства начал все ломать, два лакея и дворник не могли с ним справиться, но к счастью пришел отец и строго приказал ему перестать буйствовать и успокоиться. Николай немедленно повиновался, позволил себя связать и отвести на деревню. Такова была необыкновенная сила влияния и уважения людей к моему отцу, что даже в полном безумии человек чувствовал невозможность ему не повиноваться. Часто крестьяне не шли судиться к мировому судье, а просили моего отца рассудить их. Не было случая, чтобы его словесное решение не исполнялось. Они безгранично верили и подчинялись ему.

ГЛАВА 3

Продолжаю свои детские воспоминания. Как то раз мы с братом пришли вечером прощаться с отцом, чтобы идти спать. Он лежал на диване и что-то читал. Когда мы подошли к нему, он, отложив книгу, поцеловал нас. Брат нечаянно задел рукой у него подмышкой и так как мой отец очень боялся щекотки, то невольно вздрогнул и засмеялся, тогда ободренные его смехом мы начали его щекотать с двух сторон и надо было видеть, как он хохотал и от хохота не мог с нами справиться.

Спасла его наша мать, немедленно отправившая нас спать, но мы детским чутьем почувствовали, что ему было весело и забавно бесилие сильного большого человека против двух маленьких существ. На следующий день он рассказывал об этом своему другу Д-ву и вывел из этого какую-то свою теорию о добре и зле, которую я конечно не понял, но был горд, что был сильнее его. Я очень любил слушать, когда он что-нибудь рассказывал, а рассказывал он всегда очень увлекательно и интересно. Помню один его рассказ о Севастопольской кампании. Он возвращался верхом в Севастополь с четвертого бастиона, где стояла его батарея, чтобы отдохнуть от десятидневного непрерывного боя. Был он невероятно грязен и мечтал вымыться, переодеться и хорошо поесть. Ехал он по полю. Навстречу по дороге ехал великий князь со свитой и, увидав офицера в столь грязном и непрезентабельном виде, послал своего адъютанта сказать, чтобы этот офицер не смел показываться в городе таким грязным. Граф О. поскакал исполнить приказание, но его разделяла от моего отца широкая канава полная мутной воды, которую он не решался перепрыгнуть на лошади. Он начал звать моего отца, чтобы тот к нему подъехал. Отец же ему прокричал, что если у него к нему есть надобность, то пусть сам подъедет, а он в нем надобности не имеет и спешит в город. Бедному графу О. волей-неволей пришлось исполнять приказание великого князя и прыгать. Так как канава была очень широка он с лошадью попал в нее. Тогда отец, сжалившись, подъехал к нему и помогая вылезать спросил: «Зачем вы меня звали?» Граф О. передал ему приказание великого князя. Отец посмотрел на него, облепленного всего грязью, и со смехом сказал: «Как жалко, что у меня нет зеркала, чтобы вы на себя посмотрели. Я перед вами самый большой шеголь и фронт». Впоследствии они подружились и часто встречались в Севастополе. С этих пор семья гр. Олсуфьевых и наша сохранили по сие время самую тесную дружбу.

ГЛАВА 4

Отец очень любил физические упражнения. До конца жизни он каждый день ходил пешком или ездил верхом помногу верст. Часто он брал нас с собой, учил правильно сидеть на лошади и мало обращал внимания на нашу усталость. Он считал, что детей надо закалять и что это им только полезно. Когда он брал нас купаться, он сажал к себе на спину самых маленьких

и плыл с ними по реке, те же которые умели плавать старались его обогнать и если это удавалось, он хвалил и мы радовались. Когда мы, дети, делали гимнастику на турнике или на параллельных брусьях, он часто приходил на нас смотреть и несмотря на свои годы с большой ловкостью показывал новые упражнения и всегда радовался и ободрял когда мы преодолевали эти трудности. Если же что-нибудь не выходило, он заставлял нас повторять до тех пор пока не удавалось. Это был его характер. Он непременно должен был доделать то что начинал, увлекаясь каждым делом. Когда мы одно время жили зимой в деревне, он водил нас в баню. Это было громадное удовольствие. Особенное удовольствие было смотреть, как он выбегал голый из жарко натопленной бани на мороз и бросался в глубокий снег. Пар поднимался из снега, а он провалившись до земли выскакивал из растаявшего снега и дымясь от пара снова вбегал в баню, в самую жаркую ее часть. Нам особенно нравилось, как он с головой исчезал в снегу и как из того места шел сильный пар.

ГЛАВА 5

Он очень любил полевые работы и если на деревне была вдова или бедный мужик, он убирал их поля. Многие критиковали его за это и говорили, что жить в большом доме и пользоваться слугами, сытно и хорошо есть, а самому в то же время пахать, косить и сеять — это лицемерие, но по моему мнению это ошибочно. Во-первых, он любил эти работы еще до женитьбы, в молодости и, во-вторых, ему, как очень сильному человеку нужно было куда-то девать избыток сил и вместо бесполезного гуляния пешком или верхом приносить пользу своей работой и, в-третьих, он считал моральной обязанностью каждого человека заниматься физическим трудом. Он находил это необходимым по своим религиозным взглядам. Привожу выдержки из его писем к моей матери — 23 апреля 1888 года: — «Ты из моих слов, что я буду уставать на пахоте так же как и в путешествии выводил, что я хочу во что бы то ни стало мучить и убивать себя. Это совершенно несправедливо, потому что я всегда настаиваю на том, что человек должен делать все только для своего блага. Дело только в том, что уставать и даже очень сильно на воздухе весной, в путешествии или на пахоте — есть положительное благо во всех отношениях, а остальное, т. е. отсутствие усталости труда есть зло».

Из письма от октября 1885 года: — «Я нынче после обеда рубил лес, три осины Павлу на починку избы и приятно устал. Ем и сплю хорошо». Из письма того же времени: — «Я живу по-прежнему очень хорошо тем, что очень много физически и умственно работаю, ничем не развлекаюсь, умеренно и хорошо ем и сплю во время. Нынче я пошел рано утром в конюшню, кучер был на свадьбе, запрѣг Крысу в бочку и поехал за водой. Чудесное утро, с одной стороны, лошади рассыпаются по лугу, с другой — стадо идет мимо посадки, с третьей — бабы с песнями идут на работу. Вода чистая, лошадь милая, добрая, работа приятная — ну, словом, редко я испытывал такое удовольствие. Это единственное событие внешней жизни».

Любовь к работе в поле можно видеть также из его сочинений, например, в «Анне Карениной» он описывая себя и свои ощущения в Левине ярко и красочно описал как тот в артеле мужиков косил траву. Отец считал, что физическое движение всегда его успокаивало и однажды рассердившись на приказчика взял косу, стал косить и раздражение прошло. Отец говорил после целого дня работы: — «Я хочу обогатить медицину новым термином — *arbeitkur*». Приведу выдержки из «Анны Карениной». — «Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и посмеиваясь здоровались с баринном. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным безбородым лицом в овчинной куртке не обратился к нему: «Смотри, барин, взялся за гуж — не отставать». Сказал он и Левин услышал сдержанный смех между косцами. «Постараюсь не отстать», сказал он, становясь за Титом и выжидая время начать. «Смотри», сказал старик. Тит освободил место и Левин пошел за ним. Трава была низкая придорожная и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его слышались голоса: «Насажена неладно, рукоятка высока, вишь ему сгибаться как», — сказал один. — «Пяткой больше налягай», — сказал другой. — «Ничего, ладно, настрывается», — продолжал старик. — Вишь пошел. Широкий ряд берешь, умаешься... Хозяин, нельзя, для себя старается...» Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая, стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит все шел не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости,

но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил и решил просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит остановился и, нагнувшись, взял травы, оттер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и очевидно также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина и они пошли дальше. На втором приеме было тоже. Тит шел мах за махом не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать и ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, у него не остается более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину, но зато когда ряд был пройден и Тит вскинув на плечо косу, медленным шагом пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же прошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде — ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит».

Смело могу сказать, что любовь отца к физическому труду не была поза и что более правдивого нелицемерного искреннего человека я не встречал. Он никогда не стал бы лгать сам перед собой и другими.

ГЛАВА 6

Отец мой родился в Ясной Поляне в 1828 году. Их было пять человек детей — четыре сына: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев, мой отец и дочь Мария, вследствие родов которой скончалась моя бабушка, рожденная княжна Волконская. Отцу в это время было полтора года и он своей матери не помнил, но у него сохранилось самое светлое представление ее духовного облика и по рассказам знавших ее, и по ее письмам к мужу, которые остались после ее смерти. В ее характере было много хорошего, она была для своего времени очень культурная и образованная женщина. Она знала четыре иностранных языка, кроме русского, которым она, противно принятой тогда безграмотности, писала правильно. Она знала французский, итальянский, немецкий, английский языки, хорошо играла на фортепиано и ее сверстницы говорили моему отцу, что она была

мастерица рассказывать истории, выдумывая их во время рассказа. Она хоть и была вспыльчива, но очень сдержана... «Вся покраснеет, заплачет, но никогда не скажет грубого слова», — рассказывала моему отцу ее горничная. Кроме писем сохранился дневник поведения моего дяди Николая, старшего брата отца, которому было восемь лет, когда она скончалась и который более всего похож на мать.

Отец пишет в своих воспоминаниях: — «У них обоих очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата Николая — их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ».

Моя бабушка, мать отца, провела свое детство и юность в Москве, частью в Ясной Поляне со своим отцом князем Волконским, умным, даровитым и гордым человеком. Прадед мой, достигнув высоких чинов генерала аншефа при Екатерине II, внезапно потерял свое положение, отказавшись жениться на баронессе Э., с которой Потемкин был в связи. На предложение Потемкина он ответил: «С чего он взял, чтобы я женился на его...» За такой ответ он не только был остановлен по службе, но был сослан в Архангельск воеводой, где прожил до воцарения императора Павла, затем вышел в отставку, женился на княжне Трубецкой и поселился в Ясной Поляне. Его жена очень рано умерла, оставив моему прадеду единственную дочь Марию, мать моего отца. Отец пишет в автобиографии: «Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слышал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к его важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и в особенности огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали тем более, что высокое положение деда, внушая

уважение становым и исправникам и заседателю избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же и разбитый им парк перед домом. Вероятно он также любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее и слушал музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

ГЛАВА 7

Моя бабушка Марья Николаевна вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого, моего деда, уже после смерти своего отца.

Про свою мать в той же биографии, отец пишет: «Ей необходимо было любить не себя и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении. Она представлялась мне таким высоким чистым существом, что часто в средний период моей жизни во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне и эта молитва всегда помогала много. Любовь моей бабушки простиралась не только к родным и окружавшим ее, но и к крепостным людям. Она всегда старалась сделать хорошее и приятное. Отец рассказывал нам об одном случае с ее няней, впоследствии экономкой дома Парасковьей Исаевной. Это была преданная интересам дома и без лести любящая своих господ прелестная старушка. Моя бабушка ее очень любила и доверяла ей безгранично.

Однажды посоветовавшись с моим дедом она решила сделать Парасковье Исаевне удовольствие, разкрепостить ее, сделав формально бумагу у властей и когда бумага была готова, она вызвала Парасковью Исаевну в гостиную, торжественно объявила ей, что она уже не крепостная и отдала ей бумагу. Парасковья Исаевна вдруг расплакалась, бросила бумагу, и быстро ничего не сказав, ушла к себе.

Мой дед и бабушка ничего не поняв пошли ее искать и нашли ее у себя в девичьей рыдающую. Они долго не могли добиться от нее объяснения ее слез, но в конце концов, все еще плача, она сказала:

«За что вы хотите меня выгнать из дома? Разве я не служила вам 40 лет верой и правдой. Теперь же, когда я стала стара вы хотите меня выгнать... Не заслужила я этого». Бабушка старалась ее разубедить и объяснить, что она не хочет ее выгонять, что она никогда ее от себя не отпустит, что она ее все так же любит. А что бумагу эту она сделала, чтобы не считать ее крепостной, а вольной и что все останется по старому. Парасковья Исаевна объявила, что бумагу она не принимает, что никакой воли ей не нужно было раньше, а теперь и подавно. Тогда бабушка разорвала бумагу и сама, заливаясь слезами, обняла свою старую няню, просила у нее прощения за огорчение и все пошло по старому. Трудно себе представить, что это происходило более 120-ти лет тому назад.

Жизнь бабушки проходила очень уединенно за занятиями с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для моей прабабушки, чтении серьезных книг для себя, игре на фортепиано, в прогулках и в домашнем хозяйстве. Никто кроме соседей и родственников не посещал Ясную Поляну.

ГЛАВА 8

Характер деда Николая Ильича был совершенно другой чем характер бабушки. Он был блестящий молодой человек с хорошим имением и связями, служивший ранее в Кавалергардском полку, совершивший походы 1812-13-14 годов. В 14-ом же году, посланный курьером, попал в плен и был освобожден только русскими войсками при взятии Парижа. Мой дед был единственным сыном у родителей и они с большим горем отпускали его на войну. Его мать назначила ему человека из дворовых, которому она вполне доверяла, приказав ему никогда не упускать из вида сына и дала ему кожаный мешочек, наполненный золотыми монетами с тем, чтобы он отдал эти деньги деду только при самой насущной необходимости. Этот человек, когда мой дед был взят в плен, также передался и спрятал золотые в сапоги. Боясь, что деньги у него украдут, он целый месяц не снимал сапог, вследствие чего у него началась гангрена. Только тогда он рассказал деду, что у него находятся деньги, данные графиней и просил их взять т. к. боится умереть. Дед немедленно его отправил в больницу, но он умер через несколько дней.

Такова была преданность и исполнение долга старых слуг, которых я к своему счастью еще застал.

Вот что мой отец пишет в своих воспоминаниях про своего отца. «Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой сангвиник с приятным лицом и всегда грустными глазами. Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество. Он был не только не жесток, но скорее даже слаб. Так что за его время я никогда не слышал о телесных наказаниях. Вероятно эти наказания производились. В то время трудно себе представить управление без употребления этих наказаний, но они вероятно были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам детям никогда не приходилось слышать про это. Уже только после смерти отца, я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы дети возвращались с учителем с прогулки и подле гумна встретили управляющего Андрея Ильина и шедшего с ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера кривого Кузьму, человека женатого и не молодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина куда он идет и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей телесные наказания, никогда не допускавшей его для нас, а также для крепостных, там где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такие дела, а между прочим оказалось, что мы могли, но уже было поздно и ужасное дело было совершено».

Будучи стариком отец вспоминает в вышеприведенном рассказе свои детские ощущения и чувство протеста против насилия. Он вспоминает свое негодование и огорчение, что не остановил управляющего и наказание совершилось. Он находил, что люди не имеют права насиловать друг друга ни физически, ни морально: — это была основа его учения о непротравлении злу.

Брак моего деда с бабушкой был устроен их родными. В те далекие времена браки часто устраивались по расчету и редко по любви. У моего деда состояния почти не было: оно было сильно расстроено его отцом, Ильей Андреевичем. Ба-

бушка была сирота тоже с очень хорошим именем и большим состоянием, немного старше его и некрасивая.

Дед часто уезжал из дома по делам и на охоту, которую очень любил. Отец вспоминает какое восхищение он производил на них, детей, своим красивым видом, когда уезжал в сюртуке и узких панталонах в город, но самое большое впечатление, со слов отца, производил на него выезд моего деда на охоту. Стая гончих в 60-70 собак и свор¹ в 20 борзых, охотники в высоких бараньих шапках на хороших одномастных лошадях с кинжалами за поясом и арапниками через плечо.

Дед выходил из дома в коротком полушубке — красивый и свежий, к нему подводили прекрасную лошадь. Он легко садился на нее и все охотники, растянувшись в нитку, один за другим выезжали шагом с широкого двора за моим дедом, держа на сворах собак. Отец еще вспоминает в своей автобиографии как он с братьями и моим дедом ходили гулять с молодыми борзыми щенками и как они носились по высокой траве, загнув на бок правила² и как на телеге вывезли молодого соструненного³ волка, и как они дети вышли на лужайку, куда его привезли. Волк лежал смирно и только косился черным глазом на подходивших к нему людей. Его вынули из телеги, прижали вилами к земле, развязали ноги и когда подвели собаку, отняли вилы и волк был пущен на свободу.

Постояв немного и осмотревшись он бросился со всех ног к лесу. Собак пустили. Все бросились за ним. Собаки, верховые, пешие, все неслось с криками вниз по полю, но собаки его не захватили, волк ушел и дед возвращался домой сердито выговаривая охотникам, что не поставили возле леса подставных собак. После смерти деда, внезапно умершего на улице в Туле, вероятно от разрыва сердца, — мой отец, которому в то время было семь лет, и его братья были взяты на воспитание тетушкой Пелагеей Ильинишной Юшковой в город Казань, где они временно воспитывались.

ГЛАВА 9

Прадед мой Илья Андреевич Толстой был невероятно беспечный, мягкий, веселый и щедрый, но мало образованный че-

¹ Свора — три борзые.

² Хвост борзой.

³ Связанного.

людей. Обладая большим собственным состоянием и громадным состоянием жены, рожденной княжны Горчаковой, которую мой отец хорошо помнил и которая умерла позднее его родителей, мой прадед прожил все состояние благодаря сумасбродным затеям. Держал охоту до тысячи собак, давал деньги взаймы всякому просящему и без разбора и без отдачи, посылал мыть белье в Голландию, считая, что русские прачки плохо стирают.

В его имении «Полянах» шло непрерывное пиршество: театры, балы, обеды, катанья, а главное, что окончательно его разорило — он стал пускаться в аферы, в которых ничего не понимал и при его доверчивости, его постоянно обманывали, — промотал всё.

Про отца Ильи Андреевича, Андрея Ивановича Толстого, отец рассказывал, что он женился очень молодым, около 16-ти лет, а жене его, рожденной княжне Щетиной, было лет 14.

Однажды они должны были ехать на придворный бал. Он был нездоров и жене его пришлось ехать одной. В то время, кажется в царствование Елизаветы или в начале царствования Екатерины, носили очень высокие прически и чтобы не испортить прически сиденье из кареты вынималось и вместо него клалась на пол подушка. По дороге она вспомнила, что не простилась с мужем и велела кучеру повернуть обратно. Приехав домой она застала мужа в слезах: он плакал, что она с ним не простилась. Утешив и успокоив мужа, она снова отправилась на бал.

ГЛАВА 10

Жена моего прадеда Ильи Андреевича Толстого была дочь, скопившего себе большое состояние, князя Горчакова. Она — как все женщины ее круга в то время знала по-французски лучше чем по-русски и была очень избалована, сначала отцом, потом мужем, а затем сыном, моим дедом. Кроме того как дочь старшего в роде она пользовалась большим уважением всех Горчаковых.

Вот что про нее пишет отец в своих воспоминаниях: «Отца бабушка страстно любила и нас внуков, забавляясь нами. Любила тетюшек, но мне кажется не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, с прислугой она не могла быть требовательной, потому что все знали, что она первое лицо в доме и старались ей угодить,

но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучала ее, называя: «Вы моя милая», и требуя от нее того чего она не спрашивала и всячески мучая ее, и странное дело, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и со своей девочкой и со своей кошкой и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна как бабушка с ней. Самые ранние воспоминания мои о бабушке до нашей поездки в Москву и жизни там сводятся к трем сильным связанным с ней впечатлениям. Первое — это как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она могла делать. Нас нарочно приводили к ней, вероятно наше восхищение и удивление перед ее мыльными пузырями забавляло ее, чтобы видеть ее как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри и ее довольное улыбающееся белое лицо.

Второе воспоминание — это было то как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с гувернером Федором Ивановичем в Мелкий Заказ (лес), для сбора орехов, которых в этом лесу было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника в глубь которого раздвигая и ломая ветки Петруша и Натюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпавшихся орехов и как бабушка сама рвала их и клала в мешок и как мы, где сами гнули ветки, где Фед. Ив. и удивлял нас своей силой нагибая нам толстые орешники, а мы обирали со всех сторон, и все-таки видели, что еще оставались незамеченные нами орехи, когда Фед. Ив. пускал их, и кусты медленно цепляясь, расправлялись.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание — это проведенная ночь в спальне бабушки и Лев Степанович. Лев Степанович был слепой сказочник. Он был уже стариком, когда я знал его, — остаток старинного барства, — барства деда. Он был куплен для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их два раза прочитывали ему. Он жил где-то в доме и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил в спальню бабушки, спальня эта была в низенькой комнатке, в которую надо было

входить по двум ступенькам, и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович со своими белыми глазами, в синем сюртуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал.

Не помню как раздевалась бабушка, в этой ли комнате или другой и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала эти удивительные мыльные пузыри, вся белая, на белом, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках и с подоконника слышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» — «Да, продолжайте». — «Любимая сестрица, сказала она, — заговорил Лев. Ст. тихим, ровным старческим голосом, — расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать... Охотно, отвечала Шехерезада, — рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие. Получив согласие Шехерезада начала так... У одного владетельного царя был единственный сын... И очевидно слово в слово по книге начал Лев Степанович историю Камаральзамана». — Моя прабабушка описана очень ярко моим отцом в «Детстве и Отрочестве» — «бабушка» и в «Войне и Мире» — мать Николая Ростова.

ГЛАВА 11

Сестра моего деда Толстого была замужем за остзейским богатым помещиком графом Остен-Сакен. Этот брак кончился печально для моей гранд-тант. Вскоре после свадьбы моя тетушка, которую звали в семье Алин и которая была очень привлекательна, уехала с мужем в его большое остзейское имение. Здесь у графа стала все сильнее и сильнее проявляться его душевная болезнь, сначала выражавшаяся лишь безграничной ревностью. На первом году после свадьбы, когда тетушка Алин уже ожидала ребенка, его болезнь стала усугубляться и на него стали находить минуты совершенного сумасшествия. В это время ему казалось, что враги хотят отнять и увезти его жену и единственное спасение это бежать. Это было летом.

Рано утром, разбудив жену, он сказал, что лошади поданы и что надо как можно скорее уезжать, иначе враги их схватят и они уже близко. Посадив тетушку в карету, он приказал ехать как можно скорее и во время пути постоянно оглядывался, ожидая погоню. На беду вдруг он увидел на проселочной дороге показавшийся экипаж, тогда он достал два пистолета, из которых один отдал тетушке, и сказал, что они погибли и им остается только одно, застрелить друг друга и, приказав тетушке стрелять в себя, выстрелил.

Затем увидав, что напугавший его экипаж свернул в сторону он испугался того что сделал, велел остановить лошадей, вынес жену из кареты положив ее на дороге и усакал.

На счастье тетушки крестьяне нашли ее всю в крови на дороге и отнесли к пастору, который как умел перевязал рану и вызвал доктора. Рана была не тяжелая с правой стороны груди. Когда она уже выздоравливала лежа у пастора, муж ее опомнившись приехал к ней, рассказал пастору, как нечаянно ранил ее и просил свиданья. Свиданье это было ужасно. Он хитрый, как все сумасшедшие, притворился раскаявшимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней и совершенно разумно обо всем говоря он попросил ее показать язык, как бы заботясь о ее здоровье и когда она высунула его, он одной рукой схватил за язык, другой же бритвой хотел его отрезать. Произошла борьба, вбежали люди, остановили и увели его. С тех пор сумасшествие его не покидало и он был посажен в дом для умалишенных.

Вскоре тетушку перевезли в Петербург к ее родителям и там она родила мертвого ребенка. Боясь огорчить тетушку ей не сказали, что ее ребенок умер и взяли у жены придворного повара родившуюся девочку, которая жила в доме моего деда и только взрослой случайно узнала, что она не дочь тетушки Алин. Остаток своей жизни тетушка жила у моего деда и бабушки, а после их смерти — с моим отцом и была его опекуней.

Вот что пишет о ней отец в своих воспоминаниях: — «Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтение житий святых, беседы со странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в

молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестной матерью сестры Марья Герасимовна была, потому что мать обещала ее взять кумой, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в Тульском женском монастыре, частью у нас в доме. Тетушка Александра Ильинишна не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в то время старец Леонид в Оптиной пустыне, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь сколько можно служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было. Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне как она во время московской жизни шедши к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то что по принятому обычаю делалось горничной. В пище, одежде, она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить.

Помню еще как за обедом отец рассказывал, как она буд-то вместе с своей кузиной Молчановой ловили в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских врат, он бросился в северные, Молчанова дала угонку, пронеслась и тут то Алин захватила его. Помню ее милый добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается».

ГЛАВА 12

После моей бабушки и деда самое важное лицо в молодости дела была его другая тетушка Татьяна Андреевна Ергольская, которая в сущности была ему дальняя родственница по кн. Горчаковым. Она провела детство в доме моего прадеда Толстого и воспитывалась наравне с его детьми, а затем жила в доме деда Николая Ильича в Ясной Поляне и воспитывала его детей, имея на них самое благотворное влияние.

Их было две сестры, оставшиеся без отца и матери в дет-

ском возрасте, и моя прабабка и ее соседка по имению, богатая помещица Скуратова скатали два билетики, на которых были написаны имена девочек, положили билетики под образа, помолились и потянули жребий. Моей прабабушке досталась Татьяна, а Скуратовой Елизавета, которая впоследствии вышла замуж за троюродного брата моего деда графа П. И. Толстого.

Татьяна Александровна всю жизнь провела в доме моих предков и никогда не вышла замуж. По рассказам отца, это была замечательная женщина по духовному развитию и нравственным качествам. Она любила моего отца, его братьев и сестру больше чем могла бы любить мать, и вся жизнь ее была посвящена служению им. Они также любили ее за ее твердый, решительный и самоотверженный характер. Мне говорил отец, что она ему показывала на руке след обжога, сделанного раскаленной линейкой. Они детьми прошли историю Муция Сцеволы и начали спорить, что никто из них не сделает того, что сделал он. Татьяна Александровна решительно сказала, что она делает и накалив железную линейку на огне приложила ее к голой руке. Нахмурившись она не проронила ни одного звука: когда же линейку оторвали с мясом от руки только тогда она застонала.

Она была очень привлекательна в молодости и повидимому любила моего деда и он любил ее, но она не пошла за него замуж, чтобы не расстроить свадьбы моего деда на богатой. После ее смерти у нее в бумагах нашли записку, написанную ею спустя шесть лет после смерти бабушки:

“16 Août 1836. Nicolas m’a fait aujourd’hui une étrange proposition — celle de l’épouser, de servir de mère à ses enfants et de ne jamais les quitter. J’ai refusé la première proposition, j’ai promis de remplir l’autre tant que je vivrai”.

Должно быть она отказала моему деду, чтобы не портить чистых поэтических отношений с ним и его детьми.

Вот что отец пишет в воспоминаниях: «Она была воспитана барышней богатого дома, говорила и писала по-французски лучше чем по-русски, прекрасно играла на фортепиано, но лет 30 не дотрагивалась до него. Она стала играть только тогда, когда я взрослым учился играть и иногда играя с нею в четыре руки удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней и не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные — крепостные и обращалась с ними,

как барыня. Но, несмотря на то, ее отличали от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиды. Главная ее черта была любовь. По своей любви к нам она имела наибольшее право на нас, но родные тетушки, особенно Пелагея Ильинишна, когда нас увезли в Казань имели внешние права и она покорялась им, но любовь от этого не ослабевала. Она жила у сестры графини Е. А. Толстой, но жила душой с нами и как только можно было возвращалась к нам.

То что она последние годы жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне было для меня большим счастьем. Она имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить и понял счастье любви. Это — первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой одинокой жизни».

Моя мать хорошо ее знала и часто говорила какая громадная потеря была и для нее смерть Татьяны Александровны и что она никогда не встречала столь отзывчивую, самоотверженную и сердечную женщину.

ГЛАВА 13

Братьев у моего отца, как я сказал выше, было три и одна сестра. Двух своих дядей я не знал, так как они умерли до моего рождения, дядю же Сергея и тетушку Машу, я хорошо помню, так как уже был женат, когда они скончались. Старший мой дядя Николай был очень похож на свою мать и отец его любил больше всех остальных. Он был старше отца на семь лет.

Отец пишет про него: «Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного для этого недостатка, у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества писателя, которые у него были — были прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный веселый юмор, необыкновенное неистощимое воображение и правдивое высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего

самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки, или истории с привидениями, или юмористические истории в духе мадам Рэдклиф, без остановки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка».

У дяди моего Николая, еще в детстве проявились зачатки мысли, чтобы сделать счастливыми всех людей. Он говорил своим братьям, что знает тайну, которая записана на зеленой палочке и эта палочка закопана им в лесу около оврага в известном только ему месте, и когда эта палочка откроется, никто не будет страдать или болеть, не будет больше никаких неприятностей в жизни, все будут любить друг друга и все сделаются моравскими братьями, о которых он повидимому где-то прочел. То, что он написал на зеленой палочке он никогда не сказал братьям, и эта тайна ушла с ним в могилу. Я помню мы в детстве были очень заинтересованы зеленой палочкой, ходили в лес к оврагу, стараясь найти, чтобы вырыть ее и узнать, как устроить счастье людей, чтобы они не сердились, не ссорились и было бы всеобщее счастье.

Отец пишет в своей автобиографии: — «Идеал муравейных братьев, как мы в детстве называли моравских братьев, льнувших любовно друг к другу под всем небесным сводом, всех людей мира остался для меня тот же, и как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано все, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что она будет открыта людям и даст им то, что она обещает».

У моей матери, так же как у брата Николая, была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей, это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым провел половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким добродушным юмором и такой же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно место, которое меня всегда трогало очень, это коротенькое житие одного монаха, имевшего заведомо всей братии много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил, чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую на-

граду. Ему ответили: 'Он никогда не осуждал никого'. Помню раз как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с братом Николаем, при мне подсмеивался над ним, но как брат глядя на меня добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие».

Дядя Николай служил офицером на Кавказе. В это время, в конце сороковых годов, мой отец, выйдя из университета, вел очень рассеянный образ жизни, много кутил, ездил к цыганам, пил и играл в карты и кажется проиграл большую сумму денег. Дядя Николай предложил ему приехать на Кавказ и поступить на военную службу.

Мой отец сразу внял его советам, в несколько дней собрался и уехал к брату. Благодаря своему пребыванию на Кавказе им написаны прелестные произведения из кавказской жизни: «Казачи», «Кавказский пленник», «Хаджи Мурат» и другие.

ГЛАВА 14

Дядю Дмитрия я тоже не знал, но по рассказам знаю, что он был очень оригинальный, прямой, вспыльчивый и всегда задумчивый человек. Он хорошо учился, писал стихи и прекрасно переводил Шиллера, мало принимал участия в играх и в весельи братьев.

На него находили иногда совершенно безумные вспышки гнева, и он мог оскорбить, даже ударить человека, который посмел бы неуважительно или насмешливо отозваться о том, что он считал хорошим. Одевался он очень неряшливо, никогда не ездил в свет, не танцевал и водил знакомство с какими-то неизвестными людьми из низкого общества. С первого же года студенчества, он предался религиозной жизни, выстаивал все церковные службы, постился строгим постом и был очень строг к самому себе. Он не ходил в университетскую церковь, а в острожную, где служил очень набожный и строгий священник и служил полностью как полагалось, не сокращая, почему службы были очень долгие.

В доме, где они жили, жила — жалкое забитое существо — девушка, у которой была какая-то болезнь, ее лицо было распухшее, как бы покусанное пчелами, глаз почти не было видно и говорила она с трудом. Летом на ее лицо садились мухи и она их не чувствовала, это было ужасное отвратительное зрелище. Вот с этой девушкой дядя Дмитрий подружился. Он

стал ходить к ней, читать ей вслух и несмотря на насмешки окружающих и братьев, продолжал это делать, т. к. считал, что делать это нужно. После окончания университета он уехал в Петербург, решив что он должен приносить пользу отечеству и служить. Он выбрал своей специальностью законодательство. Приехав в приемный день к начальнику 2-го отделения он объявил, что он граф Толстой, кончил университет и желает быть полезен отечеству и обществу. Начальник спросил, какое он желает получить место, на что дядя сказал, что ему все равно лишь бы приносить пользу. Тогда его направили к какому-то чиновнику, который заставил его переписывать бумаги.

Дяде это не понравилось и он сказал, что он кончил университет не для того, чтобы делать дело, которое любой писарь может сделать лучше него, а чтобы приносить пользу своими знаниями. Он не остался в Петербурге и тотчас уехал в свое поместье, бросив ненужную по его мнению службу, и решив что в деревне он принесет больше пользы, управляя своими крестьянами и заботясь о них.

Через некоторое время у него сделался вдруг перелом и вся его предыдущая жизнь переменялась. Он стал пить, курить, мотать деньги, ездить к женщинам, чего не делал до 26-ти лет. Эта беспутная жизнь продолжалась недолго. Он вскоре умер от чахотки на руках женщины, которую он выкупил из публичного дома. Повидимому его страшно мучили угрызения совести, которые вместе с чахоткой сгубили его. В «Анне Карениной» мой отец описал его в брате Левина — Николае.

ГЛАВА 15

Дядю Сергея я помню очень хорошо. Он был старше моего отца на пять лет, и всегда возбуждал в нем восхищение своей красивой наружностью, веселостью, умением нравиться и непосредственностью. Отец пишет в своих воспоминаниях: «С Мишенькой я был товарищем, Николеньку я уважал, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятым. Это была жизнь человеческая очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На-днях он умер и в предсмертной болезни и умирая он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в

давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог и оставался таким, каким был: совсем особенным, самым собою, красивым, породистым, гордым и главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать, с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание».

После блестящего окончания университета, дядя поступил в гвардейские стрелки Императорской фамилии и, прослужив там недолго, уехал в свое имение Пирогово, в 25-ти верстах от Ясной Поляны и в семи верстах от моего имения, где я жил. Я помню его уже 60-ти летним стариком, и мы дети всегда любовались его спокойным величавым, аристократическим видом и немного боялись его. Он часто говорил очень смешные вещи и мы дети с нетерпением ждали, когда он, разговаривая с кемнибудь даже о серьезном предмете вдруг сострит, и сострит совершенно неожиданно для своего собеседника и к нашему большому удовольствию. Он очень долго служил в нашем уезде предводителем дворянства, и дворяне уезда, как и губернии, очень уважали и боялись его. Он был резок и своих суждениях, был консервативного направления и высказывал в собраниях свое мнение резко и решительно.

В одном губернском земском собрании был поднят вопрос об увеличении количества школ в губернии. Дядя попросил слова и высказал мнение: если школы будут открываться по старому образцу, т. е. где ребят учат исключительно грамоте, то такие школы вредны и открывать их незачем. При одной только грамоте народ читает революционные брошюры и порнографические дешевые книги и результат его грамотности — неприличные надписи на заборах. Народу нужна не одна грамота, а главное воспитание и обучение ремеслам. Он не был согласен с моим отцом в его философских взглядах и не мог согласиться с теорией опрощения, уничтожения государственного строя и непротивления злу. Он говорил: «Попробуй распустить полицию, тебя же первого мужицкого покровителя зарежут и ограбят».

Он был человек старых взглядов и до самой смерти их

М. Л. ТОЛСТОЙ

не менял. Отец как то дал дяде прочесть одну свою философскую статью и спросил его мнение. Дядя сказал: «Я невольно сопоставил эту статью с тряской ездой в телеге без рессор по неровной дороге, где седока бросает из стороны в сторону, отбивает ему бока и остальные части тела. Он не может найти себе удобного места и вдруг, к его счастью, он пересаживается во встречную удобную с мягкими рессорами коляску и чувствует отдохновение. Так вот твоя статья — это тряская езда в телеге, а страничка из Герцена, которую ты там приводишь, это покойная коляска».

Мой отец на этот сарказм добродушно смеялся. Дядя очень любил и увлекался музыкой, но только музыкой примитивной. Он любил народные русские и цыганские песни, классическую музыку он не любил и не понимал ее. Он рассказывал про персидского шаха. Когда шаха спросили, что ему больше всего понравилось в опере, которую он слушал в Большом Московском театре, то шах ответил, что ему понравилось больше всего, когда настраивали оркестр. Мой дядя говорил, что настраивание оркестра и классическая музыка это одно и то же и одинаково режет уши, что эта музыка выдуманная, а не непосредственная, которая неизвестно кем создана, а если и создана, то всем народом. Он говорил еще, что когда ему приходится случайно слушать так называемую серьезную музыку, ему кажется, что его секут, когда же музыка наконец прекращается, у него чувство, что порка кончилась и он испытывает блаженные минуты. Когда ему было почти сорок лет, он едва не женился на сестре моей матери, Татьяне Андреевне (впоследствии замужем за Кузминским), которая была на двадцать лет его моложе, но было обстоятельство, заставившее его этого не делать. В молодости он сошелся с цыганкой, с которой прижил в небрачном сожительстве детей и дети уже были почти взрослые. Он очень мучился вопросом как поступить. С одной стороны, большая взаимная любовь, с другой — гражданская жена с детьми.

После мучительных колебаний его совесть, порядочность и честь побудили его отказать моей тетке, и он на другой день после отказа повенчался с Марией Ивановной Шишкиной, цыганкой, и подал прошение царю о признании его внебрачных детей законными, что царем и было сделано.

Решительность в его характере была одна из его главных черт. Помню отец по своим убеждениям решил бросить курить, ему это было очень трудно, он начал уменьшать ежедневно

количество папирос. Помню как он с радостью и гордостью объявил, что сегодня за весь день он выкурил только три папиросы. Через некоторое время приезжает дядя Сергей. После обеда они прошли в гостинную и стали о чем-то разговаривать. Дядя вынул портсигар и достал папиросу. Он курил очень много и, как помню, очень толстые папиросы. Отец с завистью на него посмотрел и сказал: «Знаешь, я бросаю курить и уменьшаю по одной папиросе в день, но это мне не всегда удается. Сегодня уже дошел до трех папирос в сутки. Ты не можешь себе представить как это трудно, особенно, когда при тебе курят. Дай мне папиросу», попросил отец. Дядя с удивлением спросил: «Ты решил не курить, почему же ты не бросаешь сразу. Раз что-нибудь наметил поступай решительно». И тут же выбросил в окно портсигар с папиросами и с тех пор никогда больше не курил. На отца это произвело очень сильное впечатление и с тех пор он также бросил курить. Дядя был хороший хозяин и был невероятно строг к крестьянам и те панически его боялись, но к телесным наказаниям он никогда не прибегал, даже в крепостное право. Один только его вид внушал какой-то необъяснимый страх и уважение. После его смерти крестьяне говорили: хороший был хозяин, хоть и строгий барин, зато порядок был, народ не распускался.

Он, по словам отца, был более всех братьев похож на своего деда Волконского по складу ума и по характеру. Под конец своей жизни, он почти не выходил из своей комнаты и много читал, особенно английские книги. Ему нравился английский уклад жизни и их философия. Книги, которые ему особенно нравились, он пересылал отцу и отец много интересного для себя почерпнул в этих книгах. Со своими детьми он всегда говорил по-французски и больше всех детей любил старшую дочь Веру, но никогда не показывал свою любовь. Он был невероятно скрытен в своих душевных проявлениях и как будто стыдился их. Мне кажется это доставляло ему страдание, но он не мог себя пересилить и никогда даже тем, кого очень любил не говорил ласковых слов. Его дети к этому привыкли и, зная его, хорошо понимали и чувствовали его любовь к ним и не тяготились этим. Умер он у себя в имении от рака на лице в 1904 году.

Мой отец присутствовал при его смерти и когда он потребовал перед смертью священника отец сам вызвался его позвать к большой радости моей тетки Марии Николаевны —

монахини, о которой я пишу ниже. Эта смерть была большой потерей для отца. К концу жизни дядя стал более признавать философские взгляды отца, но вполне никогда не мог с ним согласиться и умер таким же, каким был всю свою жизнь — непосредственным, гордым и своеобразным человеком.

(Продолжение следует)

М. Л. Толстой



Из темноты и в темноту
Как по висячему мосту,
Бреду по жизни осторожно, —
И мост мой солнцем освещен,
Но хрупок он, но зыбок он,
И так легко сорваться можно.

И слева черных туч полёт,
А справа радуга цветет...
Держусь за шаткие перила.
Иду — и откровенья жду,
Не знаю ведь, куда иду,
Откуда вышла — позабыла.

Идущих вижу впереди,
Идущих слышу позади, —
Несчетна наша вереница, —
Но всех ведет единый путь,
И ни вернуться, ни свернуть
И ни на миг остановиться.



Свободна? О да, не спору —
Да только что же?
И щепка в открытом море
Свободна тоже.

И щепкой кружусь одна я
В пустыне водной,
Плыву, — для чего, не зная, —
Совсем свободно.



Говоришь, что на нашем пути
Нам дороги домой не найти?

Говоришь, что мы нищи с тобой —
Нищи радостью, нищи судьбой?

Да, уже нам домой не успеть —
Нам чужие задворки приют, —
Но привыкший бродить и терпеть
Может нищий с отчаянья петь, —
А рабу даже петь не дают.



Теперь могу уйти во тьму,
Не причиняя зла:
Я всех пережила, кому
Я дорога была.

Кто взмолится: “Не умирай”,
Кто запретит уйти ?
Все тихо: в заповедный край
Открыты все пути.



(В Роудоне)

Держит еще упрямо
Жизни ушедшей тлен
Над прогорелой ямой
Прямоугольник стен.

И меж следов коровьих,
Сорных, пахучих трав
Зреет еще крыжовник,
Тускло-румяным став.

Тлена не замечая,
Щурясь на самолет,
Мальчик-пастух, сучая,
Ягоды в полдень рвет.

Лидия Алексеева

Три первых стихотворения написаны в 1920 году по заказу Н. Гумилева. В них, по заданию, должны были фигурировать: в 1-м — «апокалипсический зверь», во 2-м — «новогодняя ночь», в 3-м — «златая цепь» и «кот ученый». И. О.

Прощением, виною безвозмездной
Не соблазняй меня. Не говори
О славе, о любви. Нет, я не верю
В золотовейную мечту — весну,
Бесстрашно наклонясь над черной бездной —
Вот так, в сияньи ледяной зари
Я апокалипсическому зверю,
Как другу, руку смело протяну
И камнем вместе с ним пойду ко дну
Того, что не было
И никогда не будет.

2

Луна. Новогодняя ночь.
Ворона сидит на окне.
Ворона, прошу убирайтесь прочь
И не возвращайтесь ко мне!
Ворона сказала зловещее “кра”
И стукнув клювом в окно,
В сиянии лунном растаяла, но
Теперь не уснуть до утра.
А время идет.

И вот настает
Тысяча девятьсот
Двадцатый год.
— Не жди от него добра!

3

Скажите, вам приятно жить?
Ответ решителен и точен:
О, да! Приятно, даже очень,
Мне с жизнью весело дружить.

“Златая цепь и дуб зеленый”,
За годом год, как “кот ученый”,
Все ходит по цепи кругом —
О чем печалиться? Грустить о ком?
Вот в этом мире, не в другом.



Памяти Н. Гумилева.

Я требую лишь то, что мне
Действительно принадлежит по праву:
То перистое облачко в окне,
Песчинку ту на океанском дне,
Свиданья с вами в полуночном сне
И — после смерти — славу,
Живых сладчайшую отраву —
Ту, что когда-то предсказали вы
Мне, снежным днем, на берегах Невы.

1968

Ирина Одоевцева

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Бывают статьи, которые читаешь с натугой. Пытаешься читать и невольно откладываешь в сторону. Берешь снова, пробуешь что-нибудь извлечь, получить и опять не удастся. Статья сама мешает себя читать. Не от того, что она предлагает уму и сердцу новую пищу, которая тебе не по зубам. Наоборот, чувство такое, будто жуешь пережеванное. Автор не произвел никакого труда мысли; он лишь механически повторил привычные сцепления слов, а иногда и фраз, а иногда и целых абзацов. Ему было легко писать — вот почему читать затруднительно.

Статью под названием «Идейная борьба. Ответственность писателя.», помещенную в ЛГ 26 июня с. г., я несколько раз брала в руки и снова откладывала, не преодолев затруднений. Речь идет о борьбе идей, а идей то и не ухватишь, не борьба, а скольжение по накатанной дорожке; не идеи, а вереницы слов. Если преданность, то беззаветная, если верность, то безграничная, если волна клеветы, то мутная, если отпор, то достойный. Воображения не хватает, чтобы за этим набором готовых штампов увидеть преданность, верность или обжечься ядом клеветы. Если встречи, то регулярные, если клеветническая кампания, то разнузданная, если отстаивание, то последовательное, а если речь зашла о литераторах, требующих пересмотра дела Гинзбурга, то они, эти литераторы, уж конечно отдельные. Не работа мысли, а механическая перестановка значков.

И я сдалась бы на свое нежелание дочитывать статью до

Эта статья Л. К. Чуковской получена нами с оказией из СССР. Там она, естественно, нигде напечатана не была и ходит только в списках. Мы получили ее и печатаем без ведома и согласия автора, в чем приносим автору наши извинения. РЕД.

конца... Но дочитала: в середине речь зашла о Солженицыне. Все эти пустые слова вели, оказывается, к обсуждению его работы и жизни.

Автор взялся изложить биографию А. Солженицына. Но изложил ее без надлежащей точности.

Помянул письмо Съезду, «Раковый корпус», «В круге первом» — осудил их, не представив для того оснований.

Имя Солженицына — слишком дорогое имя в нашей литературе, чтобы позволительно было оставлять без опровержения малейшую неправду о нем. Тем более, что в данном случае читатель вполне беззащитен, книг Солженицына и сведений о его жизни взять ему неоткуда.

Я попытаюсь хоть отчасти восполнить этот пробел и сделать для читателя ясной истинную подоплеку борьбы, завязавшейся вокруг Солженицына.

«Последние годы Великой Отечественной войны — сообщает газета — Солженицын провел на фронтах в качестве командира зенитной батареи, имеет награды».

Солженицын был призван в армию в 1941 г. Через год, по окончании специального училища, назначен командиром артиллерийской батареи. Артиллерийская батарея как известно, не зенитная, а 1942 — не один из последних, а, напротив, один из первых годов войны. Разумеется, ошибки эти ничтожны, но в статье об ответственности писателя не следовало бы допускать и таких. Журналистика тоже дело ответственное.

Читаем дальше: «Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбывал наказание в лагерях. В 1957 г. реабилитирован».

Тут нет фактических неточностей. Но этот абзац — нечто гораздо худшее, чем неточности.

Солженицын действительно реабилитирован. Какое же право, моральное и юридическое, имеет ЛГ публично заговаривать о несовершенном им преступлении? Ведь граждане, реабилитированные после смерти Сталина, это же жертвы ежовского, бериевского, аббакумовского — короче, сталинского террора, которые не были виновны перед законом и обществом; напротив, общество и учреждения, призванные вершить и охранять закон, оказались виновны перед ними. Зачем же газета бесстрастным голосом и как бы между прочим снова преподносит читателю уже разоблаченную ложь? Оба факта на выбор: хотите — верьте обвинению, хотите — реабилитации... Совсем

как в известном анекдоте: «Петров? Ах, это тот, с которым что-то случилось, не припомню, что именно: то ли он кого-то обокрал, то ли его обокрали... Во всяком случае будьте осторожны».

Могу заверить ЛГ: обокрали **его**. На 8 лет жизни. Украли бы и целую жизнь («вечная ссылка»), да Сталин оказался не вечен.

В 1963 г. (в предисловии к книге «Один день Ивана Денисовича») было сказано: «арестован по ложному политическому доносу». Прошло всего 5 лет и бедная ЛГ заблудилась в тумане и снова не знает, где истина.

Реабилитация Солженицына («Определение № 4н-083/57 Верховного Суда СССР от 6 февраля 1957 г.») составлено к счастью очень подробно и дает полное представление о его боевом пути и о причинах, обрушившихся на него гонений.

Солженицын «храбро сражался за Родину — написано в этом документе — неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям...» — «награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды».

За что же этот боевой офицер, прошедший с нашей армией путь до Восточной Пруссии, был в феврале 1945 г. арестован, без суда осужден и отправлен в лагерь?

Тот же документ отвечает на этот вопрос совершенно исчерпывающе: «Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и в письмах к своему товарищу, говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности соц. революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказался против культа личности Сталина...»

Вот в чем причина, вот где ключ к пониманию судьбы Солженицына. Он смолоду, раньше других разгадал Сталина; возмужав, сделавшись писателем, начал разоблачать сталинщину не только в дневниках и письмах. Вот причина гонений на него в прошлые времена и горестных особенностей его литературной биографии в наши...

ЛГ в той же статье об идейной борьбе и ответственности, с полнейшей безответственностью и не утруждая себя доказательствами, называет роман «В круге первом» — клеветническим.

Не потому ли, что среди других заплечных дел мастеров, там выведен в том же качестве Сталин?

— А разве нельзя, — спросит читатель, — разоблачать Сталина? Инструкции такой я не читала, распоряжения не слышала, но судя по всему оно существует. Судя по тому, хотя бы, что вот уже несколько лет редакции за редчайшими исключениями, акуратно вычеркивают из всех статей упоминания о гибели наших соотечественников в сталинских лагерях и тюрьмах. «Нам разъяснили, — любезно сообщил мне один редактор, — что если каждый раз указывать, у читателя может создаться впечатление, будто их было слишком много».

Их — то-есть заключенных. Погибших.

Ну как же при таких разъяснениях напечатать «В круге первом», роман Солженицына, где основное действие происходит в тюрьме в Москве, где собрана техническая, инженерная, филологическая интеллигенция из несметных тюрем и лагерей Сибири? У читателя в самом деле может создаться впечатление, что их было много, слишком много! Гораздо естественней в наши дни звучит хвала Сталину, изделия С. Смирнова. Про это произведение ЛГ не напишет, что оно клеветническое.

Вот как изображает С. Смирнов похороны своего героя:

И тогда, возвышенный над каждым,
Он ушел от нас не одинок:
Сотни душ растоптанных сограждан
Траурный составили венок.

Читатель должен представлять себе, при какой погоде совершаются попытки романа «В круге первом» и повести «Раковый корпус» появиться на свет. Погода такая — можно напечатать в толстом журнале, что растоптанные люди — венок.

Утром, просыпаясь, и вечером, засыпая, мы должны помнить, что гениальный «Реквием» Ахматовой, этот плач обо всех замученных и убиенных, до сих пор не напечатан, а кособокие вирши Смирнова, этот плач на могиле их мучителя беспрепятственно опубликован в журнале «Москва», 1967, № 10.

Вот какая у нас нынче погода!

С точки зрения цензур и редакции в стихах Смирнова все обстоит благополучно: **они** там не упомянуты — те, кого успел растоптать Сталин до своих похорон.

Рассказав о XX съезде («Мы потом сошлись в Колонном зале — Лучший цвет завода и села») Смирнов мимоходом осуж-

дает культ личности, но тем не менее от самой личности продолжает оставаться в восторге:

Да! В таких — буквально — людях-глыбах
До вершин вознесшихся не вдруг,
Надо не замалчивать ошибок.

Вряд ли истребление миллионов невинных людей Смирнов осмеливается считать заслугой Сталина. Стало быть оно в его глазах «ошибка». Не преступление против человечности, за которое должны нести ответственность сообщники сталинских злодеяний; не зверство, не самая грандиозная провокация, какую когда-либо знала история — провокация, едва не сбившая с толку целый народ, — а деликатненько: «ошибка» (со стороны «буквально человека-глыбы, до вершин вознесшейся не вдруг»).

В дальнейших строках Смирнов признается, что он до сих пор не знает объективной истины о Сталине. Ну, уж если до сих пор не знает — тут уж, боюсь, ему не поможешь ничем. Вот разве что: не почитать ли ему Солженицына?

Я вовсе не намерена сводить все богатство философского, социального, нравственного содержания книг Солженицына к разоблачению сталинщины. Для них это слишком узко. И если я подчеркиваю сейчас антисталинскую направленность его произведений, то лишь потому, что ЛГ о ней ни слова, а между тем в ней-то и зарыта собака. В ней — и в перемене погоды.

В 1964 г. на роман «В круге первом» с автором заключил договор журнал «Новый мир». Сегодня в 1967 г. ЛГ сообщает, что роман — это «злостная клевета на наш общественный строй». Что же переменилось? Роман? Нет. Строй? Тоже нет. Наше прошлое? Оно неизменно. Изменилась погода. Дана новая беззвучная команда: окутать прошлое туманом. Не услышав этой команды читатель не поймет, почему не напечатаны до сих пор ни «Раковый корпус», ни «В круге первом». Почему у автора два года назад конфискован архив и до сих пор не возвращен ему. Почему перестали в библиотеках выдавать «Один день Ивана Денисовича».

(Их там слишком много!) Почему на специальных инструктажах из года в год, распространяются о Солженицыне злобные выдумки: сотрудничал с немцами! был в плену! уголовник, блатной! шизофреник!

Надо ведь изобрести способ расправиться с писателем,

который продолжает разоблачать сталинщину уже после того, как дана команда забыть о ней. Нет, конечно, вспоминать можно, но лишь на такой манер:

Всенародно в октябре и в мае,
Мы сверяли чувства по нему
И стоял он, руку поднимая,
Равный громовержцу самому.

В повести «Раковый корпус» Сталин не изображен. Это скорее философская нежели историческая повесть. Тут, как в повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», автор ставит своих героев лицом к лицу со смертью и каждого заставляет оглянуться на прожитую жизнь и задуматься над ее смыслом. Над смыслом жизни — своей и общей. В туго завязанном жизненном узле переплетаются не только судьбы — мысли; тут что ни человек — то носитель идеи, завоеванной, выстраданной целой жизнью — накануне конца. Повесть совершает то великое дело, которое и должна творить литература — она учит работать мысль читателя. Но издана она лишь в Самиздате; 8 глав, сверстанные в «Новом мире», были из журнала вынуты. Вынуты, несмотря на то, что секция прозы обсуждала повесть и все 24 выступавших говорили о необходимости ее напечатать.

«В идейном отношении, — глубокомысленно заявляет ЛГ, — повесть, как отмечалось на секретариате, нуждалась в существенной переработке». И это в статье — единственная характеристика повести! Искусство бюрократического письма в том и состоит, чтобы осудить чью-то мысль — или книгу — не дав читателю ни малейшего представления о ней.

А любопытно было бы узнать: какая именно идея из проповедуемых автором не устраивает секретариат? Идея очеловечивания человека? Ненависть к бессмысленной жестокости, пропитывающей жизнь до краев? Преклонение автора перед самоотверженной работой врачей? Размышления о том, в какой мере врач может самостоятельно решать судьбу больного? Какая именно?

На все эти вопросы ЛГ ответить не только не хочет — не может. Тут в самом деле должен совершаться труд мышления, а думать и обосновывать свои мысли — это вовсе не то же самое что переставлять словечки: настойчивый отпор и мутная волна. Тут нужен анализ чужих идей, чужих аргументов, нужны поиски собственных доводов, живая, напряженная,

страстная, строгая работа ума. Статья же «Идейная борьба...» поражает своей безыдейностью. Какая уж тут борьба идей, если свежим и грозным раздумиям Солженицына, скорбным укоризнам Каверина, выступившего на защиту солженицынской повести, всем их мыслям, основанным на целой груде тут же приведенных ими фактов, газета противопоставляет не идеи, не мысли и уж конечно не факты, а либо порочащие ярлыки, либо какие-то пустые придирки, совершенно внешние, не касающиеся сути идущего спора... Солженицын, видите ли, отправил свое письмо Съезду «в нарушение общепринятых норм поведения», т. е. не в одном экземпляре, как положено, а в сотнях — Президиуму, журналам, делегатам. Да забудьте вы хоть на минуту о способе, каким было послано письмо, вспомните о самом письме, напечатайте его или расскажите читателю его содержание, ответьте на него, попробуйте противопоставить мыслям автора свои собственные, если они у вас есть — опрокиньте, опровергните его утверждения в открытом бою — тогда это будет называться идейной борьбой! А до тех пор это бюрократическая придирка. На роман «В круге первом» вы истратили 7 слов «содержит злостную клевету на наш общественный строй» — а в романе 35 печатных листов, а в романе десятки героев, а действие охватывает самые разные слои нашего общества, разные его этажи, а сумма идей такова, что их хватило бы на 10 романов — где же именно скрывается злостная клевета? Из чего она складывается? В чем состоит? Почему бы вам не вытащить ее наружу и не опровергнуть?

Вы ставите в вину Каверину, что он будто бы ежедневно слушает по иностранному радио свое письмо Федину (какая богатая осведомленность о домашнем быте писателя), когда же дело доходит до дела, т. е. — до содержания письма, вы замечаете: «нет нужды разбирать это письмо в подробностях».

Нет нужды? Если так — не называйте свое выступление идейной борьбой. — Это какая-то другая борьба, не идейная.

У ЛГ своя забота: Солженицын должен отмежеваться от шумихи, поднятой вокруг его имени на Западе. Вот тогда-то он сделается наконец идейным писателем и может надеяться быть удостоенным упоминания рядом с самой Галиной Серебряковой (А не отмежевается — пусть пеняет на себя). Главное, от чего ему следует отмежеваться — это от шумихи, поднятой

на Западе вокруг письма Съезду. (А заодно, хорошо бы и от идей письма).

Когда я впервые прочитала это необыкновенное письмо, мне представилось, что сама русская литература оглянулась на пройденный путь, обдумала, взвесила все, что ей довелось пережить, подсчитала утраты и потери — помянула гонимых — тех, кого загубили на воле, взвесила урон, нанесенный гонениями на писателей духовному богатству страны и голосом Солженицына произнесла — довольно! Больше так нельзя! будем жить по другому!

Солженицын сделал все возможное, чтобы голос русской литературы раздался на Съезде. Но несмотря на то, что десятки делегатов поддержали его и обратились в Президиум Съезда с требованием обсудить письмо — оно ни оглашено, ни обсуждено не было.

Трудненько, видно, бороться с идеями; гораздо легче замалчивать их, и, замалчивая, порочить.

Голос литературы так и не прозвучал на писательском Съезде.

И это понятно. Их, проклятых, и в этом письме слишком много: среди писателей одних лишь реабилитированных 600 человек, из них посмертно — 180! Опровергнуть письмо невозможно — и факты, и выводы неопровержимы; гораздо легче сообщить, как сделала ЛГ, что «западная пропаганда подняла вокруг письма разнузданную антисоветскую шумиху». Шумиха-шумихой, а в чем же дело в письме? В чем его содержание? Почему шум шумихи заглушает для ЛГ смысл самого письма?

Единственное место, которое газета рискует изложить и на которое пытается ответить, это предложение внести в Устав СП пункт об обязанностях Союза защищать неправо гонимых.

Как? Защищать? Своих членов? Союз?

В самом деле, развернем это предложение в жизнь, и мы сами убедимся, что оно фантастическое.

Например: дан сигнал травить Пастернака. Выступает тов. Семичастный, большой знаток литературы, и публично, с трибуны, объявляет великого поэта — свиньей. Да, да, попросту свиньей — чавкающей или хрюкающей, не помню.

А тут СП — слушайте! слушайте: — вместо того, чтобы покрыв себя навеки позором, исключить Пастернака, вступает-

ся за своего собрата и спокойно с достоинством объясняет на страницах своей газеты невеждам кто такой Пастернак.

Или вот другой пример: Солженицын. Помечтаем! Вместо того, чтобы сообщать, что архив, отобранный у него, отобран не в Рязани, а в Москве, и не на квартире у Солженицына, а на квартире у его друга — как будто это имеет какую-нибудь важность! — Союз в газете начинает борьбу за возвращение архива. Газета напоминает общественности, что архив писателя — его святое святых, что никто не смеет лезть туда, что довольно уже погибло драгоценных писательских архивов в таинственных недрах, что распространять, вопреки воле автора, выкраденную из его архива рукопись, от которой он давно и громогласно отказался — беззаконие и бесстыдство... Увы! все это лишь в мечтах. А в действительности газета стала соучастницей похитителей: в той же статье пересказала содержание отвергнутой автором пьесы.

Второго такого случая в нашей печати я не знаю. Умышленно не давать читателю представления о повести и романе, за опубликование которых открыто годами борется автор — и пересказать во всеуслышание пьесу никогда для распространения и печати не предназначавшуюся и хранившуюся в личном архиве... Это беспримерно. Не выкрасть ли у Солженицына (на этот раз уже из его квартиры в Рязани, а не из квартиры его друга в Москве) дневник или письма к жене и не пересказать ли в ЛГ? Это было бы еще интереснее.

Несмотря на горестный и богатый опыт разнообразных писательских гибелей, газета отвергает необходимость внести в Устав Союза пункт об обязанности Союза защищать своих членов: «Такой пункт, — пишет газета, — ставил бы Устав СП над общегосударственными законами, обеспечивающими равную для всех граждан защиту от клеветы и несправедливости».

Да почему же непременно **ставил бы над? Каждый** местом каждого профсоюза имеет такие права — защищать своих членов, и это нисколько не ставит его над судом или прокуратурой, а лишь способствует общей борьбе с произволом и несправедливостью.

Но ЛГ столько же дела до справедливости, сколько и до литературы. У нее своя навязчивая идея: добиться, чтобы писатель Солженицын, а заодно и писатель Каверин, вступивший за Солженицына, отмежевались от шумихи, поднятой на Западе вокруг их имен. Вокруг их писем: Солженицына —

Съезду, Каверина — Федину. В письмах обоих писателей заключена неоспоримая правда, а правда, как известно, не превращается в кривду в зависимости от шумихи или от того, на какой волне она передана. Шуми или замалчивай, а правда остается сама собой. И не о шумихе должна думать в первую очередь газета, а о сущности дела: истинно ли то, что вызывает шум?

Я не спорю — это большое несчастье, большое унижение для нашего народа, для всех нас, получать собственное богатство из чужих рук. Но чтобы избежать этого есть одно единственное средство: значительные произведения советской художественной литературы и советской общественной мысли надо печатать дома. И передавать по станциям «Маяк» и «Юность». Тогда и читатель окажется духовно накормлен и шумихи не будет, и заставлять писателей отрекаться и отмежевываться не станет нужды.

Упрекая Федина в том, что он, именно он, помешал напечатать «Раковый корпус» в «Новом мире», Каверин пишет: «Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам. Это значит, что он будет опубликован за-границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Англии, Зап. Германии, т. е. произойдет то, против чего энергично и неоднократно протестовал сам Солженицын. Возможно, что в руководстве СП найдутся люди, которые думают, что они накажут писателя, отдав его зарубежной литературе? Они накажут его мировой славой, которой наши противники воспользуются для своих целей. Или они надеются, что Солженицын «исправится» и станет писать по другому? Это смешно по отношению к художнику, который представляет собой пример поглощающего призвания, пример, который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в литературе Чехова и Толстого».

Истину этих слов не заглушит ни шумиха на Западе, ни административный окрик ЛГ.

«Редкий пример поглощающего призвания...» — точнее о Солженицыне не скажешь. Каждая из его вещей — точно свидетельство на каком-то незримом судилище, где он минуту назад принял присягу говорить правду, одну лишь правду и **всю** правду.

Присягнул — собственной прожитой жизни, людям, с которыми вместе шел по жизненным путям.

Письмо Солженицына кончается так: «Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть».

И такого человека ЛГ вздумала обучать ответственности!.. Ну разве не смешно?

Лидия Чуковская, 27/VI-4/VII 1968 г.



“Так вóт, товарищи — прошло полвека.

“Перековали, значит, человека.

“Затеяли, заворотили дело!

“В копеечку, в копеечку влетело.

“Свобода чтоб — и счастье без уродства...

“Придется подождать, уж как придется.

“Да, вкалывали тák — порой хоть выжми!

“И ждали, значит, лучшей, светлой жизни.

“ (А миллионы ж в жертву не хотели —

“Ну, тех — “в расход, чего там, в самом деле!”)

“Наголодались, друг, наголодались,

“Намучились, наждались, набоялись.

“И в лагерях, на койках ‘доходили’

“Переплатили, брат, переплатили.

“И я, брат, — большевик: пора б дожждаться —

“Товаров больше бы, и больше братства.

“Ну, выпьем за живых. Мороз, простыл я.

“Россия, да... Россия... эх, Россия...”



Не о войне — о том, что часто снится мне

И сорок первый год, и страшный гость.

О смутном, угасающем огне

Над городом в четвертый год войны.

Да нет, не о войне — о зверской той зиме,
О зное, снявшемся под Новый Год,
О черном, окровавленном письме,
О лунном берегу другой страны.

Не о войне, о нет — о страшной той весне,
О сгустке крови с маленькую горсть,
О том, что мы спаслись — в чужой стране —
О чувстве — перед мертвыми — вины.



Всё темней тишина, это сон океаном синее.
Авраам, Авраам! Это Ной, это Ной и потоп...
Над разбитым ковчегом... И волны — темнее,
сильнее.

Нет, какой Арарат, это айсберг, и кто там спасет...

Скоро воздух взорвется — и станет светлее зари.
Я не знаю, успеет воздушный ковчег прилуниться?
Вавилон, Вавилон, это башня упала, смотри,
И на камнях белея, в крови умирает блудница.

Мне на миг показалось... Да нет, почему Азраил,
Только мутные тучи и ночь, никаких Азраилов...
Только ветер, пророк бородатый, я знал, я забыл.
Он ночами стучался, но ты не пошла, непустила.

Хриплый голос во сне... Ханаан, Ханаан, Ханаан...
Мы вернемся, вернемся... Да нет, никогда
не вернемся.

Обрывается дождь, осыпается дождь в океан.
Видишь — Ангел Расплаты. Ну, что же,
иди — познакомься.

Игорь Чиннов

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ — КРИТИК

«Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следа. Мы ленивы и нелюбопытны». Эти пушкинские слова невольно вспоминаешь, когда знакомишься с жизнью и творчеством Аполлона Александровича Григорьева — поэта, литературного критика и мыслителя. Правда, след Аполлона Григорьева в русской литературе остался, и след глубокий. Но многие ли из нас, не говоря уже о советских людях, знают А. А. Григорьева? Увы, это знакомство часто не идет дальше его известных стихотворений, ставших романсами.

«О Григорьеве не написано ни одной обстоятельной книги; не только биографической канвы, но и ученой биографии Григорьева не существует», — так еще в 1915 году писал Александр Блок, немало потрудившийся, чтобы собрать и издать стихотворения А. Григорьева. Увы, с тех пор мало что изменилось. Ни в дореволюционной России, ни в Советском Союзе так и не появилось полной, основанной на точных данных биографии Аполлона Григорьева; до сих пор не издано полное собрание его художественных произведений и критических работ, нет исчерпывающей оценки поэтического и литературно-критического творчества Ап. Григорьева.

«Мы ленивы и нелюбопытны». Но в вековом забвении творчества А. Григорьева виноваты не столько русские леность и косность. Причины непопулярности Григорьева среди современников лежали и в его личной жизни, и в стиле и характере его писаний, а главное — в конфликте взглядов и идей А. Григорьева с господствовавшим тогда направлением в общественно-политической мысли. О том, что было сделано по изданию трудов А. А. Григорьева до революции 1917 года и при советской власти обстоятельно рассказал В. Крупич в кн. 89 «Нового Журнала». До революции это в большинстве были начинания почитателей, последователей и друзей покойного поэта. Но эти начинания по разным причинам, не увенчались, к сожалению, конечным успехом, то-есть не дали нам собрания трудов А. Григорьева.

Дополнительно к тому, о чем писал В. Крупич, можно

лишь отметить, что поиски рукописных оригиналов григорьевских работ, изучение касающихся его архивов, сбор переписки и т. п. — словом, вся та трудоемкая работа, которую должен проделать исследователь трудов Григорьева, мыслима сегодня только в Советском Союзе. Но трудно надеяться, что при существующих в СССР условиях полное собрание трудов такого «идеалиста и реакционера» увидело бы свет в ближайшее время. Слишком страстно, слишком непримиримо отвергал Аполлон Григорьев взгляды тех самых «теоретиков» и «тушинцев» из числа господствовавших в то время критиков, примитивное развитие мыслей которых правомерно привело нас к «социалистическому реализму», лишив страну свободы литературы и искусства. В 1967 году советские издатели осмелились выпустить одностомник критических статей Григорьева. Но это пока и все. На быстрый поворот к лучшему вряд ли можно рассчитывать.

В 1967 году журнал «Вопросы литературы» провел письменную анкету среди писателей и литературоведов на тему «Советская литературная наука и классическое наследие». Ни один из опрошенных не отвергал огромного значения этого классического наследия. А некоторые даже выступили со страстной его защитой. Вот что писал, например, Д. Максимов: — «Сталкивая... в небытие или в абстракцию полусуществования целый ряд интереснейших поэтов, прозаиков, идеологов, критиков, мы искажаем литературный процесс, лишаем его диалектики борьбы, превращаем достойных и героических борцов в донкихотов, которые сражаются с ветряными мельницами. Именно к этому ведет наше закоренелое и последовательное игнорирование славянофильства. Не пора ли нам серьезно заняться этим своеобразным, по-своему глубоким, влиятельным и долговечным явлением русской литературы? Не пора ли выпустить научно подготовленные издания сочинений славянофилов и близких к ним авторов, написать историю славянофильства и изучить крупнейших представителей этого течения — И. Киреевского, А. Хомякова, К. Аксакова, Ап. Григорьева и др.? Они были силой в культурном и литературном развитии России, влияли на крупнейших русских писателей, и это влияние нельзя назвать исключительно реакционным. Долго ли мы сможем еще обходиться, оставляя их творчество неизученным?»

В самом деле: долго ли? При тех гонениях, которым сей-

час в СССР подвергается свободное слово, оптимистом быть трудно.

Советские критики упорно причисляют А. А. Григорьева к «реакционным идеологам» России XIX века и неизменно связывают его имя со славянофильством. Такая догматическая оценка творчества Григорьева автоматически закрывает двери к знакомству с его работами широкому кругу советской интеллигенции. В действительности же А. Григорьев, конечно, никаким «реакционером» не был. Это был русский патриот, веровавший в народные силы и непримиримый противник материализма, исключавшего из жизни тот идеал, который, по Григорьеву, всегда должен был ее озарять.

В зрелые годы, когда мировоззрение А. Григорьева в какой то мере уже определилось, его взгляды близко сходились с взглядами славянофилов. Но в мировоззрении А. Григорьева было много и оригинального. Наряду с Ф. М. Достоевским, Аполлон Григорьев был одним из видных идеологов почвенничества, хотя в свои молодые годы, так же как Достоевский, А. Григорьев отдал дань, пусть кратковременную, увлечению левыми течениями. С достоверностью установлен факт посещения им «пятницы» петрашевцев. Однако, фурийизм членов кружка Петрашевского к Григорьеву явно не привился.

Не чуждыми молодому Аполлону Григорьеву были и идеи западников. Особенно сильное влияние оказал на него Белинский, которого Григорьев всю жизнь называл своим учителем. Это, однако, не препятствовало А. Григорьеву уже в первые годы его литературной работы смело высказывать свою независимую точку зрения. В 1847 году вышли «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. Вокруг этой книги западники, да и многие из лагеря умеренных консерваторов, подняли бурю негодования. Тон задал Белинский своим «Письмом к Гоголю». Но в хоре возмущенных криков раздался и голос в защиту Н. Гоголя: малоизвестный, или вернее — неизвестный широкой публике А. Григорьев выступил тогда в «Московском Городском Листке» со статьей в защиту Гоголя. За несколько недель до смерти А. Григорьев пишет об этом в «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям» так: «Вышла странная книга Гоголя и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповедавшую, что «с словом надо обращаться честно». Вышла моя статья в «Листке» и я был оплеван буквально именем подлеца Герценем и его

кружком». Статья в защиту Гоголя и три письма к нему, написанные Григорьевым в разное время, были только звеном в процессе развития самостоятельных и оригинальных мыслей Григорьева о литературе и искусстве.

Не отрицая своей близости к славянофильству, Григорьев, тем не менее, неоднократно высказывался о расхождениях между ним и славянофилами. Еще в те годы, когда Григорьев был главным идеологом «молодой редакции» журнала «Москвитянин», он так определил расхождение во взглядах на искусство между «младославянофилами» (как называли членов «молодой редакции») и славянофилами: «Главным образом мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, но для нас совершенно самостоятельное, если хотите, даже высшее, чем наука».

В письмах А. Григорьева к Н. Н. Страхову, Ф. М. Достоевскому, М. П. Погодину и другим можно найти немало заявлений, в которых критик отмежевывался от славянофилов. Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из письма Григорьева к П. А. Плетневу, впервые опубликованного в 1965 году в журнале «Вопросы литературы». В этом письме, датированном 13 октября 1859 года, А. Григорьев снова подчеркивает особую позицию, занимаемую им в споре западников и славянофилов: — «Без рекомендации и писем, хотя я и мог бы иметь их, обращаюсь я к вам, как к поэту, как к другу Пушкина, как к литератору великой Пушкинской эпохи — обращаюсь на том единственно основании, что я — один из немногих верных и преданиям этой эпохи и ее направлению. Ни славянофил, ни западник, я пятнадцать лет своей литературной деятельности вел честную борьбу за художественные и общественные начала великого покойника».

Эти свои взгляды на славянофилов и западников А. Григорьев развил в цикле статей, опубликованных в журнале «Время» в начале 60-х годов под общим заглавием: «Развитие идеи народности в русской литературе со смерти Пушкина». Эти статьи в известной мере можно рассматривать как общую программу общественно-политических взглядов Григорьева — литературного критика. Пушкин — вот его идеал. Он пишет о нем: «Пушкин был весь — стихия нашей духовной жизни, отражение нашего нравственного процесса, выразитель его, столько же таинственный, как сама наша жизнь». Пушкину, по словам Григорьева, было дано непосредственное чутье на-

родной жизни, и дана была непосредственная же любовь к народной жизни. «Пушкин не западник, но и не славянофил: Пушкин — русский человек, каким сделало русского человека соприкосновение с сферами европейского развития», — пишет Григорьев и отмечает: «Замечательно, что со смерти его собственно начинается раздвоение двух лагерей».

А. Григорьев занимает, или, по крайней мере — хочет занимать, такие же позиции, что и Пушкин. Его больше всего интересует будущее России, русского народа в целом, интересуется развитие в русских людях сознания, как нации. В славянофилах он видит как бы попутчиков, но не единомышленников. «Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это — вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности», — писал А. Григорьев Н. Страхову в 1861 году. Такой взгляд, разумеется, был неприемлем и для западников, а тем более для «революционных демократов».

Переходя к оценке эстетических взглядов и идей Ап. Григорьева и значения его критического творчества, мы должны считаться с тем, что в этом отношении до сих пор существует множество, порой совершенно противоположных, мнений. Литературные и идеологические противники А. Григорьева, естественно, старались замалчивать его сильные стороны как критика и эстета. Отзывы друзей, наоборот, невольно вызывают известную настороженность, заставляя тщательно их взвешивать. Но характерно, что чем дальше удаляется время от эпохи Григорьева, тем объективнее и выше оценивается его значение и роль как критика. Ни личные качества Григорьева, ни острое столкновение враждебных общественно-политических и художественно-эстетических течений того времени не оказывают уже своего влияния на мнение литературоведов о творчестве Григорьева.

На стороне А. Григорьева были высокая образованность, начитанность, огромная эрудиция, отличное знание нескольких иностранных языков. Этого знания как раз нехватало многим из оппонентов и противников Григорьева, в том числе и В. Белинскому. Если Григорьев мог знакомиться с передовой мыслью немецких, английских и французских писателей и философов непосредственно, по оригиналам, то Белинскому и многим другим русским критикам эти труды были доступны

только в переводе. На стороне Григорьева было много и других качеств, щедро отпущенных ему природой: острый ум, прекрасная память, проницательность, умение анализировать, поэтический и музыкальный дар. «Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно-чуткая», — писал о Григорьеве А. Фет, товарищ по студенческим годам. Много выше оценка Григорьева Н. Н. Страховым: — «Это был урожденный критик, для которого критика была естественной потребностью и прямым призванием жизни. Я смотрел на него как на великого и единственного мастера в деле критики». Ф. М. Достоевский видел в Григорьеве, которого он близко знал, человека «почвенного», «кряжевого»: — «Может быть из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура, не говоря, как идеал... Это был правдивый, высокочестный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения».

Интерес к А. Григорьеву — поэту и критику — стал возрастать в начале нашего столетия. В связи с пятидесятилетием со дня его смерти были переизданы его порядком забытые стихотворения и ряд критических произведений. В посвященных А. Григорьеву статьях отмечались его заслуги перед русской литературой. В. Ф. Саводник в предисловии к «Собранию сочинений Аполлона Григорьева» назвал его «одним из замечательнейших наших критиков». Известный литературовед Л. П. Гроссман писал о Григорьеве в первые годы советской власти: — «В русской критике первенство его вне всякого сомнения. Не умаляя громадных заслуг Белинского, Писарева и Добролюбова в истории русской литературы и общественности, мы должны признать решительное преимущество перед ними Ап. Григорьева в области литературной, лингвистической и философской эрудиции, в деле выработки цельной эстетической доктрины». Пусть в более поздние годы Л. Гроссман стал несколько сдержаннее в своей аттестации Григорьева, но он сказал свое слово, когда его еще можно было сказать.

Особо следует остановиться на статье А. Блока «Судьба Аполлона Григорьева». Ее Блок писал в январе 1915 года и предпослал сборнику стихотворений Ап. Григорьева, изданному им в 1916 году. Блок вложил много энергии в собирание, обработку и издание произведений «последнего романтика», в

котором видел родственную себе душу и который оказал несомненное влияние на его творчество. В своей статье Блок отзывается о Григорьеве, как о «замечательном русском поэте и мыслителе сороковых годов». Он видит в нем «единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост». Работа А. Блока была одной из первых попыток дать художественную, краткую биографию А. Григорьева; она сыграла большую роль в пробуждении интереса к забытому Ап. Григорьеву. Но в своей статье А. Блок, думается, слишком много места и чувства уделяет описанию «темных сторон» григорьевской души. При чем А. Блок порой противоречит сам себе. В одном месте статьи он утверждает, что «Григорьев был задуман высоко», а в другом говорит о его «маленькой, пьяной человеческой душе». Верно, что все было у Григорьева: и пьянство, и безобразия, и чудачества. Но душа его была — страстная, горячая, широкая.

Несколько слов надо сказать об отношении к Ап. Григорьеву современной советской критики. Шаблонные оценки творчества Григорьева, «классовый подход» к анализу его идей теперь в советском литературоведении в значительной мере как будто оставлены. У. Гуральник, один из видных советских «григорьеведов», не так давно писал в журнале «Вопросы литературы»: — «Заслуги этого самобытного поэта и критика не должны преувеличиваться, но их и не следует преуменьшать. Развеяны давние легенды, создававшиеся вокруг его имени... Развенчана спекулятивная критика, пытавшаяся в свое время, поднимая на щит Григорьева, противопоставить его ведущей линии развития нашей классической литературы. Вместе с тем советское литературоведение освобождало репутацию поэта и критика от однолинейных вульгарно-социологических и догматических толкований».

Положим, «вульгарно-социологические толкования» все еще попрежнему в ходу. Но оценка Григорьева, действительно, стала более благожелательна. Так, В. Егоров, в вступительной статье к однотомнику «Аполлон Григорьев. Литературная критика», вышедшем в 1967 году, уже осмелился утверждать, что Аполлон Григорьев «занимает отнюдь не последнее место» среди классиков русской литературы и литературной критики. Это уже значительная уступка со стороны советской критики. Больше того, в позднейших работах советских литературове-

дов с А. Григорьева как будто снимаются обвинения в реакционности и косности. Тот же Егоров говорит уже о демократичности А. Григорьева, о «демократическом пафосе» его творчества.

Литературно-критические взгляды А. Григорьева оригинальны и интересны. Он жил в эпоху расцвета русской литературы, в годы интенсивного пробуждения в России общественно-политической мысли. Современниками Григорьева — в ранние или поздние годы их творческой деятельности — были Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Жуковский, Тургенев, Достоевский, Островский, Толстой, Некрасов, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писемский и многие другие. Одних из них А. Григорьев знал лично, с другими тесно сотрудничал и дружил. В автобиографической работе «Мои литературные и нравственные скитальчества» А. Григорьев пишет: «Сколько эпох литературных пронеслось надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или лучше следы на моей душе». Каждая из этих эпох, как говорит Григорьев, «глядит на меня из дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой собственный цвет и свой особенный запах».

А. Григорьев жадно вбирал в себя «цвет» и «запах» и иностранной литературы и философии, следя за общественно-политической и философской мыслью Европы. Это знакомство помогло выработать А. Григорьеву собственные взгляды на искусство и на роль писателя и критика. Отмечая в своих работах наиболее выдающиеся, с его точки зрения, явления в русской литературе, которые он называл «веяниями жизни», Григорьев подробно анализирует эти «веяния», высказывая свои взгляды на важнейшие проблемы общественной и литературной жизни России. Пусть эти взгляды не всегда и не во всем были оригинальны: они, тем не менее, помогли Григорьеву постепенно прийти к собственной, во многом оригинальной, теории критики, которую он назвал критикой органической.

В основе понимания А. Григорьевым искусства лежало убеждение о неразрывной связи между искусством и жизнью. Критик отвергал, как он говорил, «деланные» художественные произведения, то-есть произведения, написанные по определенной схеме, с определенной утилитарной целью, называя такие произведения «мертвыми». Истинными он признавал толь-

ко «живорожденные» произведения, «озаренные правдой жизни», проникнутые «идеалом меры и красоты». От этого критерия в оценке искусства — тесная связь с жизнью и «озарение идеалом» — Григорьев не отступал всю жизнь. «Искусство есть идеальное выражение жизни... Искусство должно осмысливать жизнь, определять разум ее явлений... Художество есть выражение жизни народа, и коренные нравственные начала жизни народа суть неминуемо и коренные начала художества», — пишет А. Григорьев в своей работе «О правде и искренности в искусстве».

В свете своих взглядов на искусство и его роль А. Григорьев чрезвычайно высоко оценивал и значение писателя — художника слова, поэта. «Художник, как вноситель света и правды, является, таким образом, высшим представителем нравственных понятий окружающей его жизни, то-есть своего народа и своего века, и иным даже быть не может истинный художник», — утверждает он в упомянутой уже работе. А в статье «Критический взгляд на основы, приемы и значение современной критики искусства» Григорьев еще глубже развивает эту тему — о значении художника слова: — «Художник прежде всего человек, т. е. существо из плоти и крови, потомок таких или других предков, сын известной эпохи, известной страны, известной местности страны, конечно, наиболее чуткий и отзывчивый на кровь, на местность, на историю, — одним словом, он принадлежит к известному типу, и сам есть полнейшее или одно из полнейших выражений типа; кроме того, у него есть своя, личная натура и своя личная жизнь; есть, наконец, сила ему данная, или лучше сказать, сам он есть «великая зиждительная сила, действующая по высшему закону».

По Григорьеву, художник творит в условиях известного сочетания объективных и субъективных факторов. Он обладает полной свободой творчества. Однако, истинный художник всегда направляет свое творчество в соответствии с его идеалом. А эти идеалы должны быть рождены жизнью, тесно с ней связаны, а не выдуманы, не «сделаны» художником. «Только живое, только рожденное, только принявшее плоть и кровь, живет и действует. Только верование, принцип сердца, может наполнить жизнь содержанием», — говорит А. Григорьев. Поэтому у Григорьева «поэт — учитель только тогда, когда он судит и ридит во имя идеалов, жизни самой присущих, а не им,

поэтом, сочиненных». Отсюда постоянная борьба критика за «мысль сердечную» против «мысли головной», за произведения, идущие от сердца и вдохновленные самой жизнью.

«Я давно уже живу не сердцем, а головой», — говорит лермонтовский Печорин. В этой печоринской «жизни головой», то-есть в подчинении всего холодному рассудку, в сомнении во всем, в презрении ко всему, Григорьев видит влияние чуждое не только его пониманию идеала, но и постороннее для русского характера. И критик выносит свой приговор: «Лермонтов не более, как случайное поветрие, мираж иного, чужого мира». Григорьев не отвергает гения Лермонтова. Но он лишает его права быть народным, национальным поэтом, каким Григорьев признает Пушкина, творчество которого считает связанным кровной связью с родным народом, с «почвой». Поэтому А. Григорьев и выделяет творчество Лермонтова в особое, отрицательное направление в русской литературе, которому он дает название **лермонтовское**.

Столь же высокие требования, как и к искусству, Григорьев предъявляет и к литературной критике. Две основные задачи, которые он ставит перед критикой, сформулированы чисто по-григорьевски: а) изучать и истолковывать «рожденные», «органические создания», то-есть произведения, освещенные идеалом и связанные с жизнью, и б) «отрицать фальшь и неправду всего «деланного». «Что художество в отношении к жизни, то критика в отношении к художеству: разъяснение и толкование мысли, распространение света и тепла, таящихся в прекрасном создании», — пишет А. Григорьев. Связывая художественное произведение с «почвою», на которой оно родилось, рассматривая положительное или отрицательное отношение художника к жизни, критик, по Григорьеву, «углубляется в самый жизненный вопрос». «Критика должна глубоко понимать, что **живые** голоса жизни слышит она в художественных отзывах, что великие тайны мира души и народных организмов открываются ей в созданиях искусства... Как искусство, так и критика искусства подчиняются одному критериуму. Одно есть отражение идеального, другая — разъяснение отражения».

Ставя литературного критика на столь высокое место, Григорьев, естественно, придавал большое значение и роли критика в развитии искусства. «Критик есть половина художника, может быть даже, в своем роде, тоже художник, но у которого

судящая, анализирующая сила перевешивает силу творящую». При этом, однако, он оговаривался, что слова его относятся к «настоящему, призванному критику, а таковых было немного».

Основные критические статьи А. Григорьева ставили себе целью опровержение взглядов существовавших тогда критических школ. Он выступал как против теории «чистого искусства», так называемой «эстетической школы», так и против созданной Белинским исторической школы, а также против критиков «публицистов», «теоретиков», «тушинцев», — как насмешливо называл их Григорьев, главными представителями которых были Чернышевский и Добролюбов. Концепции этих разных теорий критики Григорьев отвергал по разным причинам. «Эстетиков», то-есть сторонников теории «искусства для искусства», он обвинял в отсутствии ощущения жизни и в неспособности понимать и отображать живую реальность, чувствовать дыхание жизни народной. «Нет! Я не верю в их искусство для искусства, не только в нашу эпоху, — в какую угодно истинную эпоху искусства!» — восклицает А. Григорьев в статье «После 'Грозы' Островского». Он не останавливался даже перед открытыми насмешками над «эстетиками», называя их «литературными гастрономами», «праздными дилетантами», хотя, как правило, в спорах со своими оппонентами Григорьев всегда старался оставаться сдержанным и корректным.

Отвергая принцип «искусства для искусства», Григорьев противопоставлял ему свои взгляды на искусство, легшие в основу его органической критики. В статье «После 'Грозы' Островского» А. Григорьев пишет: — «Понятие об искусстве для искусства является в эпохи упадка, в эпохи разъединения сознания немногих лиц, утонченного чувства дилетантов, с народным сознанием, с чувством масс... Истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого слова. Искусство воплощает в образы, в идеалы сознание масс. Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох, — организмов во времени, и народов, — организмов в пространстве».

В таком «органическом» понимании искусства Аполлон Григорьев опередил известного французского историка и критика Ипполита Тэна, который считается автором «теории расы и среды». Как и Григорьев, Тэн полагал, что художественное

произведение нельзя понять без учета влияния расы, среды, исторического момента.

Сильный огонь в своих трудах А. Григорьев направлял и против представителей исторической критики и, особенно против критики публицистической, яркими представителями которой были Чернышевский и Добролюбов. «Наш век называют по справедливости веком исторической критики, — замечает Григорьев в статье «Русская литература в 1851 году», — и Боже нас избави отречься от критики этого рода; но нельзя не заметить, что ничто не злоупотребляется так в настоящую минуту, как слово историческая критика». Известно, что историческая критика рассматривала произведения искусства, как продукт века и народа в связи с развитием государственных, общественных и моральных понятий. Она рассматривала различные явления не изолированно друг от друга, а в последовательной связи, преемственно, сопоставляя и сравнивая их. Как результат этого сравнения и сопоставления и является суждение исторической критики о том, что нового принесло миру данное художественное произведение, как и насколько отразило оно жизнь. А. Григорьев принимает этот, так сказать, технический прием исторической критики, считает его правильным. Но он видит в исторической школе существеннейший порок: «порок этот есть порок самого так называемого исторического воззрения». Это воззрение неизбежно сопряжено с мыслью о безграничном развитии, «развитии безначальном, ибо историческое воззрение всякое начало от себя скрывает, и бесконечном, ибо идеал постоянно находится в будущем». Григорьев выступал против игнорирования исторической критикой «извечного начала» — души человеческой, вместо которой историческое воззрение, а вместе с ним — и историческая критика, берет отвлеченный «дух человечества». «Душа человека, всегда единая, всегда одинаково стремящаяся к единому идеалу правды, красоты и любви, как будто забывается. Отвлеченный 'дух человечества', с постоянно расширяющимся сознанием, поглощает ее в себе, — пишет Григорьев в статье «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства». — Неисчислимые, мучительнейшие противоречия порождаются таковым воззрением. Выходя из принципа стремления к бесконечному, она кончается грубым материализмом». Ошибка исторической школы, как видит ее А. Григорьев, заключалась в том, что «правильный прием: видеть в искусстве вообще, в искусстве словесном в особенности, отра-

жение жизни, она обратила в совершенно неправильный прием: видеть в искусстве рабское служение жизни».

Отвергая историческое воззрение, А. Григорьев признает его неудачным эрзацем исторического чувства. А это последнее, по определению Григорьева, «есть чувство органической связи между явлениями жизни, чувство цельности и единства жизни». Историческое чувство, как понимает его Григорьев, восстает против формулы вечного развития, в которую втиснуло его историческое воззрение. Восстает оно потому, что «для души всегда существует единый идеал, и душа развиваться не может». Развивается, то-есть обогащается, новым богатством данных, мир ее опыта, мир ее знания.

Как уже было сказано, свои полемические статьи А. Григорьев направлял особенно против публицистической критики Чернышевского, Добролюбова и их последователей, как критики, отводившей искусству узко служебную, ограниченную роль. Отвергая и опровергая «варварский взгляд» критика-публициста, «который ценит значение живых созданий вечного искусства постольку, поскольку они служат той или другой, поставленной теорией, цели», А. Григорьев противопоставлял «губительному фанатизму теории» и ее стремлению заставить искусство «рабски служить жизни» опять же принципы той критики, которую он вводил под именем органической.

Но цельной, разработанной и систематически изложенной теории органической критики А. Григорьев, собственно говоря, не оставил. Все, что мы имеем, представляет собой отдельные мысли, положения и принципы, разбросанные в многочисленных статьях Григорьева. Даже такие его работы, как статьи «О правде и искренности в искусстве», «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства», «Несколько слов о законах и терминах органической критики» и т. д., затрагивают вопросы теории органической критики как то вскользь. Статья «Парадоксы органической критики», которую А. Григорьев написал в ответ на прямой вызов его друзей — дать, наконец, точное определение сущности и содержания новой его теории критики, — также очень мало касается основной проблемы. Да и сам автор статьи называл ее только «присказкой». К сожалению, самой «сказки» так и не последовало: развернутой теории органической критики Григорьев не написал. Безвременная смерть Григорьева прервала его работу.

Сам Григорьев считал творцом «совершенно новой кри-

тики, которую я называю критикою органическою», «великого мечтателя, поэта-философа-историка-пророка» англичанина Карлейля. В «Парадоксах органической критики» А. Григорьев перечисляет и те источники, которые, по его мнению, «собственно принадлежат органической критике». Здесь, наряду с Шеллингом и Карлейлем, он указывает Ренана, Эмерсона и Хомякова.

Ап. Григорьев ощущал потребность в создании новой теории критики в результате завершения им «чисто отрицательной работы», то-есть опровержения существовавших и его неудовлетворявших теорий критики, хотя, при этом, и сознавал, что «выполнение положительных задач» будет гораздо труднее, чем выполнение «задач отрицательных». Об этом А. Григорьев писал: — «Из того, что умерла для нас критика чисто-эстетическая, т. е. взгляд на искусство как на нечто от жизни отрешенное, как на особую, резко-ограниченную область, — равно как из того, что несостоятельно оказалась и критика односторонне-историческая, т. е. взгляд на искусство, как на нечто жизни подчиненное, дагерротипно-бессмысленно отражающее жизнь во всем ее случайном и неслучайном, — логически вытекало требование иного рода критики. Логически же обозначилось и общее значение этой критики: взгляд на искусство, как на синтетическое, цельное, непосредственное, пожалуй, интуитивное разумение жизни, в отличие от знания, т. е. разума аналитического, почастного, собирательного, поверяемого данными».

«Существеннейшую разницу» между органической критикой и критикой исторической Григорьев видит в том, что органический взгляд «признает за свою исходную точку творческие, непосредственные, природные, жизненные силы». Стало быть, он, наряду с «умом и логическими его требованиями», опирается на «жизнь и ее органические проявления». Как бы подводя базис под свою органическую критику, А. Григорьев пишет, опережая в этом И. Тэна: — «Развиваются народные организмы, нося в себе следы более или менее отдаленной принадлежности к первоначальному единству рода человеческого, единству не отвлеченному, моменту необходимо существовавшему. Каждый таковой организм, так или иначе сложившийся, так или иначе видоизменивший первоначальное предание в своих преданиях и верованиях, вносит свой органический принцип в мировую жизнь... Каждый такой организм

сам по себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочие жить по законам, ему свойственным».

На основе теории развития народных организмов и строит А. Григорьев свои воззрения о народности русской литературы, о судьбе России, о «почве».

Итак, законченной, разработанной теории органической критики А. Григорьев не дал. Вряд ли можно объяснять это только тем, что силы его были всецело направлены на борьбу с враждебными критическими школами. Можно предположить, что А. Григорьев и по своему характеру, и по самой натуре своей был больше «отрицателем-аналитиком», чем «созидателем-синтетиком». Косвенно он признает это и сам в статье «Несколько слов о законах и терминах органической критики». А в «Моей исповеди», Григорьев, отвечая тем, кто торопил критика с письменным изложением его взглядов, многозначительно замечает: «порешение вопросов по моим принципам так смело и ново, что я не смею еще с неумытым рылом проводить последовательно свои мысли... За высказанную мысль надо отвечать перед Богом».

Не могла поощрять творчества А. Григорьева и обстановка, в которой он жил и работал в годы расцвета своих сил. «Это было время самого сильного господства тех, кого Григорьев называл теоретиками. Вся петербургская литература вторила им самым усердным образом», — говорит Н. Страхов в своих «Воспоминаниях об А. А. Григорьеве». «Самая горестная вещь, — что я решительно один, без всякого знамени», — перекликается со Страховым А. Григорьев. Он сознает, что «минута принадлежит теоретикам», что «минута эта пройдет — но, увь! и мы пройдем». Но если Григорьев и жаловался иногда, что попал в в «струю уходящую», то были у него и минуты, когда он, в такой же тоске, видел «далекие дали». В марте 1858 года он писал Погодину: «Мы люди такого далекого будущего, которое купится еще долгим, долгим процессом. Околеем мы бесславно, без битвы, — а между тем, мы одни видим смутную настоящую даль».

А. Блок находит «черты призвания» во всем облике Аполлона Григорьева: — «Есть постоянное какое-то бледное мерцание за его жизнью; но оно пропадает, всегда тонет в подробностях жизни. Словно так много дыма и чада, что лишь на минуту вырвется пламенный язык; прозрение здесь, близко, мы уже готовы причислить его лик к ликам Грибоедова, Пуш-

кина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Соловьева. Тут бурые клубы дыма опять занавешивают пламень».

Но думается, что время постепенно рассеивает эти «бурые клубы дыма», и перед нами все явственнее выступает облик Аполлона Александровича Григорьева, сказавшего о себе: «прежде всего, я — критик, за сим — человек, верующий только в жизнь».

Е. Шиляев

ЛИРИКА

Утаиваясь от дорог больших,
Идут, как будто стороною, годы
И, словно человек, безмерный стих
Рождается в земную непогоду.

Он медлит в мире, как последний вздох
И вслух земле не сказанное слово, —
Как малая, из самых малых крох,
И капель медленных дождя земного.

СЧАСТЬЕ

Ветка в небе спит, качаясь,
На локте твоём репей.
Тишиной не напивайся,
Слез безжалостных не пей.

Сколько тихости на свете,
Сколько блага на веку.
Все приходят слезы-дети,
Жгут под ельником щеку.

ТУЛЬСКАЯ ВЕСНА

Сколько разных светлых точек
На полнощном небосклоне.
Клейкий маленький листочек
Шевелится в звездном лоне.

Пахнет все водою вешней,
Обнаженных листьев тленьем.
Средь прогалин у скворешни
Умирает снег весенний.

БЕЛАЯ КНИГА

Безрадостной невнятицей потерь
Мы долго мерили свои седины.
И нам теперь открылась эта дверь
В глубины белой Книги Голубиной.

Нам старость новая теперь слышна
Средь млечной седины ее высокой.
Она нужна, как эта седина
Уже белеющая на востоке.

ДРЕВНИЙ ГОЛУБЬ

*«Голубь возвратился к нему
в вечернее время...»*

Бытие VIII.

Тяжелой шубой океана
Покрит холодный мир земной,
И вырастают из тумана
Все волны мира предо мной.

И вечность в волнах этих длится
Под тяжким временем земли.
И ту же ветку мира птица
Несет в земные корабли.

Странник



Счастливое, волнующее слово
Приходит к нам всегда легко дыша.
Оно слететь как лепесток готово
И только ждет, чтоб приняла душа.

А если нет, а если жжет и душит,
Задумано тобой, а не дано
И нарастает все трудней и глуше —
Не соблазняйся: это не оно!



Лк. XIX. 1-6.

Сквозь путаницу веток, сквозь
Тугие листья шелковицы
Тебя узреть мне довелось —
Но как с Тобой договориться?

Иль взгляд Тебя не тронул мой,
Иль в мой порыв Ты не поверил —
Ты не сказал: “Иди домой!
Я посетить Тебя намерен!”

Но дома в каждый звук извне
Я вслушиваюсь с нетерпеньем.
Быть может Ты придешь ко мне
Иначе, без предупрежденья?



У русских есть не только “именины” —
“День ангела” еще у русских есть
И в слове том сокрыта и поныне
Какая-то таинственная весть.

Конечно, ангел с детства нам привычен,
В нем нет для нас чужого ничего
И запросто, не размышляя: “Нынче
День ангела (ты скажешь) моего”.

Но что мы знаем о далеком друге,
О том, что навсегда неуловим,
С которым мы лишь в страхе и в недуге.
Мучительно и сладко говорим?

И есть-ли он в действительности или
Он только наша выдумка и сон?
Но вспомни пули, что тебя щадили
И женщин, от которых был спасен!

А потому, как ожиданье встречи,
Как веру в то, что есть он, сохраним
“День ангела” в свободной русской речи,
Чтоб поздравлять не с именем, а с ним!

Дм. Кленовский, 1968

БРАТСТВО “ПРИЮТИНО”

«Братство» выросло из возникшего в 1881 году небольшого кружка студентов Петербургского университета. Кружок постепенно расширялся знакомством с товарищами, близкими ему по духу и настроению. Сближение привело к мысли превратить общение из временного в постоянное, чтобы выработать общее мирозерцание и поставить себе общие задачи в жизни. Созданное позже на этой основе Братство начало осуществлять эти задачи в просветительной и общественной деятельности.

По мысли и чувству основателей, Братство должно было помочь своим членам сохранить душевное горение и не погрязнуть в житейской суете. Многие были проникнуты народническими настроениями и одно время находились под влиянием Толстого. Но в противоположность Толстому большинство членов Братства считало науку одним из высших проявлений человеческого духа, признавало ценность современной культуры вообще, а также необходимость суда и государства. «Приютинцы» (как современем стали называться члены будущего Братства) были против реакционной политики русского правительства этого времени и стремились к политическим реформам, но не сочувствовали революционному террору.

Братство таким образом заняло свое особое место в развитии русской общественной и политической жизни 1880-х и 1890-х годов.

II

Члены первоначального студенческого кружка — зародыша будущего Братства — перезнакомились друг с другом, еще будучи гимназистами Варшавской первой гимназии. Это были: братья Федор Федорович и Сергей Федорович Ольденбурги, Александр Александрович Корнилов, Сергей Ефимович Крыжановский, Лев Александрович Оболянинов и Н. В. Харламов. В Варшаве же учился князь Дмитрий Иванович Шахов-

ской, но не в первой, а в шестой гимназии. С ним тогда же познакомился А. А. Корнилов.

Из этих лиц, когда они уже стали студентами Петербургского университета, и составился так называемый «Ольденбургский кружок», душой которого сделались братья Ольденбурги и Д. И. Шаховской. Федор Ольденбург и Шаховской поступили на историко-филологический факультет, Сергей Ольденбург — на восточный; Корнилов, Крыжановский и Харламов — на юридический, Оболянинов — на естественный. Ольденбурги и Шаховской приняли деятельное участие в образовании в 1881 году студенческого Научно-литературного общества, председателем которого сделался известный профессор словесности Орест Федорович Миллер, «самоотверженный друг университетской молодежи» (как его назвал С. Венгеров). Это общество было едва ли не первой разрешенной правительством попыткой дать выход студенческой самодеятельности в культурной жизни университета и общению студентов с профессорами.

Стараниями Ореста Миллера были устроены студенческая столовая и касса взаимопомощи. В. А. Поссе, человек радикальных взглядов и отрицательно относившийся к Миллеру за его славянофильство, признает в своих воспоминаниях, что вокруг Научно-литературного общества «группировались культурные силы студенчества всех факультетов».

Очень скоро существование общества поставлено было под угрозу происшедшими в Петербурге студенческими волнениями. Беспорядки эти начались в то время, когда реакционная политика правительства стала усиливаться. Летом 1882 года граф Д. А. Толстой был назначен министром внутренних дел, а Делянов — министром народного просвещения. Разрабатывался новый университетский устав, цель которого была усилить правительственный надзор и за профессорами и за студентами. «Либеральные профессора хорошо знали, что затеянные радикалами волнения идут на руку реакции и всячески старались удержать студенчество от участия в них» (Корнилов).

Члены Ольденбургского кружка были против всякого использования университетов для политических целей — будь то справа или слева. При самом возникновении студенческого Научно-литературного общества им удалось предотвратить попытку консервативных кругов использовать это общество

как оружие борьбы с революционными настроениями студенчества. Теперь Ольденбургский кружок возражал против превращения университета в революционную трибуну. Студенческие волнения завершились большой сходкой 10 ноября 1882 г. «Ольденбурговцы» пришли на сходку, чтобы противодействовать принятию политических резолюций. Радикалы предлагали выйти из университета и устроить уличную демонстрацию. Сделать это им не удалось, т. к. попечитель учебного округа вызвал полицию и войска. Студентам, не принимавшим участия в беспорядках, было предложено немедленно покинуть здание университета. Характерно для «Ольденбурговцев», что они из товарищеского чувства решили остаться, несмотря на свое несочувствие тактике радикалов.

Продержав задержанных студентов в осаде до вечера, так что они проголодались, градоначальник Грессер распорядился вывести их под конвоем в соседний манеж Павловского юнкерского училища. Там всех студентов поочередно переписали. Часть их была арестована и развезена по полицейским участкам, а остальные выпущены на улицу. «Процедура переписки шла довольно медленно», вспоминает Корнилов, «и мы сильно пострадали бы от голода, если бы начальник Павловского училища не прислал нам в манеж юнкерские порции чаю с хлебом».

Из членов Ольденбургского кружка был задержан один только С. Е. Крыжановский. Он в то время имел репутацию «красного». На вопрос полицейского чиновника, — кто устроил сходку, он ответил: «Полиция и попечитель». Крыжановскому пришлось просидеть несколько суток в полицейской части. Оставшиеся на воле члены кружка его там навешали. «Заключенные [там] студенты проводили свое время довольно весело, благодаря добродушному отношению к ним полиции» (Корнилов).

Многие из арестованных студентов были отправлены в ссылку. Из товарищеского чувства Ольденбурговцы оказали им некоторую материальную поддержку.

Во время этих происшествий Ольденбурговцы познакомились и вскоре сблизились с несколькими студентами естественного факультета — В. И. Вернадским, Н. Г. Ушинским и Андреем Николаевичем Красновым, а также с юристом М. П. Свешниковым. В кружок, таким образом, были влиты новые силы.

Научно-литературное общество, к счастью, не пострадало от студенческих беспорядков, а наоборот, развило энергичную

деятельность (о работе Общества подробно говорится в воспоминаниях Гревса «В годы юности», I). Из профессоров и преподавателей, кроме самого Ореста Миллера, близкое участие в жизни Общества принимали И. А. Шляпкин, В. Н. Латкин, Н. Д. Чечулин, М. А. Дьяконов, С. Ф. Платонов и несколько других.

Из студентов едва ли не самыми деятельными членами Общества были члены расширенного Ольденбургского кружка, в особенности братья Ольденбурги, Шаховской, Вернадский и Краснов. На собраниях Общества читались и оживленно обсуждались обширные рефераты на исторические, литературные, философские и естественно-научные темы, а также и краткие сообщения о новых книгах. При Обществе создана была большая библиотека, главным образом по инициативе и трудами Сергея Ольденбурга. Доходы Общества слагались из членских взносов и пожертвований.

Общество быстро росло. Число членов перевалило за триста человек. В Общество стали вступать и студенты-радикалы, сначала подозрительно относившиеся к «правой затее». Один из этих радикалов, Александр Ильич Ульянов (старший брат Ленина), талантливый студент-зоолог, был даже осенью 1886 года избран секретарем научного отдела Общества. В своих воспоминаниях Гревс пишет о нем так: «Близко мы не успели с ним познакомиться; но он возбуждал во всех симпатию и уважение серьезностью и искренностью. Он был молчалив и сдержан, что-то было в нем будто суровое и меланхолическое».

18 января 1887 г. Общество торжественно справило свой пятилетний юбилей. К этому дню Н. Д. Чечулин написал обзор деятельности и роста Общества с его основания. Но, как скоро оказалось, дни его были уже сочтены.

Около времени юбилейного собрания Ульянов отказался от секретарства в научном отделе и вышел из Общества. У него на уме было уже другое — подготовка (вместе с некоторыми товарищами) покушения на Александра III. Как известно, покушение не удалось. 1 марта 1887 г. Ульянов и его сообщники были арестованы и затем казнены. Когда выяснилось, что Ульянов и некоторые его товарищи были членами Научно-литературного общества, правительство решило закрыть Общество. По всей вероятности, некоторые влиятельные люди в правительстве, которые раньше опасались проявления студенче-

ской самодеятельности, теперь ухватились за причастность Ульянова к Обществу (хотя он его покинул за два месяца до покушения) как за подходящий предлог для ликвидации Общества.

Интерес членов Ольденбургского кружка к основным этическим вопросам, а также народнические настроения большинства из них усилились под влиянием душевного кризиса, пережитого тогда Львом Толстым, и появления его «Исповеди». Члены кружка продолжали интенсивно свои научные занятия в университете, но в 1883-84 году у них возник новый, побочный интерес — к изучению народной литературы, а затем и к изданию и распространению ее.

В это время к кружку примкнуло несколько девушек — Анна Николаевна Сиротинина (будущая жена Д. И. Шаховского) и две сестры Тимофеевы, Александра Павловна и Ольга Павловна. Первая из них потом вышла замуж за С. Ф. Ольденбурга. Обе они, как и Сиротинина, приняли деятельное участие в кружке по изучению народной литературы, не совпадавшему с нарождающимся Братством, но в центре которого стояли Шаховской, братья Ольденбурги и Краснов.

Вскоре связи этого кружка расширились благодаря знакомству их с толстовцами Чертковым и Бирюковым, основателями книгоиздательства «Посредник», а также с жившей в Харькове Х. Д. Алчевской, издавшей в сотрудничестве с А. М. Калмыковой известную тогда книгу «Что читать народу». Знакомство с Александрой Михайловной Калмыковой скоро перешло у братьев Ольденбургов, Шаховского и Вернадского в близкую дружбу. Калмыкова была старше их (родилась в 1850 году). В Братство она не вступила. Тогда же Ольденбурги и Шаховской подружились с Б. Э. Кетрицем и Елизаветой Петровной Свешниковой и благодаря этому приняли участие в деятельности петербургского Комитета грамотности.

В 1884 году основу «Ольденбургского кружка» составляли девять человек: Федор и Сергей Ольденбурги, Шаховской, Вернадский, Корнилов, Оболянинов, Краснов, Харламов и Крыжановский. Осенью 1885 года Ольденбурги очень сблизились с молодым историком Иваном Михайловичем Гревсом, с которым члены кружка и раньше встречались на студенческих сходках 1882 года и в Научно-литературном обществе, но как-то тогда не сошлись — может быть, потому, что он был старше их на два курса, а отчасти потому, что был

тогда более близок с радикалами. С Гревсом первый установил дружеские отношения Сергей Ольденбург. Незадолго перед тем Гревс женился на Марии Сергеевне Зарудной — дочери известного деятеля судебной реформы шестидесятых годов.

У Гревсов братья Ольденбурги познакомились с сестрой Марии Сергеевны, Екатериной Сергеевной Зарудной (впоследствии — известная художница, вышедшая замуж за Е. Ц. Кавоса), а также с ее двоюродной сестрой Натальей Егоровной Старицкой. Отец ее Егор Павлович был также видным деятелем судебной реформы. Через Ольденбургов Гревсы, Зарудные и Старицкая вошли в кружок народной литературы, а потом сблизились и с основным кружком. Н. Е. Старицкая вышла замуж за В. И. Вернадского.

Приближалось время окончания членами кружка университетского курса, и им надо было думать о дальнейшей судьбе. Для Вернадского, Краснова и Сергея Ольденбурга вопрос был предпрешен: все трое охвачены были стремлением к научному творчеству и были оставлены при университете для подготовки к профессорскому званию: Вернадский — при кафедре минералогии, Краснов — ботаники, а С. Ольденбург — при восточном факультете. Корнилов и Харламов, по окончании юридического факультета, поступили на правительственную службу в Варшаве. Крыжановский, также окончивший юридический факультет, избрал службу по судебному ведомству и занял должность судебного следователя в округе Новгородского суда.

Сложнее оказался выбор деятельности для Федора Ольденбурга и Шаховского. Федор Федорович в университете усиленно занимался греческим языком и философией, сосредоточившись, в конце концов, на изучении Платона. Он написал кандидатское сочинение на тему «Теория воспитания по Платону». Шаховской был увлечен русской филологией и для кандидатского сочинения выбрал тему «О языке Домостроя». И Федор Федорович и Шаховской были намечены к оставлению при университете, но у обоих стремление к практической деятельности в области народного образования пересилило научные интересы.

Шаховской собирался стать учителем гимназии где-нибудь в провинции, чтобы глубже войти в русскую повседневность. Случай помог ему найти пути деятельности, ближе ему подходящие. Однажды он встретил у К. Д. Кавелина видного уже

тогда тверского земца Ф. И. Родичева (впоследствии депутата всех четырех Государственных Дум), бывшего в то время весьегонским предводителем дворянства. Родичев предложил Шаховскому место помощника предводителя дворянства по заведыванию начальным образованием в уезде. Шаховской охотно принял предложение.

В Весьегонском уезде Шаховской проработал три с половиной года. С первого же года службы ему пришлось вести борьбу со школьной инспекцией. Тверской губернатор собирался его уволить, но после откровенной беседы согласился его оставить. Зато разного рода удары посыпались на учителей, и, в конце концов, Шаховской счел невозможным продолжать земскую службу.

Федор Ольденбург одно время решил сделаться учителем древних языков в какой-нибудь гимназии, но потом ему стало казаться, что это слишком узкая сфера деятельности и что притом он недостаточно к этому подготовлен (настроение, характерное для его необыкновенной скромности и отсутствия самомнения). Выход из положения был найден благодаря знакомству Шаховского с тверскими земцами. Другу Родичева П. А. Корсакову удалось провести Федора Федоровича на должность «педагога» школы Максимовича (женской учительской семинарии в Твери). «Педагог» в школе Максимовича являлся фактически ее директором. Федор Ольденбург отдался всей душой своему делу, вложив в него свой замечательный педагогический талант и посвятив ему всю остальную свою жизнь (умер в 1914 году). Женат он был на Марии Дмитриевне Бекаряковой (родственнице матери И. М. Гревса).

К концу 1884 года члены основного кружка тесно сблизились между собой и стали подумывать — как бы закрепить свою дружескую связь на будущее время, когда они кончат университет. Решено было купить на общий счет маленькое имение, где они могли бы съезжаться хотя бы летом, обновлять таким образом дружеское общение и согласовывать свою общественную деятельность. Предполагалось, что в этом имении каждый из членов кружка в трудный в материальном отношении момент жизни мог бы найти себе временный приют. Поэтому будущее имение тогда же решено было назвать «Приютино». Имение никогда не было куплено, но за членами кружка осталось имя «Приютинцев».

Приютинцы также решили съезжаться вместе каждый год

30 декабря для предварительной встречи Нового Года (31 декабря каждый из них встречал Новый Год со своими родителями).

Значительным событием в развитии Приютинского кружка оказался приезд из Англии в Россию Вильяма Фрея, поздним летом 1885 года. Фрей вернулся в Лондон в феврале 1886 года. Оттуда он переписывался с приютинцами до своей смерти (5 ноября 1888 г.).

III

Фрей родился в России в 1839 году. Настоящее имя его было Владимир Константинович Гейнс (имя Фрея он принял после своей эмиграции в Америку). Еще в юности он поразил своих учителей своими необыкновенными математическими способностями. Отец его, следуя семейной традиции, отдал сына в кадетский корпус, а потом в Дворянский полк. Выпущенный в гвардию В. К. Гейнс, желая продолжать научные занятия, поступил в Академию Генерального Штаба и по окончании ее назначен был лектором высшей математики в Академии. Одновременно он работал в Пулковской обсерватории под руководством известного астронома Струве. Перед ним открывалась блестящая карьера, но он не захотел продолжать службы, так как захвачен был радикальным движением начала 1860-х годов, к которому примкнуло много молодых офицеров. Гейнс вошел в тайное общество «Земля и Воля», образованное кружком Чернышевского и Серно-Соловьевича.

Общение с революционерами привело Фрея в ужас. «Мы заставим всех жить по нашему идеалу — кричат одинаково как консерваторы, так и социалисты», писал впоследствии Фрей о русских политических деятелях его времен. «Режь, бей, вяжи всякого, кто не согласен с нами! Враждующие стороны одинаково нетерпимы, одинаково стремятся к преобладанию посредством насилия, одинаково обязаны удерживать власть при помощи террора... Для нравственного возрождения нужна новая религия».

Чтобы найти эту религию и построить новую жизнь в свободной стране, Фрей в 1868 году эмигрировал в Америку вместе с молодой женой Марией (урожденной Славинской). Приехав туда, он принял американское гражданство и взял себе новое имя.

В Америке Фрей познакомился с «позитивистами» (послед-

дователями Огюста Конта). Основанная Контом «религия человечества» и сделалась для Фрея его новой религией. Фрей несколько переработал учение Конта, внося в него веру в коммунистические общины и требование крайней простоты и умеренности личной жизни и жизненной обстановки.

В эту эпоху многих мятущихся русских людей повышенной чувствительности, мучимых этическими запросами, не удовлетворенных окружающей обстановкой, тянуло в Америку. Вспомним отражение людей этого типа в литературе (Шатов и Кириллов в «Бесах» Достоевского). Достоевский назвал такой подход к жизни «человекобожеством».

В действительной жизни, кроме Фрея, ярким примером людей такого склада были Александр Капитонович Маликов и Николай Васильевич Чайковский. Маликов (1839-1904) в молодости сочувствовал революционному народничеству и состоял в известном в те времена кружке «чайковцев». В 1874 году (Маликов в это время жил в Орле) с ним неожиданно для окружающих произошло духовное перерождение. Вместо революционных идей, вместо «человекобожества», он пламенно стал проповедывать окружавшей его молодежи «богочеловечество». Во имя нравственного начала Маликов отрицал теперь всякое насилие, т.е. самый принцип революции, а признавал лишь пассивное сопротивление злу. В этом смысле он был предшественником Льва Толстого.

«Маликов утверждал, что человек, постепенно совершенствуясь морально... может достигнуть высокого, идеального совершенства, может приблизиться к самому Богу, слиться с Ним, стать Богом... Очищенный человек во время религиозного экстаза ясно ощущает себя лишь атомом огромного вселенского организма и чувствует всю бессмыслицу борьбы частей великого целого между собою» (Т. И. Полнер в Сборнике Титова, стр. 114. Сравни. «История моего современника» В. Г. Короленко, часть III, глава I).

В 1874 году, вскоре после душевного переворота, происшедшего у Маликова, к нему в Орел приехал Н. В. Чайковский и воспринял его идеи о «богочеловечестве». Оба друга и несколько их последователей решили ехать в Америку, чтобы там основать «свободную коммуну» на религиозно-трудовых началах. Осенью 1875 года «богочеловеки» прибыли в Нью-Йорк (их было пятнадцать человек с женами и детьми).

К этому времени Чайковский уже состоял в переписке с

Фреем (приехавшим в Америку на семь лет раньше). Фрей уже основал свою «прогрессивную» трудовую коммуну совместно с американцем Бриггсом, убежденным вегетарианцем. Бриггс обратил в вегетарианство и Фрея и американцев — членов общины. Фрей пламенно принял вегетарианство как одну из основ здоровой и моральной жизни. Коммуна устроена была в южной части штата Канзас, тогда еще мало населенной. Фрей звал Чайковского и его друзей присоединиться к его коммуне.

Чайковский и Маликов отправились из Нью Йорка в Канзас для переговоров с ним. Там их ждало разочарование. Вместо благоустроенной общины они увидели в дикой местности плохо построенный дом, со щелями в стенах. Потолка не было. Крыша протекала. Правда, коммуна обзавелась уже маленькой типографией и издавала газету для пропаганды окрестным фермерам. Фермеры эти жили, конечно, гораздо богаче, чем коммунары. На газету подписались только четыре человека. Неблагоприятное впечатление на приехавших произвели и американские последователи Фрея и Бриггса, малообразованные и мелочные.

Понятно, что «богочеловеки» отвергли мысль о присоединении к коммуне Фрея и основали свою коммуну, купив для этого землю около города Вичита, также в южной части Канзаса. Через некоторое время они убедили Фрея с семейством присоединиться к их общине и переехать к ним.

Дело пошло не лучше, чем в первой фреевской коммуне. Постройки были также плохи. Земля обрабатывалась поверхностно. Продуктов не умели хранить. С женой Фрея случилась беда: на нее упала балка плохой постройки и обезобразила ей лицо. Мужчины старались стать выше жизненных мелочей, но среди них были семейные. Женщины, особенно матери, стали роптать.

Один лишь Фрей не терял бодрости. Коммуна была для него последним словом человеческой мудрости. Надо сократить свои потребности до минимума, необходимого для поддержания жизни и организма, говорил он. Религия человечества учит: жить для других. Это значит жить для большинства, которому излишни и не нужны потребности и предрассудки культуры и цивилизации, выдуманные меньшинством... Надо раз и навсегда отказаться от употребления алкоголя, мяса, чая, кофе, сахара, соли. Все это — излишества, приносящие вред. Для ослабления жадности к пище надо меньше заботиться о ее вкусе, ограни-

чить работу на кухне и стараться, по возможности, питаться продуктами природы в сыром виде.

«Богочеловеки» не смогли выдержать такую коммунальную жизнь больше двух лет. Летом 1877 года Маликов и большая часть других членов общины вернулись в Россию. Чайковский не решился туда ехать ввиду предстоящего суда над «чайковцами» и другими пропагандистами («процесс 193»). Оставив временно жену и дочь в колонии, он отправился в Филадельфию для поисков работы. В конце концов, ему пришлось просить денег у русских друзей на переезд в Европу. Весной 1879 года ему удалось уехать в Париж с женой, а через полтора года он перебрался в Лондон.

Фрей остался на месте, решив продолжать хозяйничать и подождать обратно уехавших. Он уверен был, что вскоре они «образуются» и вернуться. Никто не вернулся. В 1884 году, разочаровавшись в своих надеждах, Фрей, подорвав и свое здоровье и здоровье жены, переехал с ней и детьми в Лондон. Там он продолжал жить в крайней бедности, но, по крайней мере, с большими возможностями для умственной жизни. В Лондоне он вступил в общество позитивистов.

Очутившись в Англии, Фрей начал думать о новых возможностях пропагандировать свои мысли в России. «Этический идеал Фрея, в сущности близко подходивший к евангельской этике, оказался в результате довольно близким к тому учению, к которому пришел в начале 1880-х годов Лев Толстой» (Корнилов). Фрей и решил поехать к Толстому, чтобы лично сговориться о согласовании их мыслей и действий.

Приехав в Россию, Фрей послал Толстому длинное письмо, в котором излагал свою «религию человечества» и критиковал некоторые стороны учения Толстого. Толстой пригласил Фрея в Ясную Поляну для беседы. Фрей приехал к Толстому 7 октября 1885 г. и пробыл в Ясной Поляне пять дней. В оживленных разговорах между собою оба собеседника нашли, что во взглядах их и отношении к жизни много общего. Между прочим, Фрей убедил Толстого в пользе вегетарианства. «Мы оба поняли друг друга», писал потом Фрей Толстому, «мы оба стремимся к одной цели, одинаково работаем за реформу внутри и против реформы, прививаемой извне» (Гершензон, стр. 294-295).

Но полного согласия не было. Толстой признавал, что в «религии человечества» есть созвучные ему мысли, но отказы-

вался принять ее. Фрей, со своей стороны, не мог понять, зачем нужно Толстому называть свое учение христианством. «Если бы я видел в вас человека, признающего божественность Христа... я должен бы был почтительно отойти от вас, не мешая вам преклоняться перед предметом своего обожания... Но вы принесете существенный вред, если по-прежнему будете называть свое учение религией Христа» (Гершензон, стр. 321 и 328).

Фрей произвел на Толстого сильное впечатление. После отъезда Фрея из Ясной Поляны Толстой писал о нем: «Мне всякий день жалко, что его нет. Во-первых, чистая, искренняя, серьезная натура, потом знаний не книжных, а жизненных, самых важных, о том, как людям жить с природой и между собой».

IV

После своей поездки в Ясную Поляну Фрей отправился в Петербург и там стал искать соприкосновения с молодежью, чтобы проповедовать свое учение. Благодаря знакомству приютинцев с такими близкими Толстому людьми, как Чертков и Бирюков, они вскоре познакомились с Фреем.

«Состоялось несколько собраний, в которых приняли участие как члены нашего приютинского кружка, находившегося в тот момент в Петербурге, так и многие члены кружка для изучения и улучшения народной литературы... На этих собраниях Фрей изложил основные догматы религии человечества и старался объединить собравшихся в их признании. Это ему не удалось, но обаятельная личность самого Фрея, его праведная жизнь, совершенно согласная с проповедуемыми им принципами, и нравственная чистота принципов его этики произвели огромное впечатление среди его слушателей» (Корнилов).

Из членов приютинского кружка в это время были в Петербурге братья Ольденбурги, Вернадский и Крыжановский. Фрей особенно тогда сблизился с Ф. Ф. Ольденбургом, а из друзей кружка — с Е. П. Свешниковой и А. М. Калмыковой. С ними троими он потом переписывался, вернувшись в Англию. Сам Фрей однако считал, что лучше всего его понял Д. И. Шаховской, хотя лично они не встретились.

Под свежим впечатлением знакомства с Фреем Ольденбурги, Гревсы, Е. С. Зарудная и Н. Е. Старицкая решили положить начало более тесному, чем Приютинский кружок,

объединению — братству. К этому объединению они сразу заочно присоединили Шаховского, а затем намеревались позвать и других приютинцев.

Шаховского первым осведомил о проповеди Фрей Федор Ольденбург. «Фрей произвел, — писал Ф. Ольденбург Шаховскому в январе 1886 года, — громадное впечатление именно потому, что он выразил вполне определенно и ясно то, о чем мы думали раньше». Шаховской загорелся идеей Братства. В феврале 1886 г. он отозвался на сообщение Федора Ольденбурга большим письмом, обращенным, в сущности, ко всем приютинцам. Письмо это и послужило окончательным толчком к созданию Братства. (Содержание письма изложено в воспоминаниях Корнилова).

Шаховской писал, что революционная молодежь в России, «убивая и стремясь убийством уничтожить теперешнюю жизнь», стремилась, в сущности, «лишь к водворению некоторых внешних форм... У нее не было того, что я называю религиозным чувством и без чего никакая сознательная нравственность невозможна... Теперь требуется не то, теперь требуется братство, как свободное и любовное соединение людей, преследующих одни цели и работающих вместе».

Все это, по мнению Шаховского, надо еще хорошо продумать. «Тут нужна для полного обоснования особая метафизическая система». Необходим не только известный кодекс нравственности, но и настоящая религия. Под религией же Шаховской подразумевал «гармоническое соединение наших знаний, мыслей, представлений и чувств, определяющее мое отношение к миру (т.-е. дающее смысл моей жизни) и дающее практическое руководство к деятельности... Я — часть мира и должен трудиться не для себя, а для мира». Шаховской указывал, что в настоящее время люди созрели настолько, чтобы признавать свою органическую связь с остальными людьми, т.-е. с человечеством, т.-е. приблизился к «религии человечества» как ее понимал Фрей.

Другой основной пункт своего мирозерцания Шаховской выразил так: «Надо поступать нравственно; а нравственно не то, что принесет пользу в данном отдельном случае, а то, что будет полезно, ставши общим принципом поведения».

Большое значение для здоровой нравственной жизни придавал Шаховской физическому труду, считая, что каждый должен отдавать ему часть своего времени.

Сущность своего подхода к философии жизни Шаховской выразил в форме трех основных положений или «аксиом», как он их назвал — до того был он убежден в беспорности их. Эти аксиомы были:

1) Так жить нельзя. 2) Все мы ужасно плохи. 3) Без братства мы погибли.

Исходя из этих «аксиом», Шаховской предложил членам братства руководствоваться следующими правилами жизни:

1) Работай как можно больше. 2) Потребляй (на себя) как можно меньше. 3) На чужие нужды смотри как на свои. Просящему у тебя дай (если ему нужно или может быть нужно) и не стыдись просить у всякого: не бойся просить милостыню.

Восприняв (и видоизменив) некоторые идеи Фрея, Братство отвергло его план коммунального общежития с обязательными для всех нормами труда и правилами повседневной жизни. Еще когда обсуждались планы покупки «Приютина» для летних сборищ членов кружка, на доме предполагалось написать: «Здесь желания свободны».

Учредив Братство, приютинцы (большинство их были семейные) расселились по разным городам по месту деятельности каждого. В Петербурге остались Сергей Ольденбург (сначала и брат его Федор), Краснов и Гревс. Вернадские в 1891 году переехали в Москву. Шаховской, после того как отказался от службы в Весегонском уезде, поселился в Ярославле.

Члены Братства высоко ценили друг друга («радостно, юношески, без чванства и тщеславия», говорит Гревс) и предвидели для многих крупное будущее. Но создались и дружески признанные градации. Сергей Ольденбург говорил Гревсу: «Между нами самый умный — Шаховской, а самый талантливый — Вернадский». Но при этом Сергей Федорович колебался и оговаривал: «Впрочем, не знаю: пожалуй, даже наверно, Федор — умнее всех». Гревс считает, что, во всяком случае, троица — Федор Ольденбург, Шаховской, Вернадский — стояла в центре Братства. Эту мысль выразил и Шаховской в полушуточных стихах: «Что выйдет из нас, когда мы будем большими?» Он изобразил эту тройку в виде одного коллективного лица, назвав его ШахВерБург.

Связанные между собою горячей дружбой и стремлением создать общее мировоззрение, отдельные члены Братства име-

ли каждый свой собственный психический и умственный облик. Даже братья Ольденбурги во многом разнились между собой.

Происходили они из старинного дворянского Мекленбургского рода. Предок их переселился в Россию еще при Петре Великом. Отец их был военный, дослужился до чина генерал-майора и вышел в отставку, чтобы заняться воспитанием своих двух сыновей. И отец и мать Федора и Сергея были люди высокообразованные. Отец умер, когда мальчики готовились к поступлению во второй класс Варшавской первой гимназии (предназначенной для детей русских родителей). Умственное и нравственное влияние отца заложило уже к тому времени прочные основы в душе мальчиков. Мать продолжала поддерживать их. Это помогло им и в гимназии, и в университете, и в их участии в Научно-литературном обществе при университете. В своем отчете о деятельности этого общества за первые пять лет его существования Н. Д. Чечулин так говорит о Федоре и Сергее:

«Хотя они тщательно избегают быть на виду, все знают, что братья Ольденбурги — главные деятели [Научно-литературного] Общества, что в нем без деятельного их участия не совершалось ничего хорошего... Большого участия ко всякому делу и ко всякому члену Общества, большого искусства собирать товарищей к общей работе, побудить каждого трудиться деятельно и охотно, соединить научность с сердечной теплотой, более мягких и симпатичных в личных отношениях людей мы едва ли увидим когда в нашем Обществе».

И. М. Гревс, рисуя в своих воспоминаниях образы членов Братства, говорит, что «несомненным духовным центром группы был Ф. Ф. Ольденбург... Я познакомился раньше с Федором, но затем сблизился особенно тесно с Сергеем, и лишь позже жизнь особенно соединила с Федором, и так осталось до конца его дней... Если Федор и Д. И. Шаховской были в кружке главными творцами новых идей, зиждителями движущей мысли, то Сергея надо назвать особенно сильным провозглашателем творимой группой идеологии и проповедником ее идеалов».

«Сергей любил науку всей душой и надеялся пробить в ней новые пути. Индия и ее культура, особенно духовная, литература, религия, позже искусство, почти с отрочества наметились целью его стремлений. Возможно, что тут первым импульсом было оригинальничание задорной юности: двину

вперед то, что известно немногим. Но постепенно мало исследованная область, арийское востоковедение и преимущественно мир санскрита стал для него предметом глубокой научной страсти... Возбуждало его и самолюбие, окрылял может быть порою и успех. Но тщеславные мотивы не побеждали, искренним носителем подлинного идеализма и принципиальности он оставался всегда».

Наравне с Ольденбургскими ставил Чечулин и Д. И. Шаховского. «Все, кто только видел в [Научно-литературном] обществе деятельность Д. И. Шаховского... с уважением вспоминают этого прекраснейшего, выдающегося человека, который, к сожалению, покинул нас [когда поступил на земскую службу в Весъегонске]... Никто не умел так сочувственно поддержать всякий живой, серьезный интерес другого, проникнуть в то, что может вызвать энергию и работу, никто и не возбуждал с большим рвением других к труду... Когда он был секретарем научного отдела в 83-84 г., он именно сплотил его в тесное дружество и стал душою его».

Д. И. Шаховской был сын гвардейского генерала («своеобразного демократа в душе») и внук декабриста, о чем с детства помнил. Окончив гимназию в Варшаве, Шаховской поступил сначала в Московский университет, но через год перевелся на второй курс в Петербург. Петербург после Москвы показался ему холодным и сухим, но вскоре его обогрело участие в «Ольденбургском кружке». Уже в студенческие годы Шаховской обнаружил крупный научный талант, который тогда ему не удалось развернуть из-за его ухода в общественную деятельность. Как отмечает Гревс, Шаховской «обладал огромной самостоятельностью смелой творческой мысли».

«Со всем тем Дмитрий Иванович в юности полон был и искренней душевной веселости, прекрасной простоты в общении с людьми при очень уже сложном внутреннем мире... Выдающаяся, мощно строившаяся индивидуальность объединилась в нем уже тогда двумя созвучно действовавшими зидительными началами — крупным умом и благородным характером, вдохновенною проницательностью в искании правды, верующей смелостью в осуществлении добра» (Гревс).

Оригинальной фигурой был Лев Александрович Оболянинов, из Варшавской гимназической ячейки Ольденбургского кружка. Отец Оболянинова был помещик Гдовского уезда Петербургской губернии. Окончив юридический факультет,

Лев Александрович поселился в имении отца (потом перешедшем к нему) и занялся хозяйством и земской деятельностью.

Яркую характеристику Льва Александровича («Лельки», как его звали друзья) дал Гревс в своих воспоминаниях: «Он — человек совсем другого склада и лада [чем другие приютинцы]. Но это только наружно. Сродство с душой группы он сам затемнял преувеличением своих материалистических теорий и своего бытового нигилизма, особым подчеркиванием отрицания всяких сентиментальностей и идеалистических бредней». Разногласия свои с друзьями он обычно выражал критическими взглядами, краткими афоризмами, иронической улыбкой и пожатием плеч. Его умунастроение «поддерживалось мнимой суровой внешностью — строгим взглядом, густыми усами и длинной черной бородой, иногда полупрезрительно надувавшимися губами, сквозь которые он пропускал клубы табачного дыма, вносившего также ему присвоенный знак отличия среди всей некурящей компании... В существе же дела он был добрейшая преданная душа, доступная самым нежным движениям (лишь бы только они не выражались вовне, как у других), искренно участвовавшая во всех интересах группы... Обольянинов чувствовал музыку и сам наигрывал самоучкой на фортепиано (один из компании), любил цветы и мог быть чрезвычайно мил и трогателен с детьми».

Другой «варшавянин», Александр Александрович Корнилов, был сыном видного чиновника — управляющего канцелярией варшавского генерал-губернатора. Он умер вскоре после того, как сын поступил в университет.

Александр Александрович, — пишет Гревс, — «был человеком замечательной доброты и дружелюбия, принципиально и серьезно относившийся к жизни с юности, умный и дельный работник. Он вырос в ладной многодетной семье с несколькими младшими сестрами, о развитии души которых радел братски, почти отечески... Я позже узнал его мать, Елизавету Николаевну, которую в настоящем смысле можно назвать превосходным человеком, полным благородства, широты ума и редкого бескорыстия. Она тоже полюбила наш кружок и долго активно входила в его интересы. Повидимому, ее печать покоится на всей большой корниловской семье. Александр Александрович и на друзей переносил свою способность к глубоким интимным отношениям, становившимися почти кровными в его сердце. Он — сам всегда безхитростно скромный к себе —

высоко ставил членов своего дружеского союза и навсегда остался для тех, кто сами сохранили основы своего духа, верным другом в жизни, незаменимым сотрудником в делах».

Окончив юридический факультет в Петербурге, Корнилов служил комиссаром по крестьянским делам в Царстве Польском, а потом переехал в Иркутск, получив должность заведывающего крестьянскими и переселенческими делами при иркутском генерал-губернаторе. На этой должности он оставался до 1900 года. Служба в Варшаве и в Иркутске дала Корнилову превосходное жизненное знакомство с крестьянским вопросом в России, послужив прочным основанием его последующей научной и общественной деятельности.

К варшавской же компании принадлежал и Сергей Ефимович Крыжановский, сын бывшего директора Варшавской первой гимназии, в которой учились и он сам и другие «ольденбурговцы». Е. М. Крыжановский был небезызвестный западнорусский деятель и писатель. Из Варшавы Е. М. переехал в Петербург. Он окончил жизнь службою в Синоде, где был близок к Победоносцеву. Сергей Ефимович был единственным сыном в семье. Мать его рано умерла. Повидимому, внутренним уютом пригрет он не был. Гревс думает, что из отчего дома Сергей Ефимович вынес недоверие к людям вообще, к людской природе, в центре которой видел зло.

«Сам он, — вспоминает Гревс, — живой и здоровый, крупного роста, с громким голосом и сильной широкой рукой, больно сдавливавшей при пожатии, вероятно, искал в дружеских отношениях [с Ольденбургским кружком] выход для раскрытия сил, очень недюжинных, рвавшихся наружу — бившихся в душе, сжатой сухою обстановкой дома. В университете одно время он увлекался радикальными кружками и костюмом своим — косовороткой, высокими сапогами — подчеркивал охватившее его настроение. Но рядом он любил серьезный труд и занимался с большой энергией... Он сам собрал себе хорошую юридическую, отчасти историческую библиотеку. В то время Крыжановский был тесно близок с Ольденбургским кружком и верно искренно любил всех, входивших в него».

Вернадский и Краснов, примкнувшие к основной ячейке Ольденбургского кружка в 1882 году, подружались друг с другом еще на гимназической скамье (кончили Петербургскую первую классическую гимназию).

Владимир Иванович Вернадский был сыном известного профессора политической экономии Ивана Васильевича Вернадского от второго его брака (с Анной Петровной Константинович). Иван Васильевич (1821-1884) был человек либеральных взглядов, широкого кругозора и разнообразных интересов. В своих воспоминаниях, написанных на закате жизни, В. И. Вернадский говорит, что в детстве отец имел на него огромное влияние. Последние годы своей жизни Иван Васильевич был тяжело болен.

Гревс пишет, что уже в его студенческие годы В. И. Вернадский был «очень талантливый будущий научный исследователь, натуралист-эксперименталист, но с философской складкой ума, со склонностью даже, казалось мне, к спиритуализму... Он живо интересовался гуманитарными науками, историей, правом, религией... Начитанность его была поразительна. К постоянной, напряженной мысли В. И. привык уже в гимназии. В университете же он раскрывал положительно редкую рабочую силу — достиг удивительного уровня научной подготовки и, думаю, работал уже самостоятельно. Полный, розовый, сдержанно-приветливый, улыбающийся, он смотрел на людей с уравновешенным, критическим вниманием. Но в движениях его чувствовалась нервность, в словах и тоне проглядывала легкая насмешливость, в действиях иногда род задора... Вернадский слался ярко выраженным индивидуалистом; но он не был никак противообщественным».

В вышеупомянутых воспоминаниях В. И. Вернадский сам говорит, что он не был политиком. «Первое место в моей жизни занимало и занимает научное искание, научная работа, свободная научная мысль и творческое искание правды личностью. Она шла при этом в своеобразной общественной оболочке, наложившей неизгладимый след на всю мою жизнь — в тесном дружеском кружке Братства... Наша попытка не отвечала историческому моменту или, может быть вернее, она была нам не под силу».

Андрей Николаевич Краснов родился в 1862 году в Петербурге, но по происхождению был донской казак. Его предки — казацкие генералы, прославившиеся в качестве сподвижников Суворова, Платова и позже в Крымскую войну. Отец Андрея Николаевича, молодым офицером участвовавший в крымской и польской кампаниях, известен был своими ценными статистическими трудами, относящимися до казацких войск.

«Еще в гимназии, — пишет В. И. Вернадский в своих воспоминаниях о Краснове (Сборник Талиева, стр. 99), — мечты о тропической природе, страстное стремление ее видеть и осязать... охватывали молодого юношу Андрея. Вижу овальное, очень смуглое лицо, с ярко блистающими глазами, с оригинальными медленными, но верными движениями, ясной красивой речью, залетавшей все дальше и дальше в несбыточные мечты под влиянием развертывания своих планов перед слушателями. При этом он откидывался назад, и очень своеобразно и высоко подымалась его голова. Он всегда был одной из тех натур, для которых обсуждение своих мыслей и планов и их развертывание перед другими являлось одной из форм творческого мышления. Об этих планах он мог говорить часами, и здесь в беседе у него рождались и формулировались мысли и желания».

В отличие от большинства членов Братства, позже вошедших в конституционно-демократическую партию, Краснов не придавал значения образу государственного устройства. «Мне лично, — писал он Вернадскому в 1888 году, — совершенно безразлично, кто будет управлять Россией... Независимо от формы правления, только тогда государство и народ будут благоденствовать, когда государственная машина будет состоять из людей честных и любящих свое дело, преданных ему... Что же делать? — спросишь ты. По-моему — готовить людей, желающих блага России, понимающих, в чем состоит народное благо, и знающих этот народ... В России это может сделать энергичная горсть».

Вместе с тем у Краснова было глубокое чувство целостности России и необходимости защиты ее права существования в мире. С годами у него развилось острое сознание немецкой опасности — и внешней и внутренней. Последнюю он видел в растущем «немецком засилье» — все увеличивающейся роли немецкого капитала и немецких предприятий в русской промышленности и давлении не ассимилированной части русских немцев на правительственные круги. По мнению Краснова, «немецкое засилье» возрастало при поддержке русского правительства, отчасти по близорукости его, но отчасти и по измене некоторых кругов интересам русского народа. «Он весь был в ужасе, страхе, негодованиях, преувеличениях, — пишет В. И. Вернадский, — принимал логические, возможные следствия за реальные факты». Как оказалось впоследствии,

тогдашние чувства и мысли Краснова во многом были пророческими.

С первого же университетского курса Краснов предался своей страсти к путешествиям, которая сыграла такую видную роль во всей его жизни. В 1885 году он совершил большую экскурсию в калмыцкие степи, а в 1886 — большую и очень успешную поездку в Тянь-Шань. В следующем году он выдержал магистерский экзамен и получил от университета заграничную командировку в Европу для окончания своего научного образования.

Иван Михайлович Гревс вошел в Братство позже других, но сделался верным его членом до конца своей жизни. Отец Ивана Михайловича, Михаил Михайлович, был потомком английского выходца, поступившего на русскую службу еще при Петре Великом. В молодости Михаил Михайлович был военным, проделал всю Крымскую кампанию 1854-55 гг., был ранен во время осады Севастополя и вышел в отставку в чине поручика по окончании войны. Всю свою остальную жизнь он провел в своем небольшом имении в Воронежской губернии. Был человек просвещенный и любитель чтения.

Женился он на Анне Ивановне Бекаряковой, которая занялась воспитанием их троих детей. Иван (родился в 1860 году) был старший. Первоначальное обучение Иван Михайлович получил дома, и еще в детском возрасте в нем развилась любовь к чтению. В 1872 году мать повезла детей в Петербург. В сентябре 1873 г. Иван поступил в III класс Ларинской мужской гимназии. Преподавание там было тогда на низком уровне за исключением учителя русского языка и словесности, замечательного педагога В. П. Острогорского. Среди одноклассников Ивана Михайловича был сын Н. Г. Чернышевского, Михаил, через которого Иван Михайлович подпал под влияние радикальных идей.

В 1879 году Иван Михайлович поступил в Петербургский университет, где долго не мог определить круг своих интересов, пока не погрузился в изучение Средневековья под руководством знаменитого византиниста В. Г. Васильевского.

В течение последних лет гимназии и студенческих лет Иван Михайлович сблизился с народофильскими кругами, среди которых, после их «роковой победы» (выражение Гревса) 1 марта 1881 г. и казни цареубийц, наступила полная деморализация. «Царила какая-то жуткая пустота». Участие в

их кружках противоречило мягкому темпераменту Ивана Михайловича и его уважению к науке и культуре, но у него долго не хватало решимости вырваться из душевной атмосферы. С детства любивший Тургенева, Иван Михайлович стыдился прослыть «либералом-постепеновцем». Помогло ему участие в Научно-литературном обществе и знакомство с «Ольденбургским» кружком.

По окончании университета Гревс был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию и вместе с тем начал свою педагогическую деятельность в средней школе.

В 1888 году Вернадские познакомились в Париже с Александрой Васильевной Гольштейн (рожденная Баулер, по первому мужу — Вебер). Знакомство скоро перешло в близкую дружбу. Вслед затем подружился с Александрой Васильевной и еще несколько приятинцев (Гревс, Шаховской, Сергей Ольденбург). Уютная квартира Гольштейнов сделалась как бы пристанищем для приятинцев во время их приездов в Париж.

Александра Васильевна и второй муж ее, Владимир Августович Гольштейн, в молодости были последователями Михаила Бакунина и даже участвовали в одном из неудачных восстаний итальянских бакунинцев. После этого им пришлось бежать во Францию. В Париже оба они постепенно отошли от анархизма.

Александра Васильевна (родилась в 1850 году, умерла в 1937) была яркой и богато одаренной личностью; в частности, у нее был большой литературный талант. В Париже она была знакома с Лавровым и другими русскими эмигрантами, но у нее бывали и приезжие из России ученые, общественные деятели, художники и поэты. Была она хорошо знакома и со многими — молодыми тогда — французскими поэтами и художниками.

Именно у Гольштейнов В. И. Вернадский лично познакомился с известным историком и украинофилом М. П. Драгомановым, с сочинениями которого он еще с юности был знаком. Драгоманов и Вернадский сошлись сразу и очень близко. После первого же длинного разговора с Вернадским Драгоманов упрекнул Александру Васильевну: «Очень жалко, что вы не сказали мне, что знаете таких русских людей [приятинцев] — если бы я знал их раньше, я бы не уехал в Болгарию, а работал бы с ними [в России]».

В лице А. В. Гольштейн Братство приобрело верного друга

в Париже, но в России от него отошло несколько старых его членов. Довольно быстро охладел к Братству Ушинский. Постепенно ослабели связи с Братством Харламова, жившего в Польше, хотя лично у него остались с приютинцами хорошие отношения, которые потом подкрепились женитьбой его на одной из сестер Корнилова.

Понемногу отошел от Братства и Краснов. Он был слишком определенный индивидуалист, чтобы принимать участие в выработке общего с друзьями мирозерцания. К тому же, из-за его постоянных научно-исследовательских путешествий, часто длительных, он и фактически редко имел возможность принимать участие в беседах Братства. В 1899 году он был назначен профессором Харьковского университета на только что тогда открытую, первую в России кафедру географии и переехал в Харьков. Отделившись от Братства, Краснов сохранил близкие дружеские отношения с В. И. Вернадским и продолжал хорошо относиться к некоторым другим приютинцам.

Болезненно пережит был приютинцами полный разрыв с ними С. Е. Крыжановского. Этические идеи кружка стали казаться ему наивными и даже вредными мечтаниями. В противоположность руководящим членам Братства, все более склонявшимся к подготовке либеральных реформ, Крыжановский все более убеждался в необходимости для России сильной монархической власти.

Разошедшись политически с друзьями юности, Крыжановский всегда выражал свою радость при случайных встречах с некоторыми из них и всегда готов был оказать им услуги. Кажется, только один Гревс продолжал время от времени видеться с Крыжановским. «Тянула старая симпатия, и все думалось: не окончательно же избрал он новый путь. Кроме того, — пишет Гревс, — я дружен был с его женой (М. И., рожденной Щ-ской), с которой у нас было много общих литературных вкусов и художественных созвучий в области почитания французской культуры». Гревс отмечает, что хотя Крыжановский при их последних свиданиях часто бранил приютинцев за их деятельность, он никогда не осуждал Федора Ольденбурга. «Его дух, даже и в моменты обострения разногласий, склонялся перед неотразимостью морального обаяния Федора».

Гревс считает, что в переходе Крыжановского в правительственный лагерь большую роль сыграло его сильное честолюбие и стремление к власти. Крыжановский вложил в

административную работу «свой выдающийся ум и редкую трудоспособность» (выражение Гревса). Цenia власть, Крыжановский добивался ее прямыми путями, а не закулисными интригами. Издатель его воспоминаний пишет, что он «чуждался того, что называется светом и обществом, сторонился его кругов и лиц, которые имели или которым приписывали закулисное влияние на судьбу людей и их служебную карьеру».

Вершины власти — председательства в Совете министров или хотя бы министерского поста — Крыжановский не достиг. Повидимому, это было результатом нерасположения к нему придворных кругов, вызванное отчасти его репутацией «красного» во время его молодости. Позже, во время всемогущего влияния Распутина, Крыжановский отказался идти к нему на поклон.

(Продолжение следует).

Г. В. Вернадский

БИБЛИОГРАФИЯ

- Батурицкий, В., «Гейнс, В. К.» [Вильям Фрей], Русский Биографический Словарь, том «Гааг-Гербель», стр. 355-359.
- Баулер, А. В. [Гольштейн], Воспоминания о М. П. Драгоманове (Новый Журнал, 8, стр. 321-333).
- Вернадский, В. И., Автобиография, «Материалы для биографического словаря членов Академии Наук», I (1915), стр. 146-156.
- Вернадский, В. И., Из воспоминаний. Первый год Украинской Академии Наук. Рукопись 1943 года. Английский перевод в «Анналах» Вольной Украинской Академии Наук в Нью-Йорке (в печати).
- Гершензон, М., Вильям Фрей (Русские Пропилен, I, 1915), стр. 276-302.
- Гревс, И. М., В годы юности, I-II, Былое, № 12 (1918), книга 6, стр. 42-48 и № 16 (1921), стр. 137-166.
- Гумилевский, Л., Вернадский, 2-ое издание (Москва, 1967).
- Кайданова (Берви), Очерки народного образования в России и СССР, I (1938) (напечатано, повидимому, в Эстонии).
- Корнилов, А. А., Воспоминания о юности Ф. Ф. Ольденбурга, Русская Мысль, 1916, август, стр. 49-86.
- Короленко, В. Г., История моего современника. Подготовка текста и примечания А. В. Храбровицкого (Москва, 1965).
- Крыжановский, С. Е., Воспоминания (Берлин, без даты).
- Мильков, Ф. Н., А. Н. Краснов — географ и путешественник (Москва, 1955).

- Неаполитанская, В. С. и Линь, А.,** «В. И. Вернадский, Мысли и замечания о литературе и искусстве», Пути в неизвестное, 6 (Москва, 1966), стр. 411-430.
- Ольденбург, С. Ф.,** Автобиография, «Материалы для биографического словаря членов Академии Наук», II (1917), стр. 54-62.
- Поссе, В. А.,** Мой жизненный путь. Дореволюционный период (Москва-Ленинград, 1925).
- Скржинская, Е. Ч.,** И. М. Гревс (биографический очерк). Приложение к посмертному изданию книги И. М. Гревса «Тацит» (Москва-Ленинград, 1946).
- Талиев, В. И.,** «А. Н. Краснов» (сборник статей и материалов) (Харьков, 1916 [Сборник Талиева]).
- Титов, А. А.,** «Н. В. Чайковский». (Сборник статей и материалов) (Париж, 1929) [Сборник Титова].

РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАПОВЕДНИКА ИМЕНИ БЕРΙΑ

Депутатам Верховного Совета УССР. От политического заключенного МОРОЗА, Валентина Федоровича. (Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п/я 385/11).

Погоня кончилась. Беглец вышел из кустов: «Сдаюсь, не стреляйте! Оружия не имею!». Преследователь подошел почти вплотную, деловито оттянул затвор автомата и одну за другой всадил три пули в живую мишень. Раздались еще выстрелы: это два других беглеца, которые тоже сдались, были расстреляны. Тела вынесли на шоссе. Овчарки лизали кровь. Как всегда, жертвы были привезены и брошены у ворот лагеря, на страх другим. И вдруг трупы зашевелились: двое были живые. А стрелять уже невозможно: вокруг люди.

Это не начало детективного романа. Это — не история о беглецах из Бухенвальда или с Колымы. Это случилось в сентябре 1956 г., уже после того, как XX съезд осудил культ личности, а критика сталинских преступлений шла полным ходом. Все написанное здесь может подтвердить Альгирдас Петрисявичус, который находится в лагере № 11 в Мордовии. Такие случаи были будничным явлением.

Этот документ исключительно ценен потому, что рассказывает о послесталинских теперешних советских концлагерях. Автор его — Валентин Федорович Мороз, молодой ученый, историк, украинец был арестован в Ровно в 1966 году вместе с группой украинских интеллигентов и приговорен к 7 годам строгого заключения в концлагере. Мы печатаем этот документ с некоторыми сокращениями. Мы получили его с оказией из СССР в русском оригинале. По-английски этот документ выпущен отдельной брошюрой вместе с «Открытым письмом Вяч. Черновила первому секретарю компартии Украины П. Шелесту»: “Voices of Human Courage.” Association for Free Ukraine, Inc. New York. 1968. РЕД.

Неширокой полосой вытянулась с запада на восток зеленая Мордовия. Зеленая на карте, зеленая в действительности. Посреди славянского моря — островок звучных мордовских названий: Виндрой, Явас, Потьма, Лямбир. В северо-западном углу — Мордовский государственный заповедник. Здесь царит закон, охота строго запрещена. Но есть еще одна охота, не обозначенная ни на каких картах, где охотиться можно круглый год. На людей.

Если бы составить точную карту Мордовии, северо-западный угол ее пришлось бы разделить на квадраты, разгороженные колючей проволокой и усеянные сторожевыми вышками. Это мордовские политические лагеря — край колючей проволоки, овчарок и охоты на людей. Здесь, среди колючей проволоки, вырастают дети. Их родители после службы косят сено и копают картофель. «Папа, был шпион? А что ты нашел?» Затем они подрастут и усвоят первую житейскую мудрость этих краев: «Лагерь — это хлеб». За пойманного беглеца выдают пуд муки. В алдановских лагерях было проще: якут приносил голову и получал порох, соль, водку. Как у даяков острова Борнео. Только голову приносили не вождю, обвешанному монетами из человеческих зубов, а майору или капитану, который учился заочно в университете и читал лекции о законности. В Мордовии от такой традиции пришлось отказаться: слишком близко Москва. Попадет чего доброго такой трофей в руки иностранного корреспондента — попробуй доказать, что это фальшивка, выдуманная желтой прессой.

Трех литовцев расстреляли, хотя они не были приговорены к расстрелу. Ст. 183 УК позволяет карать за побег тремя годами заключения, а ст. 22 УК УССР даже запрещает «причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство» заключенных. Суд Литовской ССР (суверенного, согласно конституции, государства) разрешил кагебистам содержать их в изоляции — не больше.

Украина — тоже суверенное, согласно конституции, государство, которое имеет даже представительство в ООН. Ее суды осуждают тысячи украинских граждан и высылают их... за границу. Небывалый в истории прецедент: государство высылает заключенных за границу. Может быть, на Украине нет места для лагерей, как в княжестве Монако? Но ведь находится место для миллионов русских переселенцев — а вот для политзаключенных украинцев нет места на родной земле. Тысячи

украинцев увезли на восток — и их проглотила неизвестность. Проглотили подвалы Соловков, пески Мангышлака, затем «сталинские стройки» — пирамиды XX века, проглотившие миллионы рабов.

Уровень цивилизованности общества определяется тем, как оно заботится о судьбах своих граждан. Катастрофа в бельгийской шахте засыпала несколько десятков итальянцев-эмигрантов. Италия вспыхнула протестами, посыпались правительственные ноты, парламентские запросы. На Украине тоже есть парламент — Верховный Совет УССР. Я не знаю, есть ли там люди, которые помнят о своем праве делать запросы правительству. Я не знаю, помнят ли эти люди о каких-нибудь правах депутата, кроме права поднимать руку при голосовании. Но я знаю, что Верховный Совет УССР — согласно конституции, высшая власть на Украине. Она поручила одной из подчиненных инстанций — КГБ — арестовывать, судить и распоряжаться дальнейшей судьбой обвиненных в «антисоветской деятельности».

Давайте, уважаемые депутаты Украинского Парламента, хоть раз отложим в сторону разговоры о свиноматках, о бетономешалках и о народнохозяйственном эффекте использования суперфосфата. Пусть эти проблемы решают специалисты. Давайте хоть раз оставим страны Сладкой Зевоты, переселимся в Мордовию и разберемся: а) кто эти люди, вырванные из нормальной жизни и отданные в безраздельное распоряжение кагебистов; б) кому препоручили судьбу этих людей.

В 1958 г. преподаватель философии Фрунзенского медицинского института Махмуд Кульмагамбитов (находится в лагере № 11) принес в ректорат заявление: прошу дать расчет. Причина? Несогласие с программой преподавания. Это восприняли как сенсацию. Табун карьеристов, которые наперегонки проталкивались к корыту, бросили под ноги совесть, достоинство, убеждения, лишь бы взобраться выше и перехватить у соседа добычу, никак не могли понять: как это человек может отказаться от 1200 рублей только потому, что у него изменились взгляды? Кульмагамбитов стал рабочим. И вот в 1962 г. его арестовали. Суд в Кустанае приговорил его к семи годам заключения и трем годам ссылки за «антисоветскую деятельность». В чем же она проявилась? Главным свидетелем обвинения был начальник отдела кадров треста «Соколоврудстрой» Махмудов. Единственно, что он мог сказать в суде, были слова Кульмагам-

битова: «Не хочу преподавать то, во что не верю». Так ответил тот на вопрос: «Почему вы не работаете по специальности?» Другие обвинения были такие же. Да и следователь признался: «Вообще-то тебя судить не за что, но у тебя **опасный образ мыслей**». Случай типичный, будничны́й в практике КГБ. Не уникальный по откровенности произвола. Как правило, кагебисты стремятся создать хотя бы видимость «антисоветской деятельности». Но здесь, в далекой провинции, даже это не посчитали необходимым сделать и признали, что Кульмагамбитов был осужден **за взгляды**. Тысячи и тысячи людей судят по этой схеме, хотя «обыгрывают» дело тоньше. Статья 125 Конституции СССР провозглашает свободу слова, печати, манифестаций и организаций. Статья 19 Декларации прав человека, принятой ООН, говорит о «свободе искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Таким образом, статья 62 УК УССР есть ничто иное, как нарушение вышеуказанных законов. Формулировка «агитация или пропаганда, проводимая с целью подрыва или ослабления советской власти», в условиях, когда кагебисты сами определяют степень «подрывности» материала, служит неограниченному произволу.

Я и мои товарищи осуждены за «пропаганду, направленную на отделение Украины от СССР». Но статья 17 Конституции СССР ясно говорит о праве каждой республики выйти из состава СССР. Право каждого народа на отделение зафиксировано в Пакте о гражданских и политических правах человека, принятом 21 сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

КГБ очень любит словосочетание «националистическая литература». Но что значит это выражение и где критерий определения «националистическая»? Еще недавно произведения Олеса, Гринченко, Зерова считались «националистическими» — теперь они уже не националистические. Мыши еще не изгрызли брошюр, в которых «теоретики» типа Маланчука называли Грушевского «злейшим врагом украинского народа», а «Украинский историчный журнал», 1966, № 11, считает, что это ученый «с мировым именем» и цитирует правительственное постановление, где говорится о заслугах Грушевского перед Украиной. Произведения Грушевского и Виниченко готовятся к печати. Где же все-таки критерий?

В том-то и дело, что никакого критерия, опирающегося на фундамент логики, у кагебистов не было и нет. Они пользуются

старой сталинской линией по отношению к украинской культуре: «Дави, что можешь и не можешь».

Можно сделать вывод: люди, осужденные за антисоветскую агитацию и пропаганду, — это инакомыслящие, либо просто мыслящие, духовный мир которых не поместился в прокрустово ложе сталинских стандартов, старательно охраняемых кагебистами. Это те, кто решился воспользоваться правами, провозглашенными конституцией, кто повысил голос против позорного засилия КГБ, против нарушения конституции. Это те, кто не может усвоить рабскую мудрость с двойным дном, которая велит слова конституции «право на выход Украины из СССР» читать: «молчи, покуда цел». Разберемся теперь, кому отдана монополия «перевоспитывать» нестандартных.

Потомки Берия и Ежова

Характеристика человека или среды всегда может грешить субъективизмом. Поэтому всегда лучше иметь дело с автохарактеристикой. И очень хорошо, что автор этих строк располагает пышным букетом автохарактеристик, данных кагебистами себе и своей системе. Кагебисты не скупились на слова и вообще не церемонились в разговорах с заключенными, будучи твердо убеждены, что их слова не вылетят за наглухо обитые двери кабинетов, что ледяной ужас молчания, на котором они соорудили свою Голгофу, никогда не разморозится. Но всякий лед когда-нибудь тает.

Где корни КГБ? Если мы пройдем до конца теми тропами, которыми спускались в нашу действительность кагебисты, то очутимся в кошмарных дебрях сталинских джунглей.

По Харцызскому избирательному округу Донецкой области депутатом в украинский парламент избран генерал Шульженко, заместитель председателя КГБ при Совете Министров УССР. Где сделал свою карьеру этот парламентарий? Чтобы в 1967 году стать генералом КГБ, надо быть бериевским лейтенантом или капитаном. Чем занимались капитаны КГБ в 1937 г.? Убивали людей за невыполнение нормы (или просто для забавы) на Колыме. Это уже ни для кого не секрет, об этом пишут московские журналисты. На Украине они расстреливали невинных людей **через три дня** после ареста. Послушай их — во всем виноват Берия, они же только исполнители приказа. Точно такой же аргументацией оперировали адвокаты на Нюрнбергском процессе. Получалось, что во всем виноват

один Гитлер. Но номер не прошел. В немецком языке появилось даже понятие «убийца за письменным столом». Не сомневаюсь, что когда-нибудь оно получит права гражданства и в украинском языке.

Быть может, кагебисты изменились, стали иными? Нет. Они сами с гордостью считают себя потомками Сталина. Уполномоченный украинского КГБ в мордовских лагерях капитан Круть заявил мне: «А какие у вас претензии к Сталину? Ну, были отдельные недостатки, но в целом он заслуживает высокой оценки». А в разговоре с Михайлом Горынем Круть откровенно сожалел: «Жаль, что мы в Мордовии, а не на Севере». Начальник следственного отдела грузинского КГБ Надирадзе сказал в 1963 году поэту Заури Кобаля (находится в лагере № 11) во время следствия: «Ты знаешь, что я был здесь и в 1937 году? Имей это в виду!»

Теперь они не носят «сталинок» и заочно «учатся» в вузах. Обучение заочное в полном смысле слова. Зачетную книжку приносят в институт, и «профессура», с колыбели загипнотизированная словом «КГБ», ставит оценку, не видя студента в глаза. Представитель Ивано-Франковского КГБ Казаков признался мне: «Вот мы здесь говорили о тоталитаризме. Но ведь я не тотализатор». А уполномоченный украинского КГБ в лагере № 11 Горащенко расправился одним махом со всеми доводами Масютко относительно нерешенного национального вопроса на Украине: «Вы говорите, национальный вопрос. Да если вдова обратится к председателю колхоза за соломой — разве ж он откажет?» И этим интеллектуалам поручено безапелляционно решать вопросы, которые даже в специальных журналах считаются дискуссионными.

Казаков, Круть и кагебист из Киева Литвин «перевоспитывали» меня втроем: «Ну, чего тебе было нужно? Имел хорошую работу, квартиру...» И несколько часов доказывали, что у человека нет ничего, кроме желудка и столько-то метров кишок. Идея? Защита Украины от русификации? Тут для многих собеседников разговор явно отрывается от реальной почвы и переносится в сферу детских сказок.

Идея... Конечно, в книгах об этом много пишут, да и вообще не принято говорить откровенно, что ты безыдейный. Но чтобы идея действительно была мотивом деятельности — такого они в своей среде не встречали.

Михайло Горынь слышал в львовском КГБ: «Сегодня день

чекиста. Какой день чекиста? Зарплату дают». Ну, а если уж говорить о ней серьезно, то это миф, которым кто-то одурманивал людям голову и который отвлекает человека от нормального существования, покоящегося на трех китах: деньги, властолюбие, женщины. А идея — это разновидность психического расстройства, не совсем, правда, понятного, но с ним приходится считаться как с фактом, наряду с тремя остальными, нормальными и понятными. Капитан Козлов (Ивано-Франковский) изложил мне это так: «Одного покупают за деньги, другого — женщинами, а некоторых ловят на идею». Чтобы идея **самостоятельно** зародилась в человеческой голове — такое не допускается. Вот люди, которым поручено «регулировать» духовную жизнь общества.

Было бы наивно считать это состояние вещей случайным «нарушением социалистической законности», отступлением от нормы. Наоборот — это норма на определенных этапах развития общества. Порядок, при котором поэт получает каталог дозволенных образцов, а художник — список дозволенных красок, имеет крепкие корни в прошлом, является порождением определенных сил и отношений. На наших глазах силы эти постепенно тают, а отношения перестают быть нормой общения между людьми. Кагебисты чувствуют это и всю вину сваливают на Хрущева, якобы свалившего идолов, которым когда-то поклонялись без раздумий. С таким же успехом можно считать петуха автором утра, но эта истина чересчур велика для того, чтобы уложиться в черепные коробки генералов и майоров КГБ.

«Сталин был — так порядок был»

Эти слова капитана Володина, сказанные им на допросе Масютко во Львове, дают больше, чем целые тома, для уяснения генезиса КГБ и роли, исполняемой им теперь.

Порядок бывает разный. Когда весной пробуждаются реки и несут на себе хаос ледяных обломков — это не что иное, как порядок, четкая закономерность, без которой невозможен дальнейший ход жизни. И бывает порядок кладбищенского покоя, достигнутый ценой умерщвления всего живого. Так и в обществе: бывает стабилизация, достигнутая благодаря гармоническому уравниванию всех общественных сил и факторов, и есть — «порядок», зиждящийся на их уничтожении. Такого порядка достичь нетрудно, однако, уровень зрелости

народа измеряется не им, а умением достичь общественной стабилизации, оставляя при этом максимальный простор для творческой деятельности индивидуума, которая является единственной силой прогресса. История прогресса — это история развития личности. Так называемая масса ничего не создает — это строительный материал для истории. «Все достигнутое деятельностью разума должно созидаться в голове отдельного человека... Только возбуждение низшей неразвитой степени, которое можно вообще назвать настроениями, возникают, как эпидемии, одновременно у многих личностей и находятся в соответствии с умственным обликом народа. Умственные завоевания — дело отдельных личностей» (Рацель).

Возникновение нового (прогресс) возможно лишь как переход через существующую норму, как появление ранее не существовавшего. Сама природа творчества зиждется на небывалом, на неповторимости, а носителем последней является индивидуум. Каждое индивидуальное состояние охватывает **одну** грань всеобъемлющего, безграничного бытия. Грань неповторимую, которую может отразить только эта личность, и никакая иная. Чем больше этих граней, тем более полную картину мира мы имеем. В этом заключается ценность личности; с исчезновением каждой индивидуальной точки зрения безвозвратно теряется одна из возможностей, а в миллионногранной мозаике человеческого духа перестает сиять еще одна грань.

В обществе были и будут силы, которым невыгодно развитие, для которых сохранение статус кво является гарантией сохранения их привилегий. (Яркий пример — Сталин в прошлом и сталинисты, пережившие его). Однако, время не стоит на месте, сегодня через 24 часа превращается во вчера — и силы, противящиеся изменениям, всегда защищают вчерашний день. Но кто же признается, что он идет против течения могучей реки, называемой историей? Поэтому все стандартизаторы на разных уровнях повторяли одно: «изменения разрушают порядок, разрушают общество». А поскольку зерно всякого изменения скрывается в неповторимости индивидуума, в первую очередь старались стандартизировать его, убить в нем оригинальность. Полностью достичь этого невозможно. Однако, степень стандартизации индивидуума всегда была мерилom мощности тормоза, находящегося в распоряжении сил застоя.

Но вся суть в том, что изменения разрушают отнюдь не общество, а только те общественные нормы, которые устарели и стали тормозом. Противопоставлять эволюцию — традиции — недопустимо. Эволюция — не отрицание традиции, а ее естественное продолжение, живой сок, не дающий ей окостенеть.

«Единство и однообразие — это разные вещи» (Ф. Бэкон). Для достижения единства вовсе не обязательно однообразие. Вот место, где легко поймать за руку любого деспота при подтасовке карт, когда он пытается поставить знак равенства между единством и однообразием. Точка зрения каждого деспота, которую он хочет навязать в виде «истины», столь же индивидуальна, как и все другие, и имеет право на существование наравне с другими. Сохранение такого порядка, когда все точки зрения должны нивелироваться и сливаться в прокрустовом ложе «истины», провозглашенной великим далай-ламой, нужно вовсе не обществу, а самому далай-ламе, для которого развитие означает гибель.

Исследователь Африки Сегели пишет об африканцах: «Если вождь любил охоту — то все его люди разыскивали себе собак и вместе с ним ходили на охоту. Если он любил музыку и танцы — все проявляли склонность к этому развлечению. Если же он любил пиво — все напивались. Вожди платили своим подхалимам. Так, у всех племен бечуанов имеются люди, владеющие искусством веселить слуг своего вождя хвалебными песнями во славу его. Они развивают при этом красноречие и используют множество образов: они искусны в танцах с боевым топором и арбузом-бубенцем. Вождь вознаграждает сладкие беседы быком или овцой. Эти песни, до бесконечности повторяющие одну и ту же тему, занимают, к сожалению, первое место в поэзии негров».

Если бы не слово «негры», можно было бы подумать, что речь идет о нашем недавнем прошлом. Песни с боевым топором, бесконечные повторяющиеся перед троном вождя, — как все это знакомо нам с детства!

А если вспомнить, как подобострастно подхватывали каждое оброненное слово не только Сталина, но и Хрущева, если вспомнить, что даже сборник афоризмов «В мире мудрых мыслей» был наполнен не всегда трезвыми разглагольствованиями Хрущева, то придется с сожалением признать, что африканцев мы оставили далеко позади. «Наш народ такой: стоит моргнуть глазом — сразу поймет!» — гордился Хрушев.

Но как утвердить деспотизм в XX веке среди народов, для которых носитель власти с незапамятных времен перестал быть богом и является просто первым среди равных, личностью, избранной для исполнения определенных функций? Как утвердить деспотизм каменного века в душе украинца, который уже в средние века избирал и свергал кошевого и сам мог стать кошевым, который произвел на свет философию Сковороды — этот гимн человеческой личности с ее девизом «познай самого себя»? Философию, в которой «Я» — основа всего, даже Царства Божия, и даже сам Бог — ничто иное, как полноценное «Я». «Кто познал себя, тот нашел желанное сокровище Божье. Источник и воплощение Его нашел в себе самом». «Истинный человек и Бог — одно и то же».

Как принудить современного художника, которому кап-рал-деспот представляется просто неполноценным существом, исполнять танец с боевым топором перед его тронном?

Хрущев никого не боготворил, он даже был у людей посмешищем — и все же на одно мановение его пальца бежали десятки холоуев и напрягалась система «рычагов». Как это удавалось? Очень просто. Когда боготворение проходит, в силу вступает грубое принуждение. Только принуждением можно заставить современного человека терпеть деспота. Чем больше общество по мере развития в нем личности противится попыткам закрепощения, тем больше усилий должна мобилизовать деспотия, чтобы удерживать на поверхности нормы, раньше существовавшие «по инерции»; наконец, она теряет черты патриархальности и превращается в спрута, сковывающего малейшие движения общественного организма. В XX веке появляется неслыханная прежде практика контроля за всеми проявлениями общественной жизни, в том числе даже семейной. Весь жизненный путь человека — от колыбели до гроба — находится под контролем. Стандартизуется даже отдых: отклонение от стандартного культпохода в музей отмечается подозрением. Деспотические формы становятся все более гнусными и вырождаются в Освенцимы. Некоторые люди склонны видеть в этом регресс, начало конца всего... В действительности же появление Освенцимов доказывает противоположное: деспотия перестает быть нормой человеческих взаимоотношений и вынуждена прилагать надрывные усилия, чтобы удержаться над пропастью.

Но даже при наибольшей стандартизации и контролируемости жизни деспот сталкивается с проблемой, которую невоз-

можно разрешить чисто бюрократическим путем. Можно одеть людей в одинаковую серую одежду, настроить серых жилых домов, сжечь все книги, кроме официального талмуда, — и все же остается щелочка, сквозь которую просачивается пучок света, смертельный для деспотической гнили.

Остается духовный мир человека.

Капитан КГБ Казаков, присланный из Ивано-Франковска в Мордовию проверить, насколько я «перевоспитался» (то-есть деградировал как личность), чистосердечно открылся мне: «Мы, к сожалению, не можем заглянуть, что у вас в голове. Вот если бы можно было собрать и выбросить (!!!) все, что мешает вам быть нормальным советским человеком, не нужно было бы столько разговаривать».

Действительно, это было бы очень выгодно: вынимать и вставлять мысль в человеческую голову, как элемент в электронную машину. Во-первых, так легко уничтожить всякое воспоминание о прошлом. Например, нужно начать кампанию осуждения культа Сталина — всем вставляют определенную программу: завтра ее вынимают — и о Сталине больше ни слова. Или: вышло постановление ликвидировать нации и национальные языки — маленькая процедура, и — никаких тебе хлопот с такими непригодными для программирования вещами, как национальное достоинство, честь, стремление сберечь духовные и культурные ценности. Во-вторых, была бы гарантия, что нигде нет ничего неизвестного, неконтролируемого...

Но мысль не поймает и не посадишь за решетку. Ее даже не увидишь. Какой ужас: мысль, даже силой вложенная в человеческую голову, не лежит там до подходящего случая, как элемент в электронной машине, а растет, развивается (иногда в направлении, обратном запрограммированному), и установить контроль над этим процессом не может никакая аппаратура. Не один тиран пробуждался в холодном поту, парализованный сознанием своего бессилия остановить это невидимое, но непрерывное движение в человеческих черепах. Страх перед этой никому неподвластной силой заставил Сталина провести конец жизни в добровольной тюрьме и сделал его маньяком.

Вот откуда желание изгнать Гомеров из общества, срезать лишние струны с лиры. Известна и неослабеваемая ненависть капралов к интеллектуалам, которые даже будучи оде-

ты в мундир солдата или в арестантские лохмотья, остаются нестандартизованными и неразминированными.

«Бойтесь, товарищи, тех, кто спрятал мысль свою за неясностью выражения. Там спрятана враждебная классовая сущность» (Покровский). Отсюда — тотальная борьба не только против инакомыслящих (о них и говорить нечего), но и против самомыслящих. Во время ареста у меня забрали стихотворение Драча «Сказка о крыльях». Я спросил: «В чем дело? Стихотворение напечатано, да и самого автора давно уже перестали ругать за «випрани штаны» и вдруг начали хвалить». Мне объяснили: ни к стихотворению, ни к его автору претензий нет, но стихотворение напечатано на машинке... по чьей-то собственной инициативе. И этот неизвестный тоже распространяет его — тоже по собственной инициативе. В этом опасный грех: человек «самостоятельно желает» и сам порождает мысли, а не пользуется указаниями и не берет мыслей готовых. Можно делать все, но только когда приказано. Пить можно только из одного для всех, строго контролируемого, источника с дистиллированной водой. Все остальные нужно засыпать, если даже вода в них ничем не отличается. В 1964 году представитель Виленского КГБ, которому поручено фиксировать появление каждого мыслящего существа в местном Пединституте и немедленно зажигать сигнальную лампочку тревоги, назойливо спрашивал меня: «Что за общество мыслящих людей?» Мысль о создании общества мыслящих людей была высказана в виде шутки в веселой компании, но кагебистов она взволновала не на шутку. Конституция дает право на создание обществ — это охранители нашей безопасности знают. Но при условии, если приказ о создании придет сверху. Тогда все в порядке — даже если бы это общество пыталось организовать землетрясение. Но если бы кто-то захотел создать самостоятельно даже общество по защите рогатого скота — этим делом, вне сомнения, занялись бы органы КГБ.

Так как же все-таки остановить это вечное самодвижение мысли в том случае, когда она осталась живой, пройдя все этапы стандартизации и стерилизации? Есть еще одно последнее средство: заморозить. Заморозить ледяным ужасом. Построить громаднейший рефрижератор для человеческих умов. Расстрел через три дня после ареста. Загадочное исчезновение ночью; расстрел за невыполнение нормы; Колыма, с которой не возвращаются — вот кирпичики, на которых Сталин по-

строил свое царство ужаса. Ужас наполнил дни и ночи, ужас носился в воздухе, и одно воспоминание о нем парализовало мышление. Цель была достигнута: люди боялись мыслить, человеческий мозг перестал самостоятельно рождать критерии и нормы и считал нормальным принимать их готовыми. Деспотия начинает свое летоисчисление с того времени, когда человек перестает воспринимать насилие над собой как зло и начинает принимать его как нормальное положение вещей («Начальство мутит. — Ну и что? На то оно и начальство, чтобы мутить»). Выросло поколение людей из страха, и на развалинах личности была воздвигнута империя винтиков.

Империя винтиков

Сталин не признавал кибернетики. И все же ему принадлежит в этой области выдающаяся заслуга: он изобрел запрограммированного человека. Сталин — творец винтика. Бывали случаи, когда, прочитав роман Солженицына, люди говорили: «Хочется забиться в угол и ничем себя не проявлять». Нетрудно представить насколько сильнее было это желание 20 лет тому назад, когда люди были очевидцами массовых расстрелов и других ужасов, когда вечером было неизвестно, где ты очутишься утром. Желание ничем не выделяться, втиснуться в массу, стать похожим на другого, чтобы не обратить на себя внимания, стало всеобщим. А это означало полную нивелировку личности. Когда-то выделение индивида из массы материи означало зарождение жизни, зарождение органического мира. Теперь начался обратный процесс: слияние индивидов в серую массу, возвращение к полностью безорганическому, безиндивидуальному бытию. Обществом овладевает дух серой безликости. Быть личностью считается грехом. «Ты что, особая личность?» — это приходилось слышать десятки раз и до ареста и после. Бригадный метод проникает даже в поэзию и порождает такое чудо, как коллективная поэма. В 1937 г. появляется коллективная поэма «Иван Голота», под которой поставили свои подписи в алфавитном порядке, как в телефонной книге, Бажан, Головановский, Кулык, Первомайский, Рылский, Сосюра, Тешенко, Тычина, Фефер, Усенко, Ушаков. Но и этого оказалось мало — через год приказывают создать «Думу про Остапа Нечая», под которой уже стояло 20 подписей. Наверное, это был рекорд.

Вот впечатления одного бывшего члена КПЗУ, которого пять раз арестовывала дефензива в Польше и который после 1939 года попал, наконец, на восточную Украину, о которой годами мечтал, в тюрьме: «Поезд пересек линию уже несуществующей границы. Первая станция на Житомирщине, толпа на перроне. И первое, что бросилось в глаза — однообразная, необычайная для нас серость людей, одетых в фуфайки. Как-кая-то женщина в красном плаще выглядела экзотическим цветком, чужой и даже крикливой, неуместной здесь». В конце концов, одежда может стать пестрой, даже крикливой, но серость не исчезает. Она не от одежды. И как бы ни рекламировали себя винтики, как бы ни прикрывались коврами, взятыми напрокат в магазине в связи с приездом делегации, посторонний глаз всегда заметит серость — она носится в воздухе, люди дышат ею, не мыслят себя без нее, она стала хлебом насущным.

Наконец, господствующая сила рекомендует себя единым началом, несущим в себе «ум, честь и совесть» всего общества — тогда торжественно провозглашается «морально-политическое единство общества». Вечный вопрос «куда идти?» для винтика трансформируется в формулу, не требующую никакого умственного напряжения: «Куда поведут».

Человек, лишенный умения самостоятельно различать добро и зло, становится овчаркой, которая зажигается гневом только по приказу и видит только то зло, на которое укажут. Винтик читал в газете о запрещении черным жить в Кейптауне или Йоганнесбурге, о запрещении африканцам жить в городах Южной Африки без пропусков — и считает это произволом. Но его замороженный ум не может сопоставить факты и придти к выводу, что известная ему от рождения прописка является таким же нарушением статьи 18 Декларации прав человека («Каждый человек имеет право проживать в пределах любого государства»), что в нашей действительности узаконена **черта оседлости**, и не для евреев, как некогда, а **для всех**. Тому, кто не родился в большом городе, отведено гетто для проживания, границы которого кончаются в пригороде Киева, Львова, Одессы. Винтик имеет гневные поэмы о Бухенвальде — это позволено. «Пеплом стали ваши сердца, но голос ваш не сгорел». А вот пепел жертв, истлевших в сибирских тундрах, не волнует винтиков. И было бы ошибкой усматривать здесь только страх — это уже черта характера.

Все осуждают преступления фашизма против еврейского

населения. И преспокойно ходят по могильным плитам еврейских кладбищ, которыми выстелены тротуары многих городов. Тротуары вымостили немцы — это правда. Однако, немцев давно нет, а по оскверненным именам умерших и до сих пор ходят во дворах львовской и ивано-франковской тюрем. Ходят доценты и кандидаты наук Ивано-Франковского пединститута. А если к этому времени кто-нибудь успел защитить докторскую диссертацию — то по человеческим именам ходят профессора. В институтском дворе до моего ареста лежала куча плит про запас. Их разбивали и использовали на хозяйственные нужды. Разбивали под аккомпанимент лекций по эстетике и философии. Так будет до тех пор, пока сверху не поступит приказ возмутиться варварством немцев и соорудить памятник из этих плит. А до этого их можно презирать.

Винтик — идеал, лелеемый каждым «тотализатором». Послушный табун винтиков может быть наречен парламентом, ученым советом — и с ним не будет ни малейших хлопот, никаких неожиданностей. Винтик, которого нарекут профессором или академиком, никогда не скажет ничего нового, а если уж удивит, то не новым словом, а молниеносной сменой своих концепций в течение суток. Табун винтиков можно назвать Красным Крестом — он будет подсчитывать калории в Африке, но ничего не скажет про голод у себя дома. Винтик выйдет из тюрьмы и сразу же напишет, что он там не сидел, еще и обзовет лжецом того, кто требовал его освобождения (как это сделал Остап Вишня). Винтик будет стрелять в кого велят, а потом по команде бороться за мир. И последнее, наиболее важное: после превращения людей в винтики можно с безопасностью вводить какую-угодно конституцию, давать право на что угодно. Весь фокус в том, что винтику даже не придет в голову воспользоваться этим правом.

Неудивительно, что винтика сильно афишировали, выставляя как идеал. Где-то в школьном коридоре ученики зачитываются словами Симоненко: «Ми не безлич стандартных «я», а безлич в всесвити ризных», а рядом на стене стандартное дацзыбао, вывешенное пионервожатой, рассказывает о пионерке, спасшей телят во время пожара. Все было охвачено пламенем, крыша могла вот-вот обвалиться, но она выгоняла телят. И если бы пионерка погибла, винтики не увидели бы в этом ничего ненормального, наоборот, выставили бы этот случай, как образец для других.

В обществе винтиков есть законы, охраняющие тигров и удавов от браконьеров. «Гуманизм» дошел до того, что даже посадили в тюрьму людей за убийство лебедя Борьки в Москве. Можно надеяться, что когда-нибудь гуманизм распространится и на людей. Но пока жизнь пионерки ценится дешевле, чем жизнь теленка, лозунг «Все для человека, все для блага человека» серьезно воспринимать нельзя. Ценность личности осознают там только, где она считается чем-то особенным и неповторимым. Там же, где она превращается в винтик, деталь, которую можно заменить другой, ценность человека измеряется его мускульной силой. Гуманизм в таком обществе воспринимается как фальшивый лозунг, не имеющий ничего общего с действительностью. Теленок — это материально-техническая база, первооснова, в сравнении с которой духовное начало (заложенное в пионерке) является жалкой надстройкой. Теленок — это готовая продукция, пионерка — своеобразное сырье, то что называется — трудрезервы. Во времена людоедства эта пионерка, вне сомнения, ценилась бы дороже: она была бы во всяком случае материальной ценностью, наряду с теленком. В «Известиях» была «воспитательная статья» о кочегаре. Паровоз, который отвез поезд в Финляндию, на финской станции вышел из строя, и надо было гасить топку, чтобы отремонтировать его. Но кочегар решил «показать финнам работу» — произвести ремонт при непогашенной топке. То-есть кочегар решил то, что ему «посоветовали» опекуны, старательно сопровождающие его за границей, чтобы не заблудиться. Газета забыла об этом написать. Как бы там ни было, топку не гасили, и кочегар произвел ремонт с риском для жизни. Финны были поражены, но не мужеством. Просто они впервые видели, как человек ценит свою жизнь дешевле центнера угля. Однако, среди винтиков это считается героизмом.

Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,
Шкуры для них дают
Сами бараны.

(Брехт)

Оргия на руинах личности

«Здесь меньше» иксов, — ответил мне один инженер на вопрос, почему он стал инженером, а, скажем не искусство-

ведом. В этом принципиальное различие между так называемыми точными науками и гуманитарными; первые стоят одной ногой на плоскости логики, вторые на плоскости иррационального рядом с искусством. Так называемый технический интеллигент, твердо уверенный, что философия «занимается глупостями», «переливает из пустого в порожнее», не сумел подняться до простой истины: философия, на которую он смотрит свысока, вытаскивает из тумана иррациональных подспудных глубин предмет исследования и дает ему в руки, чтобы он мог измерять его сантиметром. Дает вещи, переставшие быть иском и подлежащие измерению сантиметром... Но дело в том, что целый комплекс духовных понятий, благодаря которым человек стал человеком, не поддается ни сантиметру, ни секундомеру. Это высшая сфера, недоступная прикладным наукам. «Математика, медицина, физика, механика..., чем больше их вкушаем, тем сильнее жжет наше сердце голод и жажда, а грубая наша остолбенелость не может догадаться, что все они суть слуги при госпоже и хвост при своей голове, без которой целое туловище не действительно» (Сковорода). Химик, отнимая и добавляя в колбу вещества, может точно продемонстрировать, какое из них вызовет реакцию. Историк, даже вполне уверенный в своей правоте, никогда не сможет убедительно наглядно показать причины исторического явления: он не сможет точно поставить эксперимент, а имеет дело с абстракцией. После проигранной войны с Японией в 1894 г. китайцы пришли к выводу, что причиной поражения была замена луков кремневыми ружьями. Им доказали, что причина — полное подавление личности, приведшее к застою в материальном производстве, однако, показать им это, доказать с математической точностью — никто не смог. Недаром Шоу писал: «...главный урок истории заключается в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков».

Да, извлечь урок из истории намного сложнее, чем из химии. Это всегда было деспотам на руку: они провозглашали себя авторами всех завоеваний общества, а своих противников — причиной всех зол. Не каждый поймет, что «порядок», установленный Сталиным десятки лет назад, и есть прямая причина современного бедлама в сельском хозяйстве, что «идейность», которой насильно пичкали людей десятилетиями, и есть причина пресловутой безыдейности современной молодежи.

Полную мертвенность сеет винтик и в морально-этиче-

ской сфере. Если кто-нибудь считает столпотворение в Китае порождением фанатизма, а хунвейбинов — фанатиками, он допускает грубейшую ошибку. Во время похорон Сталина тысячеголовые стада толпились и протискивались к праху земного бога, раздавив при этом десятки более слабых, — и мир думал тоже самое — фанатики. Но прошло три года. Забальзамированный труп далай-ламы сперва облили помоями, а затем и вовсе выбросили из мавзолея. И что же? Может быть совершился бунт? Может быть тысячи фанатиков оградили святого собственными телами? — Никто не тьякнул! Стадо потопталось на трупе вожака, а потом съело его останки. Те, кого принимали за фанатиков, преисполненных слепой преданности, оказались пустышками... Оказалось, что это просто роботы. Велено было любить и оплакивать Сталина — все нацепили траурные повязки. Их гнев, их горе, радость, энтузиазм — все было запрограммировано. И «гнев» против «предателя Тито», выражаемый общественностью на митингах сегодня, на завтра автоматически превращается в энтузиазм, а сама «общественность», аккуратно построенная штабелями вдоль шоссе от аэродрома к центру, будет послушно и даже искренне держать транспаранты и махать руками.

Так что напрасно старые, устроившись в удобных креслах, удивляются, откуда берутся молодые, у которых нет «ничего святого». Опыт со Сталиным показал, что и у старых не было ничего святого — просто они по свойственной им слепоте не замечали этого. «Молодые» же, наконец, заметили, что король голый. Это хорошо. Только тот, кто избавился от иллюзий и сумел увидеть разбитое корыто, начнет поиски новых ценностей.

Пустой человек — вот главное обвинение против деспотии и неизбежное ее порождение. Уж если деспот объявляет ум, честь и совесть своей монополией и снимает обязанность вырабатывать эти качества самостоятельно — то это начало духовного оскудения человека. Но у каждого живого существа должна быть потребность самовыражения.

И до, и после суда нам повторяли, что мы — «выводок Антоненко-Давыдовича и компании». Идея, с точки зрения охранителей, это нечто такое, что может быть внесено в человеческую голову только извне. И когда в среде молодой украинской интеллигенции выросло движение против умственного и морального застоя и шовинистического засилья, каге-

бисты бросились прежде всего искать: «А кто принес? Кто повлиял?»

В соединении с директивой винтик получает удивительное свойство умерщвлять все, к чему только не прикоснется. Скажут ему вступить в какое-то новообразованное общество защитников природы — он не откажется, и через месяц общество будет иметь столько членов, сколько есть винтиков, но природе от этого не станет легче. Общество — мертворожденных. Винтика не затанешь к живой, полезной работе никаким поводом, как амбу: бесформенная скользкая масса без четко очерченных берегов протечет через любую сеть. Можно проводить самые дикие эксперименты, винтики молча примут их — и вот вырастают заводы в местах, куда запланировано подать энергию через 20 лет, или там, где для них нет сырья. Все производство обречено прозябать в состоянии полураспада.

Так на руинах личности строился и строится порядок, засеваая землю мертвечиной. «Это хуже чумы. Чума убивает без разбора, а деспотизм выбирает свои жертвы из цвета нации», — писал Степняк-Кравчинский.

Дракон

Ледяной ужас, без которого нельзя построить империю винтиков, необходимо все время поддерживать. Лед не может существовать вечно в естественном состоянии, поэтому есть необходимость в специальном холодильнике. Его должен создавать каждый диктатор — для него это вопрос жизни и смерти. В сталинских владениях таким холодильником, который несколько десятилетий замораживает духовную жизнь общества, стало КГБ. Тотальное уничтожение мысли в человеческих головах, массовая стандартизация мышления и жизни наложили на КГБ большое бремя, но вместе с тем и дали в их руки неограниченную власть. Так бывало всегда: орган, которому поручено обескровить жизнь во всех ее проявлениях, растет и гипертрофически разбухает от высосанной им крови. С планеты запустили спутник. И вдруг выяснилось, что спутник не только вышел на собственную орбиту, но и похитил вес планеты, сосредоточил его в себе и вынудил планету обращаться вокруг себя. Наконец, он теряет даже видимость связи с организмом, разрастается до размеров дракона и регулярно требует жертв. Как правило, он пожирает даже выкормившего его деспота.

Сталин хорошо знал это и боялся, что его ожидает эта участь — поэтому на всякий случай Ежова и Ягоду отправили в рай. И все же закономерность пробила себе дорогу, хотя уже после смерти Сталина новым диктатором чуть не стал Берия.

Дракон становится концентрацией и символом ужаса, необходимого для фабрикации винтиков. Наверное, о положении кагебистов, стоящих над обществом, свидетельствуют в первую очередь не их исключительные материальные привилегии (включая даже отдельные охотничьи хозяйства), а тот магический ужас, который повсюду наводит слово КГБ. Чтобы оправдать свое положение «государства в государстве», органы должны все время создавать впечатление, что они, мол, спасают общество от страшных опасностей. Первым делом они нацепляют на себя вывеску защитников «государственной безопасности». Дракон обязан регулярно пожирать людей, чтобы существовать. Вся энергия направляется на фабрикации антисоветских заговоров и организаций. Были уничтожены все культурные силы, расстреляно 95% Генштаба, и тогда кагебисты начали стрелять сами себя. Докатились до безумного кошмара, когда на вопрос: «Где товарищ Иванов? Я пришел его арестовать» — получали ответ: «Он недавно ушел арестовывать вас». Взбесившийся гад стал пожирать собственный хвост.

В лагере № 11 находится психически больной эстонец Хейно Нурмсаар, считающий себя пантеистическим богом в человеческом облике. Все зло на земле, согласно его концепции, происходит из-за того, что с ним плохо обращаются. Поэтому надвигается ледник и до сих пор скованы льдом полярные страны. А вот если его выпустят и станут хорошо кормить — все изменится, и на Северном полюсе можно будет сажать картошку, а он поселится в лесу и начнет там растить деревья и разводить пчел.

Сибиряк Николай Трегубов объявил себя Президентом Объединенной России — так подписывается и в жалобах. И вот кагебисты вместе с лагерным начальством перевоспитывали его артелью — человек десять — серьезно требовали отказаться от антисоветского намерения стать президентом. Сибиряк оказался непреклонным: «Умру президентом!» Обоих отправили во Владимирскую тюрьму, как «неисправимых антисоветчиков». Оба признаны симулянтами, хотя всем известно, что это психически больные люди. Третий «властелин мира»

Юра Казинский считает себя шаманом. Антисоветские намерения формулирует следующим образом: «Нужно воткнуть в волосы перья, надеть старый бушлат, снять штаны, перевязать ноги цветными лентами и исполнить танец Гремучего змея. Тогда тюрьмы, лагеря и... колхозы (интересная систематизация явлений) перелетят в Америку». Сидит в карцере за «антисоветчину» и, наверное, вскорости тоже попадет во Владимир.

Так кагебисты обезвреживают многочисленные опасности, угрожающие государству. Это — дом для умалишенных, в котором давно стерлась грань между врачевателями и пациентами. Не только детям, но и некоторым взрослым никоим образом нельзя давать в руки списки; но как ни странно им отдали безраздельную монополию контролировать духовную жизнь общества.

Однако, никому еще не удавалось создавать ни вечного льда, ни вечного ужаса. Каждая история с драконом кончается одинаково: приходит Кирила Кожемяка и ему конец. Механизм замораживания действует только до тех пор, пока есть что замораживать. Но когда люди уже стали винтиками — механизм автоматически отключается. Винтик не интересуется ни общественными, ни политическими вопросами («не моего ума дело», «с политикой лучше не связываться»). Это уже сфера вне его интереса. Но во всем другом, например, в оценке футбольных матчей, — винтик чувствует себя совершенно свободно и вырабатывает собственные критерии. Поэтому уже следующее поколение винтиков освобождается от чувства полной неполноценности. Оно уже продукт не цепящего ужаса, а традиции. И каким бы бедным ни был его мир — но этот мир, основанный на здравом смысле. Счет 4:0 лучше, чем 2:0 — тут уж для софистики нет места. А все догмы, которыми усиленно накачивают молодого винтика, находятся в противоречии с его миром элементарных очевидностей, основанных на здравом смысле. Это очень важный момент, когда вместо диктатора богом становится чемпион в тяжелом весе. Против догм никто открыто не выступает, но они уже воспринимаются как нечто чуждое. А поскольку молодой винтик уже незнаком с ужасами родителей, он не осмеливается смотреть на догмы с позиций молчаливого скептицизма и незаметно продвигается на рельсы молчаливой оппозиции — деструктивной, так как конструктивной оппозиционной программы у него нет. Но мысль не стоит на месте — и сперва несмело заглядывает, а потом все дальше

заходит в запретное пространство истории, философии, литературы. И все, что там увидит, рассматривает уже с точки зрения здравого смысла. Так незаметно совершается чудо — винтик становится человеком!

Дракон еще ничуть не подозревает, что морально он уже убит. Его власть могла держаться только потому, что он украл у людей сознание силы. Раньше на дракона даже боялись поднимать глаза, не говоря уже о том, чтобы ковыряться в его внутренностях. Теперь он морально убит, и можно смело приступить к резекции. Оказывается, что внутри него больше свиного, чем дьявольского.

Такими путями пришло в украинскую жизнь новое поколение и поставило перед защитниками сталинских порядков совершенно новую проблему. Порядок держался на том, что люди сами отказывались от всяких прав и смирялись с бесправием. Им можно было обещать все, наперед зная, что давать не придется.

Но вот пришло новое поколение и заявило: «В конституции написано о свободе слова — мы хотим пользоваться ею». Такой вариант не был предусмотрен. Оказалось вдруг, что макет ружья, изготовленный для витрин, может стрелять.

Очень важно заткнуть рот первому, кто крикнул: «Король голый!» — пока не подхватили другие. Но король действительно голый. Это истина. Кому она невыгодна? Тому, кто с окончательной ликвидацией беззакония теряет свои привилегии. Прежде всего кагебистам. Дальше — начальники и председатели, которые предвидят, что при действительном соблюдении правовых норм им не доверят даже свиной пасти. Академик, добравшийся к своему креслу по трупам преданных в 1937 году коллег. Голый душой шовинист. Это силы, рьяно защищающие вчерашний день. Они лежат бревном на пути общественного развития. Им крайне нужно, чтобы люди оставались винтиками. И они изо всех сил изображают себя защитниками «общества» и соцзаконности.

Однако, за закрытыми дверями кабинетов у кагебистов как раз другая точка зрения на социалистическую законность. Когда Левко Лукьяненко спросил капитана Денисова, следователя львовского КГБ: «Для чего же существует статья № 7, обеспечивающая каждой республике право свободного выхода из СССР?», — последний ответил: — «Для заграницы». Вот оно что! Оказывается, кагебисты прекрасно понима-

ют, что стоят на страже не социалистической законности, а права незаконно нарушать ее. Насчет своего учреждения они не питают никаких иллюзий. Они ценят его как место, где дают хороший оклад и квартиру вне очереди. Кагебист Казаков привез мне письмо от ректора Ивано-Франковского института, где я преподавал раньше. Я заметил: «Если кто-то мне хочет написать — пусть посылает почтой». На это Казаков ответил: «Слишком много было бы чести...» Что ж, может быть, действительно, кагебист не может заслужить даже того уважения, каким пользуется наша почта.

Председатель КГБ из Киева, Литвин, заявил мне: «Мы вас арестовали по требованию общественности. Иначе люди бы вас разорвали». Вот странно! Почему же тогда политзаключенных судят при закрытых дверях и ни слова не пишут в газетах? Охранники хорошо сознают непопулярность и незаконность своих действий. Поэтому и прячут от людских глаз политические процессы, тогда как процессы над немецкими полициями-убийцами широко рекламируются.

Вообще, все способы, с помощью которых КГБ расправляется с неудобными, представляют сплошную цепь незаконий. После осуждения Д. Иващенко его жену Иващенко Веру тут же уволили с должности преподавателя украинской литературы в школе № 3. На каком основании? Она долгие годы считалась лучшим учителем, о ее успехах писала пресса, усилиями этой женщины в городе был открыт на общественных началах музей Леси Украинки. Но она отказалась подписать компрометирующие показания на своего мужа, как этого требовали кагебисты — и была выгнана с работы по их указанию. Какой закон дал это право кагебистам — по своему усмотрению выгонять людей с работы?

Кагебисты всегда разглагольствуют, будто бы им противостоит «кучка отщепенцев», против которых «народ». Но сами они знают, что это ложь. Иначе бы они не прятали политических заключенных от народа за дверьми тайных судилищ. Молчащих кагебисты тоже безосновательно причисляют к своему активу. Нынешнее молчание — это далеко не знак согласия. Об этом красноречиво свидетельствует IV съезд писателей Украины. Не только ораторов, но и участников съезда пересеяли так усердно, что в зале «несознательных», казалось бы, совсем не было. И все же съезд явился трибуной, с которой неожиданно послышались голоса в защиту национальной куль-

туры, против шовинистического засилья. «Кучкой» на съезде оказались как раз охранители сталинских пережитков. На белорусском съезде с критикой великодержавных пережитков выступил Быков, на грузинском — Абашидзе. Кагэбистский реестр «отщепенцев» катастрофически растет. Марусенко из Львовского КГБ на вопрос Осадчего: «Почему же вы не привезли в Мордовию Новиченко? Ведь он говорил, в сущности, то же, что и мы?», ответил: «И Гончара не мешало бы». Ценное признание! Критерии проясняются...

Вот, оказывается, какому обществу служат кагэбисты. Это «общество» не прочь посадить за решетку и Гончара, и заместителя председателя Совета Национальностей Стольмаха, и Малышко, и многих известных интеллигентов, протестовавших против тайных арестов на Украине в 1965 г.

Изолированной кучкой оказываются не те, кто изо всех сил стремится удержаться на шее общества, на месте насиженном и теплом. Круг изоляции этой кучки непрерывно сужается, по мере того, как люди избавляются от рабского страха. Марусенко признал это сам. На вопрос Осадчего: «Как настроена интеллигенция во Львове?», — ответил: — «Часть приняла линию съезда писателей, часть колеблется. Жить по-старому не хотят, по-новому не решаются».

По-старому не хотят, по-новому не могут... Ситуация знакомая: она всегда характеризовала переломные эпохи. Современные события, в частности и на Украине, тоже являются переломными: ломается ледяной ужас, десятилетиями сковывавший духовную жизнь народа. Как всегда — людей бросали за решетку, как всегда — повезли на восток. На на этот раз они не канули в неизвестность. К величайшему удивлению кагэбистов, впервые за последние десятилетия на Украине поднялась волна протестов. Впервые журналист В. Черновил отказался давать показания на незаконном закрытом судилище. Впервые кагэбисты почувствовали, что они бессильны со всем этим справиться. Они с наслаждением попытаются отыграться на тех, кто попался им в зубы, кто находится...

В заповеднике

Тут единственное место, где кагэбисты свободно могут не придерживаться никаких законов и норм. Тут место, где продолжают ковать ужас. Здесь усилия направлены на то, чтобы

убить в человеке человеческое, только тогда он становится тестом, из которого можно лепить все, что угодно. Узник может вовсе не нарушать правил режима, но лишь кагебисты почувствуют, что он не сдался, не признал нормальным состоянием зло и насилие, сохранил достоинство, — на него будут нажимать всеми средствами. И только когда они убедятся, что человек опустился до уровня потребления пищи, только тогда успокоятся.

Осетин Федор Бязров был вором. Потом стал иеговистом и перестал воровать. Казалось бы, «воспитатели» должны быть довольны. Так считал и Бязров: «Чего вы от меня хотите? Я же не ворую и ничего дурного не делаю. А верить в Бога никому не воспрещено». — «Лучше бы ты воровал». Это не просто случай. Многим политзаключенным мягко указывали на уголовных преступников: «Они — воры, но они — наши люди. А вы враги». Морально разложившийся человек — вот стихия, в которой охранители чувствуют себя, как рыба в воде. Кагебист знает как разговаривать с бандитом. Это готовый доносчик за порцию наркотиков. В нем не нужно убивать такую непонятную, но могучую силу, как достоинство.

Агентов используют не только в роли подслушивателей. Заключенный Лацук был известен как агент КГБ. Об этом знали все: в Тайшетском лагере № 11 в 1958 г. у него из рук отобрали свежесостряпанный донос. В апреле 1964 г. в Мордовском лагере № 7 он ранил ножом Степана Веруна (из группы юристов, осужденных во Львове в 1961 г.). Когда Верун, выйдя из больницы, говорил об этом с капитаном Крутем, последний бесцеремонно заявил: **«И голову снесут, если не поумнеешь»**. (Верун не признавал законности своего приговора).

Статья 22 УК УССР гласит: «Наказание не ставит целью причинить физические страдания или унижить человеческое достоинство». Таким образом все **методы давления на заключенных являются нарушением закона**. А где те, кто призван осуществлять надзор за соблюдением закона? Прокуратура в Мордовии есть. И неверно было бы утверждать, что она закрывает глаза на произвол или умывает руки. Наоборот, местные прокуроры, засучив рукава, всеми силами помогают кагебистам вершить их грязные дела. В разговоре с местным прокурором Дубравного лагерного управления, я обратил его внимание на то, что, вопреки закону, людей, тяжело болеющих язвой желудка, держат на голодной норме. Он преспокойно ответил: «Наказа-

ние в том и заключается, чтобы **ударить по желудку**». И эти садисты именуют себя защитниками законности.

Обязательный труд для политзаключенных является нарушением конвенции ООН о запрещении принудительного труда. В конце концов, сами кагебисты признают, что труд рассматривается ими как метод давления. Не одному говорили: «Нам не нужна твоя работа, нам нужно, чтобы ты исправился». Заключенного, которого нужно послать в карцер, переводят на тяжелую работу, где выполнить норму невозможно, — и наказывают за невыполнение нормы. Все права заключенных рассматриваются как привилегии, которых можно лишить. Например, Л. Лукьяненко и М. Горыня лишили свидания с семьей в 1967 г., хотя это их право (а не привилегия), которого, казалось бы, никто не может отнять. Одно—единственное—в году личное свидание с родными — и это могут отобрать. Для сравнения достаточно сказать, что в Англии заключенный имеет право видеться с семьей каждую неделю!

Беспрецедентной является также система воспитания голодом. Всегда и всюду политические заключенные получали продуктовые посылки в неограниченном количестве. Мы же имеем право на получение двух посылок в год после отбытия половины срока «при хорошем поведении». Нужны ли к этому комментарии?! Необходимый минимум питания, определенный в ЮНЕСКО, составляет 2700 калорий, граница голодания — 2400. Ниже начинается деградация физических и умственных сил человека. В карцере, где я сижу, «повышенная» норма составляет 2020 калорий. А есть еще ниже — всего 1324 калории. Следовательно, осуществляется непрерывное преступление на протяжении десятилетий. **Не следует забывать, что в Нюрнберге судили не только за убийство железом, но и за убийство голодом. Интересно, заинтересуется ли украинский Красный Крест преступлением в Мордовии хотя бы в такой степени, как преступления в Африке?**

Лагерное питание сделало половину людей больными. Тут вступает в действие новый способ давления — медицина. В конечном счете, чтобы быть врачом или фельдшером в лагере, не обязательно иметь отношение к медицине. В лагере № 7 фельдшером был бывший немецкий полицейский Малыхин, убийца многих людей. Он не имеет не только медицинского, но и вообще никакого образования. Зато имеет заслуги перед КГБ. Правда, так бывает не всегда. Теперь нас лечит эстонец Браун,

который работал шофером на скорой помощи. Что ни говорите, а случайным в медицине человеком его не назовешь.

В правилах написано, что заключенные, брошенные в карцер, не лишаются медицинской помощи. Но что значат правила, если лагерные врачи даже не скрывают: **«Мы прежде всего чекисты, а потом уже медики».**

Михайло Масютко болен язвой желудка, находится в тяжелом состоянии. Однако, все попытки добиться отправки его, или хотя бы диетического питания для него, оказались тщетными. Кагебисты в белых халатах говорили: «Конечно, мы должны вас отправить, но нам за это влетит». «Уколов тебе не разрешается». А некоторые бесцеремонно говорят: «Не надо было попадаться». Этим, конечно, анекдоты лагерной медицины далеко не исчерпываются. Случаен ли в лагерях такой высокий процент психических заболеваний? Исследование роли лагерной медицины ждет своего автора...

Щупальцы спрута крепко держат заключенного после выхода за ворота лагеря. Ярёме Ткачуку, осужденному в 1958 г. в Станиславове, капитан Круть сказал: «Житья тебе не будет, если не поумнеешь! Мы сделаем так, что у тебя не будет ни семьи, ни крыши над головой». А мне Казаков пообещал: «Еще пожалеешь».

И это не запугивание. В 1957 г. Данило Шумук (находится в лагере № 11) был арестован в Днепропетровске за «антисоветскую агитацию». Майор Свердлов из республиканского КГБ без церемоний признал, что обвинение «липовое». Речь шла о другом. Перед Шумуком, как человеком, который ранее вышел из заключения, поставили выбор: или снова пойдешь за решетку, или будешь доносчиком — как человек, имеющий безупречную репутацию в среде бывших заключенных и не вызывающий подозрений. Два дня Шумука незаконно держали в управлении КГБ, не предъявляя ордера на арест, и уговаривали. Майор Свердлов заявил: «Согласишься на сотрудничество с нами — тут же при тебе разорву ордер на арест и протоколы допросов». Статья 173 УК СССР говорит, что «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с обвинением в совершении особо опасного преступления, карается лишением свободы сроком до 8 лет». Свердлова никто ни на 8 лет, ни на 8 месяцев, не осудил: он имел право безнаказанно нарушать все законы. А Шумук снова поехал в Сибирь отбывать 10 лет каторги за то, что

остался честным человеком. И теперь, перед освобождением, больного человека, начавшего свой тюремный путь еще в польской дефензиве и отсидевшего за решеткой 27 лет, снова вызывает капитан Круть и обещает: «Тебе житья не будет». Шумук сидит в карцере «за изготовление антисоветских рукописей». Так называли его воспоминания о пережитом кагебисты: пять арестов в Польше, немецкий лагерь для военнопленных, побег из него и пеший переход через всю Украину — из Полтавщины на Волинь, обходя дороги и немецких полицаев.

Когда тебя посадят в карцер — посадят не только за то, что ты «антисоветски выражался», а и за то, что «антисоветски молчал». Заключение Вовчанский сидит за то, что он «озлоблен против советской власти» — так написано в постановлении. Чтобы попасть в лагерь, нужно все-таки иметь «опасный образ мыслей». А из лагеря путь уже намного короче: в карцер сажают не только за мысли, но и за настроения. Масютко, Лукьяненко, Шумука и меня посадили за жалобы, истолкованные как «антисоветские рукописи». Михайло Горынь не писал никаких рукописей — но его тоже посадили вместе с нами. За что? Капитан Круть утверждает, что он нашел у него докладную записку Дзюбы, адресованную в ЦК КПУ. Богдан Горынь в разговоре с Литвиным и Марусенко спросил: «Является ли докладная записка Дзюбы антисоветским документом?» — «Нет, не является». — «За что же тогда посадили моего брата?» — На этот вопрос Марусенко ответил: «Вышла неувязка». Никакой неувязки не было, Горыня, как и других держат в карцере за то, что они принесли в лагерь правду о событиях на Украине и не собирались умалчивать о ней.

Есть в лагере порядки, целиком и полностью перенесенные из времен Николая I-го. У художника Заливахи отобрали написанный им портрет латышского поэта Кнута Скуинека и заставили самого автора (!) изрезать свое произведение! Может ли такое общество критиковать хунвейбинов? Кагебисты уничтожили все картины Заливахи, какие сумели найти и отобрали краски. На требование показать закон, позволяющий делать подобные вещи, художник получил ответ: «Я тебе закон!» Капрал сказал правду. Он — воплощение закона.

Такими методами перевоспитания пользуются «педагоги», исполненные «мрачной решимости». Каков же результат? Как выглядят «исправившиеся», которых нам ставят в пример, которых снабжают посылками и наркотиками сами кагебисты?

Вместе собранных их можно видеть на праздничных концертах 1 мая и 7 ноября. На сцене — редкостная коллекция физиономий, отмеченных всеми возможными пороками, букет преступников всех мастей, будто специально сошедших со страниц учебника криминалистики. Здесь — все преступники военного времени, убившие тысячи еврейских детей, представители всех половых извращений, наркоманы. Это — хор. Торжественно раздается «Партия наш рулевой», «Ленин всегда живой». «Исправившиеся» ходят по лагерю с ромбиками на рукаве, где написано СВП (секция внутреннего порядка — то-есть вспомогательная полиция). Заключенные расшифровывают эти буквы как «союз военных преступников».

Можно ли после всего этого говорить, что кагебисты защищают советскую власть? Наоборот: вся их деятельность подрывает и компрометирует ее, толкает людей на путь оппозиции.

Финн Вилхо Форсель (находится во Владимирской тюрьме) окончил с отличием Петрозаводский университет и работал в Карельском совнархозе. В качестве переводчика он сопровождал канадскую коммунистическую делегацию по территории Карелии. После поездки кагебисты потребовали от Форселя изложить содержание разговоров, которые вели канадцы с людьми, подходившими к ним. Форсель отказался, заявив, что закон никому не дает права так обращаться с человеком. Тогда ему сказали: «Хорошо, вы еще будете сотрудничать с нами». Несколько дней спустя Форселя выгнали с работы и никуда не принимали.

Черчилль говорил: «Ни один антикоммунист не принес коммунизму столько вреда, сколько Хрушев». Никто другой, как именно кагебисты, перехватили у Хрущева его туфлю, в качестве эстафеты, и лупят ею по всем трибунам в ООН и вне ее, успешно компрометируя государство, защитниками которого объявляют себя.

Во время обысков у нас регулярно отнимают «Декларацию прав человека». На мое требование возвратить ее, Круть ответил: «Декларация не разрешается». Помощник прокурора, с которым я разговаривал, признался, что не читал ее. На «политзанятиях», проводимых полуграмотными капрами с заключенными художниками и писателями, последние однажды вступили в дискуссию со старшим лейтенантом Любоевым (ла-

герь № 11), ссылаясь на Декларацию. На это он снисходительно ответил: «Слушай, да это же для негров».

Впрочем, нет нужды доказывать, какие именно действия компрометируют коммунизм. А. Полторацкий, специализирующийся последнее время по хунвейбинам, точно указывает, что следует считать «злостной карикатурой, попыткой дискредитировать веками взлелеянное в мечтах справедливое социалистическое общество». Это прежде всего приказ МАО «актеров, поэтов, ученых... высылать на перевоспитание в села», т.е. в те самые народные коммуны. «Нетрудно представить себе, что будет с пожилым ученым или писателем, если он на несколько дней запряженный в соху, попадет землю» («Лит. Украина», 24 февр. 1967 г.). Действительно, представить нетрудно. Пусть Полторацкий приедет в Мордовию и посмотрит, как высланный на перевоспитание художник Заливаха бросает в топку уголь. На место кочегара его поставили умышленно, чтобы после этой работы у него были убиты все желания, кроме одного — спать.

Если Полторацкому его новое хобби еще не заглушило интереса к лингвистике, могу сообщить, что здесь, как и в Китае, популярно слово «пахать». Всех нас прислали сюда «пахать», с тем, чтобы превратить в бездумных выючных животных. Но «пашут» не только здесь. И село считается местом ссылки не только в Китае. Уполномоченный украинского КГБ в лагере, Геращенко, вымогая от поэта Осадчего «раскаяния», грозил отнять львовскую квартиру и «выгнать на село»!

Компрометацией коммунизма считается принудительное надевание людям на голову колпаков. «То, что работницы ходят по фабрике в разноцветных косынках, сразу бросалось в глаза. Без косынок были ученицы и работницы, не выполняющие нормы. И лишь те, кто перевыполнили могли надеть красные косынки» («Наука и религия», 1967, № 3). Если бы это происходило в Женьчжоне или Ухани, Полторацкий тут же заговорил бы о глумлении над человеком. Однако, вынужден разочаровать обличителя китайских нравов: такой порядок введен на Ошской швейной фабрике в Киргизии. А коль так, то о глумлении не может быть и речи: это просто метод эмансипации женщин в Средней Азии...

Полторацкий высмеивает китайские стихи: «Генеральная линия партии весенним ветром обнимая землю, дает жизнь хлебам». Но разве такие стихи можно встретить только в ки-

тайских журналах? Слишком уж ограниченным простаком нужно для этого притвориться... Полторацкого более всего поражает «абсолютное отсутствие чувства юмора в Китае»...

«Уж ты поешь — так пой революционные песни,
Если ты читаешь — так читай книги председателя
Мао».

Можно незаметно продолжить это стихотворение Лао Чу-цзяна строками наших, отечественных поэтов, из тех, которым делал рекламу Полторацкий, начиная свою карьеру критика...

Жаль общества, в котором философские проблемы разрешаются карательными органами за колючей проволокой. Оно обречено на вечное шарахание от кок-сагыза к кукурузе и на «культурные революции». Оно всегда будет принимать Эйнштейна и кибернетику с опозданием на полстолетия — до тех пор, пока КГБ будет регулировать общественную жизнь. И всегда в этом обществе будут сидеть за решеткой люди, которые хотят вытащить его из грязи. Один заключенный начал свои жалобы словами: «Безумные лошади... В какие джунгли ужаса, позора и кретинизма думают они нас еще завести?»

В 1946 г. Европа поставила последнюю точку над Нюрнбергским процессом. Кошмары Освенцима стали историей. Гремел Бухенвальдский набат и разлетелись над миром лепестки увядшего на заре жизни маленького цветка — еврейской девочки Анны Франк, от которой остался только дневник. А в далекой сибирской тундре еще царила извечная мерзлота. Там давили танками беззащитных истощенных людей за то, что они требовали человеческого отношения к себе. Одна рука подписывала приговор в Нюрнберге, а другая — приговор голодной смерти сотням тысяч людей в Норильске и Верхоянске.

Завтра я пойду на работу и встречу, как всегда, машину с опилками, выезжающую «на свободу» — за ворота лагеря. И на машину вскочит, как всегда, фигура в шинели, длинной пикой начнет прокалывать опилки до самого дна — каждый сантиметр. Спокойно и деловито. Чтобы под опилками не спрятался заключенный. Правда, закон разрешает наказывать его за побег тремя годами заключения. Убить его никому не разрешено. Это уголовное преступление. И все же робот в мун-

дире тыкает пикой раз за разом. Спокойно и деловито. В надежде, что она наткнется на твердое. Это — реклама КГБ: — «Смотри, что стоят все твои права и законы, на которые ты ссылаешься! Наш самый ничтожный батрак может одним движением проткнуть их насквозь вместе с тобой!»

Но неужели кто-то наивно думает, что за все это не придется отвечать? Нет, на этих пространствах все доходит с опозданием на пятьдесят лет... **Но обязательно доходит!**

«И когда нас пригнали на проклятую стройку,
Мы увидели кости человеческих ног», —

эта песня еще будет шагать по концертным залам мира вместе с «Бухенвальдским набатом». Преступление есть преступление, и за ним неотступно ходит расплата. За расстрелянных и умерщвленных голодом придется отвечать тому, кто обокрал их душу, кто высосал из них человека.

У лжи короткие ноги — это известно давно. Но пусть никто не забывает:

У правды — длинные руки!

15 апреля 1967 г.

Валентин Мороз

ПИСЬМА МОСКОВСКОГО ПИСАТЕЛЯ Ю. В. МАЛЬЦЕВА

В КОМИССИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ООН.
В МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА.

Месяц назад в Комиссию прав человека ООН поступило мое обращение на имя Генерального секретаря ООН г-на У Тана. В этом обращении я, ссылаясь на то, что 1968 год объявлен международным годом прав человека, просил помочь мне осуществить право, которого я тщетно добиваюсь от Советского Правительства уже четвертый год — это право покинуть свою страну и право переменить гражданство. Оно закреплено в статьях 13 и 15 Декларации прав человека, а также в пактах о гражданских и политических правах. Я хочу эмигрировать из СССР, так как, будучи литератором, я не имею возможности заниматься в этой стране своим делом: я не приемлю марксистской идеологии, я не верю в коммунизм —

В кн. 90 «Нового Журнала» (март, 1968) мы опубликовали три документа, написанных Ю. В. Мальцевым, московским литератором: 1) Письмо ген. секретарю ООН г. У Тану, 2) заявление председателю президиума Верх. Совета СССР т. Н. В. Подгорному, 3) заявление председателю президиума Верх. Совета СССР т. Н. В. Подгорному (повторное). Одновременно мы переслали тогда копии этих писем на русском и английском языках г-ну У-Тану заказным письмом с обратной распиской. Разумеется, от ген. секретаря ООН г-на У Тана мы ничего (кроме обратной почтовой расписки) не получили, хотя неподтверждение письма обычно считается невежливостью. Но из газеты «Нью Йорк Таймс» (от 19 апр. 1968) мы узнали, что г-ном У Таном копии писем Ю. В. Мальцева были переданы советской делегации в ООН. Результаты «защиты» прав человека и гражданина ООН теперь налицо. Они явствуют из полученных нами сейчас с оказией из СССР двух копий писем Ю. В. Мальцева, которые мы публикуем без его ведома. Хорошо хотя бы то, что содержание первых писем Мальцева, опубликованных в «Н. Ж.», было отмечено в большой американской, английской, французской и итальянской печати. РЕД.

он представляется мне абстрактной утопией — и в стране, где для каждого литератора принцип коммунистической партийности является обязательным, мое положение невыносимо.

После того как мое обращение к У Тану стало известным, последовало следующее: 24 мая с. г. ко мне домой явился уполномоченный 95-го отделения милиции г. Москвы старший лейтенант Ключников и, учинив мне краткий допрос, потребовал, чтобы я явился в отделение милиции. Там вместе с майором Борсаковым они угрожали предать меня суду и отправить в ссылку, если я не оформлюсь на штатную должность. Я отвечал, что я живу литературным трудом, а также уроками итальянского языка, что литературный труд в этой стране дает мне ничтожный заработок и, возможно, мне человеку с высшим образованием, придется заняться физическим трудом, но что я сделаю это тогда, когда это будет нужно мне, а не тогда, когда это мне прикажут. Я заявил также, что действия, применяемые по отношению ко мне, являются принуждением к труду с помощью угроз, что является нарушением Конвенции № 29 Международной Организации Труда о запрете принудительного и обязательного труда во всех его формах, которая ратифицирована Советским правительством 4 июня 1956 года. Кроме того, действия эти являются явной расправой над инакомыслящим, посмевающим громко заявить о своем несогласии и нарушают основные свободы и права человека: право свободно придерживаться собственных взглядов, право свободно избирать себе род занятий и право свободно выбирать себе место жительства. Тогда ст. лейтенант Ключников сказал, что через несколько дней он зайдет ко мне домой и поведет меня в больницу на медицинское освидетельствование для выяснения моей трудоспособности. Он спросил меня также не обращался ли я когда-либо раньше в психиатрическую лечебницу. Я отвечал, что никогда не был там, что я здоров и с милиционером в больницу не пойду. «Поведем силой» — отвечал ст. лейтенант. Когда же я спросил, на каком основании он будет применять ко мне это насилие, лейтенант отвечал, что на основании указа от 4 мая 61 года о борьбе с лицами, ведущими «антиобщественный образ жизни». Я возразил, что в указе ничего не сказано о принудительном медицинском освидетельствовании, но ст. лейтенант Ключников продолжал голословно утверждать, что это сказано в указе и что, если я не пойду с ним добровольно в больницу, меня поведут силой. Эти угрозы имеют

вполне определенный смысл: мне достаточно хорошо известны случаи принудительного заключения здоровых людей в психиатрические больницы: Вольпин, Горбаневская, Буковский.

Таким образом меня не только насильно и противозаконно продолжают удерживать в Советском Союзе, но мне грозит теперь к тому же еще ссылка или сумасшедший дом.

Я обращаюсь к Вам не потому, что придаю слишком большое значение собственной жизни, а потому, что считаю, что моя судьба является ярким примером отношения власти к инакомыслящим.

У меня есть только один способ противостоять насилиям и глумлению, которые надо мной чинятся: информировать о происходящем общественное мнение. Именно это я и делаю.

С уважением

*Мальцев, Юрий Владимирович,
Москва, М-403, 2-я Медынская 15.*

29 мая 1968 г.

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ Г. МОСКВЫ.

27 мая с. г. я был вызван в 95 отделение милиции г. Москвы. Меня приняли зам. начальника отделения милиции майор Борсаков и ст. лейтенант Ключников. Я вручил им заявление, которое я прилагаю здесь и с которым прошу вас ознакомиться. Прочитав это заявление майор Борсаков закричал с презрением: «Права человека! Белая кость, понимаешь ли, не может работать! Оформите его на медицинское освидетельствование и если окажется трудоспособным, будем выселять», — и не слушая больше ничего майор вышел из комнаты. Ст. лейтенант Ключников составил какую-то бумагу и, не ознакомив меня с ее содержанием сказал, что через несколько дней он явится ко мне домой и поведет меня в больницу на медицинское освидетельствование. Я ответил, что я здоров, в медицинском освидетельствовании не нуждаюсь и с ним в больницу не пойду. «Поведем силой», — отвечал ст. лейтенант Ключников. Когда же я спросил на каком основании он будет принуждать меня к этому, ст. лейтенант отвечал, что на основании указа от 4 мая 1961 года. Я сказал, что я только что перечитывал этот указ и там ничего не сказано о том, что лица привлекающиеся к от-

ветственности по этому указу обязаны в принудительном порядке пройти медицинское освидетельствование. Ст. лейтенант Ключников однако продолжал голословно утверждать, что это сказано в указе и что если я не пойду добровольно, то он поведет меня силой.

Таким образом, я вынужден заявить следующее:

1) Действия сотрудников 95 о. м. противоречат даже смыслу указа от 4 мая 1961 года (о том, что сам этот указ не имеет юридической силы я уже говорил в прилагаемом здесь первом заявлении). Указ направлен на борьбу с лицами, живущими на нетрудовые доходы, а не с лицами не занимающими штатных должностей. У органов милиции нет никаких доказательств того, что я живу на нетрудовой доход (спекуляция, воровство, вымогательство, сутенерство и т. п.). Я живу на доход от моего труда и все мое преступление состоит в том, что труд этот нештатный и не зафиксирован в отделе кадров.

2) Действия сотрудников 95 о. м. являются принуждением к труду с помощью угроз, то есть нарушают запрет принудительного и обязательного труда, объявленный Советским Правительством и закрепленный им подписью под Конвенцией № 29 МОТ 4 июня 1956 года.

3) Действия сотрудников 95 о. м. являются неприкрытой и явной расправой над человеком не согласным с марксистской идеологией, расправой над инакомыслящим и поэтому являются нарушением основных свобод и прав человека, о которых так любит говорить Советское Правительство.

4) Угроза насильно отвести меня в больницу для освидетельствования носит вполне определенный смысл. Если бы я был нездоров и не мог работать, я сам представил бы об этом справку, как способ защиты, и то, что о такой защите, да еще в принудительном порядке, заботятся те самые люди, которые собираются меня репрессировать, говорит только об одном: о желании признать меня в каком-либо отношении нездоровым, например, в психическом отношении — намек на это уже сделан был ст. лейтенантом Ключниковым, который спросил меня не обращался ли я когда-либо раньше в психиатрическую лечебницу — и в случае неудачи судебного преследования, прибегнуть к иной форме расправы. Случаи принудительного заключения здоровых людей в психиатрические больницы по политическим мотивам мне достаточно известны (Вольпин, Горбаневская). Предупреждаю, что если ст. лейтенант Ключников

посмеет меня насильно вести в больницу, я окажу сопротивление.

Я ТРЕБУЮ, чтобы вы приняли меры по пресечению незаконных и возмутительных действий сотрудников 95 о. милиции.

Копии этого заявления я направляю в Международную Организацию Труда и в Комиссию прав человека ООН.

*Мальцев, Юрий Владимирович,
Москва, М-403, Бирюлево, 2-я Медынская 15.*

28 мая 1968 г.

ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА

Публикуемые нами четыре документа по “делу” Солженицына доставлены нам из СССР. Некоторые из этих документов уже были напечатаны по-русски за рубежом, но в обратном переводе с сербского. Мы публикуем по русским оригиналам. Выступление А. В. Белинкова на обсуждении “Ракового корпуса” в СП печатается впервые. Мы попросили бежавшего из СССР А. В. Белинкова дать вступление и комментарий к этим документам за что приносим ему нашу благодарность. В ближайшее время на русском и на иностранных языках выйдет книга А. В. Белинкова “Судьба и книги А. Солженицына”. РЕД.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И БОЛЬНЫЕ РАКОВОГО КОРПУСА

Всякий раз, когда за границей публикуются произведения писателей, живущих в Советском Союзе, неминуемо и неотвратимо приходит страх за людей, между мыслью которых и их читателями стоит каменная и непроницаемая власть.

Люди, которых печатают за границей, не писатели, а заложники.

Заложники должны расплачиваться за нас, за тех, кто понял необходимость борьбы с каменной и непроницаемой властью.

Трудны и разнообразны пути, какими приходят в бесцензурную печать произведения, написанные за каменной и непроницаемой стеной, и не всегда ясны намерения человека, имя которого стоит под произведением.

Мы всегда должны помнить, что люди, которых печатаем здесь, — заложники.

Нужно представлять себе, чего могут стоить заложнику его строчки.

Чего могут стоить строчки, напечатанные в этом журнале А. И. Солженицыну?

Издания «Ракового корпуса»? «В круге первом»? Однотомника произведений, уже напечатанных ранее?

Свободы?

«Раковый корпус», «В круге первом» и однотомник в России не печатали независимо от публикаций за границей. Эти публикации они пытались задержать обещанием издать «Раковый корпус». И действительно задержали, и у себя не напечатали. Увы, надежда на то, что если Солженицына не будут печатать за границей, то будут печатать в Советском Союзе, уже никому не кажется серьезной.

До сих пор в Советском Союзе еще старались избежать арестов людей, чьи имена широко известны. Подавляющее большинство арестов, оставшихся никому неизвестными, совершаются не в Москве, а в других городах. Даже процессы, прошедшие в Ленинграде, остались на Западе незамеченными.

Быть может, единственной гарантией свободы Солженицына стала его всемирная слава.

Содержание 3-го, мартовского, за 1863 год журнала «Время» не было высечено на мраморе и было таким: «Нужен ли флот России... Беглые воротились. (Роман в трех частях). А. Скавронского. До свадьбы (из дневника одной девушки). А. С....вой... Вещество (по учению материалистов) Н. Страхова. Бутузка. (Роман в двух частях). Часть вторая. И. Салова... Зимние заметки о летних впечатлениях... Ф. М. Достоевского».

В дальнейшем пресса не отметила особенного читательского удивления соседству Ф. Достоевского с И. Саловым.

Соседями повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» по XI номеру «Нового мира» за 1962 год были А. Бруштейн, Э. Межелайтис, Кязим Мечиев, Ю. Жуков, С. Владимиров, П. Волин. Были и Виктор Некрасов, Самуил Маршак и Эрнст Хемингуэй. Но абсолютно преобладали Ю. Жуков, С. Владимиров, П. Волин, В. Семенихин, Б. Володин, М. Бойко...

Я строю параллель не только между Солженицыным и Достоевским, но главным образом между журналами и между читателями. Читатели не сразу поняли что прочитали во «Времени» и в «Новом мире».

В этой книге «Нового Журнала» напечатаны два обсу-

дения повести «Раковый корпус», читатели которой не сразу поняли что́ они обсуждали.

Эти читатели тоже пишут книги. Как Достоевский и Солженицын. Но часто у них это получается гораздо хуже. Они сами и те, кто читает их, узнают об этом не сразу. Именно поэтому они стремятся искренно помочь писателю, который пишет лучше (А. И. Солженицыну) ценными советами. Например, отказаться от «Ракового корпуса»: «Если б он отказался от «Ракового корпуса», — обещает один советчик, — вот тогда я обнял бы его как брата».

17 ноября 1967 года после трехмесячной подготовки и трехкратного откладывания Бюро творческого объединения прозы Московского отделения Союза писателей РСФСР с активом той же писательской организации в количестве пятидесяти двух человек, утвержденных Секретариатом Союза писателей СССР, под председательством секретаря Правления Московского отделения Г. С. Березко собрались в Малом зале Центрального дома литераторов Союза писателей СССР для обсуждения рукописи члена Союза писателей СССР известного рязанского писателя тов. Солженицына А. И.

Рукопись «Ракового корпуса» хранилась у Секретаря Правления Московской писательской организации по оргвопросам тов. Ильина В. Н. Тов. Ильин В. Н. в иные времена занимал иной пост: он был начальником отдела культуры 7-го следственного управления по особо важным делам МГБ СССР. И имел другой чин: он был генералом государственной безопасности 2-го ранга.

Тов. Ильин В. Н. выдавал приглашенным рукопись под расписку. Читать разрешали только в специально отведенной комнате.

Обсуждение началось в два часа дня и кончилось в шесть часов вечера.

В 15 час. 45 мин. московского времени по Центральному дому литераторов метнулись сторожа и застыли у дверей Малого зала.

У главных дверей встали: 1. Секретарь по организационным вопросам МО СП РСФСР тов. Ильин В. Н. 2. Секретарь МО СП РСФСР Березко Г. С. 3. Директор Центрального дома литераторов Филиппов В. А. 4. Секретарь (технический) Бюро объединения прозы МО СП РСФСР Борисов И. Б. 5. Сторож Молибден (?) Н. 6. Сторож Анюта.

Тов. Борисов И. Б. отбирал повестки и пытливо вглядывался.

Тов. Ильин В. Н.: всматривался.

Пятьдесят второй был впущен, и двери с лязгом замкнулись.

— Я очень рад... — сказал тов. Г. С. Березко.

В этой книге «Нового Журнала» вы прочтете две записи обсуждения повести «Раковый корпус».

В первом обсуждении принимали участие писатели, еще не замученные до конца и еще сохранившие порядочность. Во втором заседании участвовали охранники отечества.

Вот, что говорила о повести «Раковый корпус» еще не замученная до конца и сохранившая порядочность писательница Л. Р. Кабо: «Рукопись производит громаднейшее впечатление».

А вот, что думает писатель Б. Кербабаев, охранник: «Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все — бывшие заключенные, всё мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь».

Вы узнаете, что говорили (под наблюдением тт. Ильина В. Н., Березко Г. С., Филиппова В. А., Молибдена (?) Н. и стального сторожа Анюты) еще сохранившие порядочность люди с осторожностью, но с надеждой.

Я хочу предупредить вас о том, что на этом заседании были не одни ангелы, не одни ангелы. И здесь, как всегда, когда собираются простые подлинно советские люди в количестве, превышающем два, хватало прохвостов.

Среди присутствовавших ангелов особенно выделялись заступами и осанкой Зоя Кедрина, за девять месяцев до этого выступавшая в другом заседании — судебном — общественным обвинителем по делу Синявского и Даниэля, и Николай Асанов, очень популярный московский стукач союзного значения. Были секретари, были и председатели, были, были... Но преобладали люди, которым мы подавали руку и не сразу бежали после этого в баню.

Это заседание созвали, когда уже все было неблагополучно, тревожно. И именно поэтому и созвали. «Раковый корпус» не хотели печатать, однако, еще не все не хотели. И кто хотел, — люди не имевшие или уже потерявшие власть, — утешался надеждой на то, что если так называемое «ответственное и представительное собрание» выскажется за печатанье, то в ЦК послушаются, ну, не послушаются, быть может, прислушаются.

В ЦК послушали и изругали собачьими словами Г. М. Маркова, секретаря Московского отделения, за то, что допустил, а, допустив, не организовал.

Г. М. Марков изругал Г. С. Березко.

Г. С. Березко изругал А. М. Борщаговского (докладчика).

В. Н. Ильин: приставив руку к глазам, всматривался, медленно поворачиваясь справа налево, слева направо.

Выступали писатели, хорошие, плохие, очень плохие, получше, боявшиеся, что опять перестанут печатать их, других и что опять начнут арестовывать, еще не признававшиеся себе в том, что боятся.

Многие с восторгом говорили о повести и некоторые с отвращением о цензуре.

Через равные промежутки входил и выходил В. Н. Ильин.

Все говорили о том, что повесть необходимо печатать, и сделать это следует как можно скорее.

Выступали Винниченко, Березко... Да-а...

Выступала советская социалистическая жаба Зоя Кедрина. Похваливала, поругивала (немножко).

Выступил не позволивший себя заплевать прекрасный критик Бенедикт Михайлович Сарнов.

Вошел и вышел, постояв за портьерой, В. Н. Ильин.

Тов. Карякин Ю. Ф., каждый вечер читающий под лампочкой Ильича боевой орган ЦК КПСС «Коммунист», говорил проникновенно-марксистским голосом («Громкие аплодисменты»)¹.

Люди поняли главное: «...перед нами настоящее художественное произведение, вскрывающее раковую опухоль нашего общества».

Вошел и не вышел тов. Ильин.

Уверенные в том, что невозможно обратить историю вспять, а также в неминуемом торжестве прогресса, еще не заплеванные до конца и еще сохранившие порядочность писатели пренебрегали тт. Ильиным и Анютой.

В надежде славы и добра они глядели без боязни вперед, и, глядя таким образом, говорили: «Вся деятельность Солженицына характерна для нового времени. Пришла новая литература, — и со старой, рептильной, ползающей, с литерату-

¹ Впоследствии исключен из партии за то, что читал, читал да не те выводы сделал.

рой, признающей только прямую линию, — с ней покончено».

Так говорил В. А. Каверин.

Другие тоже говорили с пронизывающей бодростью:

«У нас идут сложные и необратимые процессы демократизации, — догматики и субъективисты могут помешать этим процессам, но не могут их остановить», — твердо заверил собрание бывший секретарь парткома московской писательской организации тов. Е. Ю. Мальцев.

Эти заявления носили исключительно прогрессивный характер.

17 ноября 1966 года было совершенно ясно, что приходит новая эра, что она рядом, у двери, может быть, за портьерой.

Было совершенно ясно, что в грядущем, юбилейном, году от нее, братцы, нам уже никуда не уйти.

И действительно, меньше чем через год в доме Правления Союза писателей СССР, охраняемом не Анютой, поверьте мне, не Анютой, собрались другие братья по нашему трудному писательскому ремеслу.

И эти братья тоже обсуждали повесть А. И. Солженицына «Раковый корпус».

И люди, которые обсуждали, тоже с надеждой смотрели вперед.

Они надеялись на то, что злобный визг ужаленного в самое чувствительное писательское место (клеточка мозга, ведающая вопросами творчества) тов. Шарипова — «А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил!» — найдет надлежащее понимание у «сегодняшних замечательных руководителей» советского государства.

Они смотрели с надеждой вперед на заседании Секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года.

Заседание началось, как пишет в «Изложении» А. Солженицын, «в 13 часов, окончилось после 18 часов».

Но А. И. Солженицын ошибся: он в ту пору еще не все знал.

Он не знал, что заседание началось не в 13 часов, а в 11, и началось оно не с выступления Федина, а с выступления Секретаря по оргвопросам Союза писателей СССР тов. Воронкова, прочитавшего письмо Шолохова.

Михаил Александрович Шолохов писал кратко и выразительно. Как на заборе.

Кто есть Солженицын? 1. Сумасшедший. 2. Не писатель. 3. Антисоветский клеветник.

Что с ним надлежит делать? 1. Посадить в сумасшедший дом. 2. Выгнать из Союза писателей. 3. Отправить в тюрьму.

В оставшееся время сговаривались, кто и что скажет.

Тов. А. Е. Корнейчук сказал: «идет колоссальная мировая битва... Своим творчеством мы защищаем свое правительство...» Он сделал подкованный доклад о международном положении.

Так как международное положение оказалось крайне напряженным, то Солженицыну учинили допрос:

«Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежуеться? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?»

«...почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду?»

«Какое право он имеет так писать?»

«И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?»

В публикуемых материалах мы обнаруживаем поражающие наше воображение вещи: мы узнаем, какие замечательные люди секретари Правления Союза писателей СССР и какой плохой писатель Александр Солженицын.

Вот какие они замечательные секретари:

Алексей Сурков: «Не буду скрывать, я человек начитанный».

Ираклий Абашидзе: «Мы все честные и талантливые писатели...»

А вот какой плохой писатель Солженицын:

«Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи... «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма...» (В. Кожевников).

«‘Раковый корпус’ — антигуманистическая вещь» (С. Баруздин).

Уже пришло время, когда стало выгодно хвастать своей прозорливостью: «Я как раз принадлежу к тем, кто с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына», — расталкивая соседей, высказывает один (С. Баруздин). — «Я когда-то первый выступил с опасениями...», — перебегая дорожку товарищам, захлебывается другой (В. Кожевников).

Но все это пустяки. Настоящий советский человек и секретарь всегда готов принести личное в жертву общественно-

му. Поэтому, вздохнув, советский человек и секретарь пренебрегает личной обидой (то-есть тем, что Солженицын пишет лучше его) и приносит себя в жертву горячо любимой Родине. Главное это, чтобы любимую Родину не оклеветал Запад. Что невозможно стерпеть? Чтобы оклеветал Запад. «Вот страшное событие, — мотается от ужаса по своему кабинету тов. Федин, — ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях».

Солженицын, конечно, сразу же понял, что именно это главное — Запад.

«Здесь употребляют слово «заграница» и с большим значением, с большой выразительностью, — говорит он, — как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат».

На Западе должны, наконец, понять, что «заграница» — очень «важная инстанция» и что советских деятелей волнует не то, что **мы** пишем, а что и сколько на Западе пишут **о нас**.

Две записи обсуждения одной и той же книги поражают своим враждебным несходством.

Это несходство связано с тем, что на первом обсуждении выступали все-таки писатели, а на втором — секретари Союза писателей. Конечно, Зоя Кедрина, и, не будучи секретарем, обгонит самого Алексея Суркова, а доносчик Николай Асанов, рядовой непобедимой армии советских художников слова, не уступит дорогу доносчику Сергею Баруздину, даром что тот главный редактор органа Союза писателей СССР «Дружба народов». Это не имеет значения. Хороший человек, плохой человек... Кому это интересно (в социалистическом государстве)? Главное это идти в ногу со временем и выполнять его боевой приказ. Выполняя боевой приказ, даже Федин в надлежащий период (март-октябрь 1956 г.) был почти порядочным человеком. А если бы не венгерское восстание, то стал бы и благородным.

Советский человек по первому требованию партии и правительства может быть всяким. В отдельные моменты даже порядочным. Не часто (один раз в каждую историческую эпоху), но может.

17 ноября 1966 года партия и правительство еще не подошли вплотную к вопросу порядочности, будучи заняты уборкой картофеля, а 22 сентября 1967 года плюнули на картофель и, засучив рукавчики, взялись за творческую интеллигенцию.

Расползающейся творческой интеллигенции было необходимо серьезное идейное руководство, потому что все разваливалось, вываливалось из рук, лопалось и трескалось и угрожающе обесмысливало событие, призванное покончить с ущербом, нанесенным катастрофическими саморазоблачениями 1956 и 1962 годов, — государственный переворот 14 октября 1964 года.

Для того, чтобы покончить с ущербом, понадобилось развязать войну на Ближнем Востоке, разогнать демонстрации молодежи, арестовать и засудить десятки людей в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах, выбросить недовольных из Союзов писателей и художников, созвать одно из самых гнусных сборищ в истории русской литературы — IV Съезд писателей СССР. Страна готовилась торжественно встретить великий юбилей — пятидесятилетие советской власти. В такие дни партия и правительство сметают на своем победоносном пути все.

Ноябрьский пленум 1966 года объявил (тайно) беспощадную программу безудержного искоренения инакомыслия.

На этом кончилась еще одна глава немощной истории чахлого отечественного либерализма. Начиналась настоящая работа по внедрению, искоренению и применению.

Один из первых и самых жестоких ударов пришелся по Солженицыну, потому что Солженицын самое замечательное явление духовной жизни России в эпоху, наступившую после смерти Сталина.

Это на Западе нужно со страстью доказывать, что в России одни и те же люди в один и тот же день могут говорить и даже думать прямо противоположные вещи, — какие прикажут. Но в моем отечестве это знают все. И поэтому в моем отечестве никто не удивился тому, что в ноябре 1966 года о «Раковом корпусе» говорили доброжелательно, а в сентябре 1967 года — омерзительно.

Но люди везде люди, даже в советских и фашистских странах, и поэтому не редки случаи, когда они говорят то, что действительно думают, не взирая на властное требование эпохи.

Осенью 1962 года эпоха была еще чрезвычайно противоречива, и властно требовала самых разных вещей. Поэтому сразу же после публикации в 11-м номере «Нового мира» повести «Один день Ивана Денисовича» началось обсуждение, которого уже не мог не допустить, а, допустив, должным обра-

зом организовать ни тов. Ильин, ни тов. Анюта, ни даже сам тов. Поликарпов, начальник Отдела культуры ЦК КПСС, в то время еще живой и вооруженный мировоззрением и сапогом, которым топал на отечественную литературу.

Это обсуждение шло в письмах читателей к А. Солженицыну и проводилось без идейного руководства.

Читатели были разные, и некоторые сами могли идейно руководить.

Солженицын эти письма сохранил и написал статью «Читают 'Ивана Денисовича'» с цитатами из писем и собственным комментарием.

«Один день Ивана Денисовича» обсуждали бывшие заключенные, выжившие, еще не посаженные в лагеря снова, еще не замученные до конца и сохранившие порядочность, и охранники отечества, сторожившие раньше Ивана Денисовича, а потом Андрея Донатовича (Синявского).

Вот, что говорит об «Одном дне Ивана Денисовича» недавний заключенный: «Это — настолько жизнь, настолько боль, что кажется, может остановиться сердце».

У товарищей охранников сердце не останавливается. Один больше обеспокоен желудком: «Такой дряни еще не приходилось переваривать...» Другой — иными органами: «Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы МГБ».

В отличие от добрых, гуманных людей (советологов разных стран), с глубоким уважением относящихся к своим прекрасным душевным качествам и поэтому прощающих убийц (чужих жен, мужей, детей), палачей (других народов) и душителей свободы (в заморских странах), мы, изучавшие советологию в России, хорошо понимаем, что советская диктатура 5 марта 1953 года не умерла. А если не умерла советская диктатура, то жива и советская ложь, пронзительная, растекшаяся по континентам.

В сотнях писем к Солженицыну замученные, затурканные, оглушенные люди радуются тому, «что начинается эра правды». Строго и скорбно великий писатель замечает: «И обманулись, конечно, в который раз...» Солженицыну пишут о его повести: «Правда восторжествовала, но поздно». «Где уж там до торжества!» — вздыхает писатель. Люди еще надеются: «...правда выплывет в реке этих слез». Солженицын с сомнением покачивает головой: «Ой, выплывет ли?...»

«Удивляюсь, как вас обоих с Твардовским не упрятали?» — твердой рукой пишет человек, хорошо знающий, что такое советская власть.

Хорошо знающий, что такое советская власть Солженицын отвечает: «Сами удивляемся...»

В отличие от добрых, гуманных дядей разных направлений, уверяющих, что со смертью Сталина над нашим отечеством вспыхнула сверкающая и уже неугасимая заря свободы, Солженицын не ослеплен этой самой зарей.²

Солженицын не ослеплен зарей. Он понимает все. Он пишет, что «и сегодня — то же», что «весь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли и заграницы, трубился в том смысле, что «это было, но никогда не повторится!» Он все про них знает: «Как всегда, в главном лгали: это — будто воз втащили. А воз и ныне там».

И сегодня то же. И воз там же. И все так же.

Политическая и общественная жизнь России доведена до распада, безумия. Не нужно предаваться иллюзиям и ждать, что дальнейшие события разрешат кризис. Многочисленные политики, историки, социологи и литераторы, лежа в тени благоухающего дерева демократии, утверждают, что в России в будущем будет хорошо, потому что в прошлом в России было плохо. Это совершенно неосновательное умозаключение и оно решительно не из чего не проистекает. Несмотря на это, мы высоко ценим чувства людей из-под дерева. Неустойчивая власть может претерпеть только два превращения: стабилизацию или веер государственных переворотов. Последний переворот покончит с неустойчивым положением и установит привычную для этой страны и этого народа обожаемую и обожествляемую диктатуру.³

² Дяди, получающие из особенных источников сведения о заре, конечно, про Россию все знают лучше нас. В связи с переполняющими их знаниями они категорически настаивают на том, что даже если свет указанной зари недостаточно ярок, то вам (нам) и такой годится. Это они, легко ранимые и тонко организованные интеллектуалы, задохнулись бы через два часа в российском зловоньи, а мы выдержим.

³ Мы считаем необходимым подчеркнуть, что редакция «Нового Журнала» совершенно не разделяет этого утверждения А. В. Белинкова о русском народе. «Обожания и обожествления диктатуры» русским народом история России не подтверждает. РЕД.

Я не думаю, что у советско-фашистского государства, вооруженного водородными бомбами и преданностью замученного народа, рассчитывающего (с серьезными основаниями) выиграть мировую термоядерную войну, у государства, которое может безнаказанно ввести в страну, лежащую у сердца Европы, шестисоттысячную армию пяти своих колоний, не хватит силы и смелости уничтожить горстку оппозиционно настроенных интеллигентов. Оппозиционно настроенная интеллигенция в России хорошо понимает: хватит силы и смелости. И, хорошо понимая, продолжает бороться и погибать.

Я хочу разъяснить нашим друзьям под демократическим деревом, которые не любят погибать (просто терпеть не могут этого занятия): если мы, ненавидящие тиранию интеллигенты России, не будем бороться и погибать, то ничем не сдерживаемая власть неминуемо уничтожит все. Мы не можем победить советскую деспотию, но мы можем мешать ей, не позволять ей всего, что она готова, хочет и может сделать. И мы мешаем ей затопить островки свободы, затоптать остатки нравственности, заплевать все, уничтожить все, изорвать, оболгать, выкорчевать, скрутить.

Судьба и книги «лидера политической оппозиции» (по словам А. Суркова) Александра Солженицына в эпоху, наступившую после смерти Сталина, больше многого мешают этой волчьей власти сожрать все, что лежит на ее пути.

Весной 1968 года мне удалось отправить из Москвы на Запад публикуемые в этом журнале документы. В той же папке, объездившей два континента, была и часть моей книги о Солженицыне, начатой в Москве, закопанной в Переделкине, выкопанной, переплывшей Атлантический океан.

Некоторые из этих материалов вошли в статью «Писатель как совесть России», напечатанную 28 сентября 1968 года в журнале «Тайм».

ЧЛЕНАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Скоро год, как я послал свое безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор еще дважды я писал Секретариату СП,

трижды был там сам. Ничто не переменилось и по сегодня: мой архив мне не возвращен, книги не издаются, имя под запретом. Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в «Новом мире» «Ракового корпуса», но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы **обсудить** 2-ю часть повести.

Упущен год, неизбежное произошло: на-днях главы из «Ракового корпуса» напечатаны в литературном приложении к «Таймс». Теперь не исключены и другие публикации — быть может с неточных и неокончательных редакций повести. Прошедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилагаемых писем и высказываний — чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата от 22.9.67, записанное лично мною, разумеется не полно, но совершенно достоверно и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

Солженицын

П р и л о ж е н и я :

1. Мое письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67.
2. Изложение заседания в Секретариате от 22.9.67.
3. Письмо К. Воронкова от 25.11.67.
4. Мое письмо в Секретариат от 1.12.67.

В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПРАВЛЕНИЯ

Мое письмо IV съезду Союза Писателей, хотя и поддержанное более чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразно, повидимому централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но все это — ложь, как вы знаете.

Секретари Правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах обо мне распространяется новый фантастический вздор — вроде того, что я бежал в Арабскую республику не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорее). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобожден оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования).

Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца — четверть года! — и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о ее печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого позволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966-го. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако, не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать, и не надо уже будет голосовать о включении или невключении ее в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить ее печатать, если мы хотим ее появления сперва на русском языке, что в таких условиях мы не можем остановить ее неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть и по желанию?) Секретариата Правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно.

12 сентября 1967 г.

Солженицын

ОБСУЖДЕНИЕ РУКОПИСИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА «РАКОВЫЙ КОРПУС» НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО СЕКЦИИ ПРОЗЫ С АКТИВОМ 17 НОЯБРЯ 1966 ГОДА

Г. Березко. Я очень рад, что на наше заседание, обычно не столь многочисленное, пришло сегодня так много народу. Мы обсуждали рукописи и в прошлом. Я и мои товарищи считаем это одной из самых важных форм работы. Такое, необходимое для литературы обсуждение рукописи, чаще всего возникает, когда есть дискуссия между писателем и издателем. Иногда наше вмешательство бывает действенным.

Писатель по характеру своей работы обречен на одиночество. В процессе работы возникает естественное желание посоветоваться с товарищами по ремеслу, — или по искусству, — это кто как считает.

К нам обратился с просьбой писатель А. Солженицын, — я попросил бы Вас сюда, в президиум (А. Солженицын садится за стол).

Мне очень приятно, что наша первая встреча с талантливым произведением происходит на деловой почве.

Это рабочее обсуждение незаконченного романа. Надеюсь, что оно будет плодотворным. Обращаясь к Солженицыну: — Вы не хотите что либо сказать?

— Нет.

А. Борщаговский. Я начну с читательского признания. Готовясь к сегодняшнему обсуждению, я добыл экземпляр рукописи, думая, что бегло пролистаю ее, — я читал рукопись совсем недавно, — но это не получилось. Я жадно насквозь, ничего не пропуская, снова прочитал «Раковый корпус». Говорю это, конечно, не к собственной доблести. Думаю, что взяв в руки книгу, когда она выйдет, — а я уверен, что она выйдет, — я снова всю ее прочитаю.

Книга написана на труднейшем материале, на труднейшем сечении жизни, она входит в тебя не сразу. Можно сказать, что трудно обсуждать незаконченную книгу. И это не просто формальный момент. Есть вещи, над которыми думай, не думай сам все равно не решишь. Нельзя ответить на простейшие читательские вопросы о судьбах действующих лиц, нельзя игнорировать эти вопросы. Полный ответ на все эти вопросы даст

вторая книга. Но и сейчас то, что есть в первой части, настолько значительно, весомо, радостно по моему восприятию, так необходимо, — что вряд ли мы скоро дождемся произведения столь нужного.

Солженицын выбирает самый необходимый разрез жизни, — в этом помогает выдающийся характер его дарования, — без Вас А. И., эти слова говорить было бы легче, — «Раковый корпус», — вещь глубины «Смерти Ивана Ильича»; если брать ее сатирические пласты, — уровня «Господ Головлевых».

Наша литература идет к новому уровню по краям, по обочинам, в новых произведениях Белова, Можаева, — происходит бесконечно важное вглядывание в человека, человека, как он есть, а не такого, каким его можно сконструировать.

Все это мы находим в «Раковом корпусе». Вспомните, как мы бесконечно бились с проблемой положительного героя, она стала прямо каким-то проклятием. А книги, о которых я говорю, — книги о положительных героях. Кто такой Ефрем? Не очень-то красиво прожил он свою жизнь. Но пусть поздно, пусть за три дня до окончания жизни, он задумался над тем, над чем человеку полагается задумываться раньше. Именно писатели должны толкать людей к этим мыслям. Как и других героев Солженицына, Ефрема я вижу. Я чувствую тяжесть его шагов по палате. Он мне преподает важный нравственный урок: если он в состоянии задуматься над смыслом жизни, когда вроде только и остается что зверем завывать и возненавидеть всех, кто остается в живых, — значит это человек.

Палата, в которой происходит действие, поворачивается по разному. Когда она показана глазами Русанова, — перед нами быдло, нацмены, запах гноя, ужас. Но все другие, — как прекрасно они видят друг друга. Перед читателем возникает характер людей, созданных, воспитанных нашим обществом. Они не прокламируют дружбу народов. Но в них — истинная дружба, и мир глубокой деликатности, свойственной именно человеку из народа, не деликатности воспитанной потому что «так принято», а истинной. В палате люди, приговоренные к смерти не злобствующим автором, а жизнью. Я вижу этих людей в стремлении понять друг друга, в изначальных мерах. И в этом — нравственная высота книги.

Экземпляр рукописи, который был у меня прочитало немало писателей. Он испещрен чьими-то пометками чисто цензурского характера. Если отвлечься от многоструйного тече-

ния жизни, то выхваченные из контекста фразы могут «насто-рожить». Особенно некоторые слова Костоглотова. Он раздражен, он не может иначе, он имеет на это право, — но я в нем вижу многие прекрасные черты моего современника. У меня, как и у каждого есть свой внутренний список любимых героев, — и они теперь должны посторониться, дать место Костоглову.

Все мы знаем, что цензура существует, ей приходит свой черед. Но мне вдруг показалось, что если бы цензорами стали мы, писатели, то всем нам было бы гораздо хуже. Даже школьники не получили бы многих книг, которые давно уже стали классикой.

Я спорю с невидимым противником, ибо будучи прирожденным полемистом, я, в положении первого выступающего, выброшен как рыба на лед.

Время романа точно обозначено, — февраль 1955 года, канун очистительной грозы прекрасного партийного форума XX партсъезда, которому весь коммунистический мир верен, и будет верен.

Русанов не представляется мне абсолютной удачей книги. Прямая гражданская ненависть столь велика, — и она вполне понятна, — что лишила художника Солженицына тех оттенков, тех толстовских подходов, при которых Русанов был бы живым, не публицистическим, не карикатурным.

Мне не пришлось по душе и все, что связано с литературной жизнью. Дело, конечно, не в том, что я как литератор защищаю литературу, — просто в «Раковом корпусе» идет фельетонный, порядком набивший оскомину разговор. Книги названы случайные. Дёма, великолепно показанный живой мальчик, — я не очень верю, что он набрел на статью об искренности, что он затеял дискуссию об этой статье. Это от лукавого.

На мой личный вкус есть и натуралистические излишества. Я не против того, чтобы зримый мир опухолей наступал бы на человека. Но такие фразы как (цитирует слова Донцовой, — отрезанные груди составили бы гору), — такие фразы на мой вкус излишни.

Почему фигура Русанова так нужна? Ведь все сказано о таких как он в партийных документах? Так могут думать только прямолинейные люди. Александр Исаевич не зря возвращается к нему. Литература все равно должна такими заняться, — хоть

сейчас, хоть через пятнадцать лет. Потому что необходимо воспитать ненависть к русановым. Поразительна в этом смысле глава сна, казнь, которая постигает Русанова во сне. Воспитать ненависть необходимо во имя борьбы с живыми остатками русановщины. И здесь большой гражданский успех книги.

«Раковый корпус», — выдающееся произведение, которое, конечно же, увидит печатный станок, вносит много нового в наше понимание жизни. И приближает нас к тем рубежам, без которых наше общество не может дальше развиваться.

В. Каверин. Когда работаешь в литературе много лет, начинаешь видеть ее не глазами месяца, даже года, а глазами 10, 15, даже 25 лет. Мы незаметно для себя вступили в новый период. Произошло это неощутимо. Мне вспоминается такой эпизод: шли мы с Ю. Тыняновым, мимо проехал грузовик, я посторонился. «Стоит ли, — сказал Тынянов, — пыль как время, даже еще и не замечая, уже живешь им».

Вся деятельность Солженицына характерна для нового времени. Пришла новая литература, — и со старой, рептильной, ползающей, с литературой, признающей только прямую линию, — с нею покончено. Кто теперь помнит о книгах, изданных в миллионах экземпляров, книгах лживых, восхваляющих Сталина прямо или косвенно?

Покончено с позорящим нашу страну пугалом Лысенко. Я много лет был связан с миром науки и я знаю, что это значит. Издаются и имеют успех у читателей те писатели, которые устояли, которые сопротивлялись лжи, — Платонов, Зошенко, Бабель, Булгаков, Заболоцкий. В литературу возвращаются блеск, оригинальность. Эта литература будет иметь мировой успех, если этому не помешают.

Что ни месяц появляются новые имена, новые произведения, вызывающие удивление, радость, зависть. Я назову нескольких, — Казаков, Конецкий, Сёмин, Можаев. На первое место среди них я ставлю Солженицына. В чем сила его таланта? Не только в умении воплотить пережитое, — хотя в этом он и достигает необыкновенных высот. Мне как-то уже приходилось говорить о поразительной гармонии «Одного дня Ивана Денисовича». Есть у него еще две драгоценных черты, — внутренняя свобода и могучее стремление к правде. Что такое внутренняя свобода? Ведь мы, писатели старшего поколения, много лет скрывали себя от самих себя, путались в противоречиях, — это было естественным следствием сталинского

двадцатилетия. Солженицын и лучшие в новой литературе свободны от всего этого. Они отрешились от любой целенаправленности кроме желания сказать правду.

Пастернак писал Табидзе: «...революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацелить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к общественной благотворительности, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буравом без страха и пощады, но в себя, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте по-иски, тогда негде и искать».

Увидеть в себе народ, вольно или невольно найти отражение его надежд, радостей и страданий, — вот задача писателя. Наивно представлять себе, что все, что происходило с двухсотмиллионным, великим народом можно забыть по чьему-то указанию. И система сдерживаний тут ни к чему не приведет.

Солженицын очень большой писатель. От него самого зависит станет ли он великим писателем. Все знают, что у нас существует машинописная литература, которая ходит по рукам. Среди этой литературы есть превосходные произведения, например, первоклассный рассказ Солженицына «Правая кисть».

Почему мы сейчас обсуждаем рукопись, а не книгу? Почему до сих пор не издан роман Бека «Новое назначение»? Лучшие, самые опытные литераторы высказались за издание книги Бека. На другой чаше весов было мнение какой-то дамы. И мнение дамы перевесило. И в промышленности и в науке уже прислушиваются к мнению специалистов, в литературе — нет.

Какова идея еще незаконченной книги «Раковый корпус»? Поставить людей разных профессий, разного уровня образования, разной степени нравственной тонкости лицом к лицу со смертью. Это задача огромная, — бóльшая, чем в «Смерти Ивана Ильича». У меня большие надежды, что эта задача будет решена автором. Он совершает умный психологический разрез, и люди познают неведомые им самим глубины. Это не может не затронуть. Все мы окажемся перед лицом смерти. Характеры не только написаны, но и устремлены к самопознанию. Глубоко задуман Ефрем. Костоготовым движет не только воля к жизни, но и не боязнь смерти. Это мысль великая и глубоко конструктивная. Не боязнь смерти стала залогом нашей победы в войне. Не боязнь смерти стала залогом сохранения науки и искусства в условиях террора и лагерей.

Автор производит вивисекцию Русанову, — в точном па-

толого-анатомическом смысле слова и обнаруживается страшная пустота. Я согласен с Александром Михайловичем, возможно Русанов слишком прямолинеен. Автор скальпелем вскрывает его страх. Русанов — сильное воплощение мертвого идола сталинизма. Интересен Вадим, супруги Кадмины, — хотя здесь немного затянута. (Березко: — «а по моему мало о них, об этих прекрасных людях»). Не случайно в конце ощущение шагов истории. Как и всеми нами, Костогловым движет не злоба, не ненависть, а надежда.

Трудно судить о неоконченном произведении, но и сейчас можно сказать, что это книга огромной совести, которая всегда воодушевляла русскую литературу. Сюжета в собственном смысле слова нет, ничего не происходит, а как держит читателя! Почему до сих пор не напечатана эта рукопись? Найдутся ли нравственные уроды, которые будут защищать русановский террор? Неужели не ясно, что здесь, — свобода, добро, надежда, — все то, на чем была замешана наша революция, те понятия, которые были искажены русановыми?

Новая литература представляет собою мост между двадцатыми и шестидесятыми годами. Все попытки замолчать Солженицына обречены на провал. Он не может писать иначе, чем пишет.

И. Винниченко. Начну с предисловия, — я испытываю смущение, потому что я не готовился к выступлению. Я просто прочитал рукопись. Я не критик, не романист. Но прочитал я вздохнул и меня настолько это взволновало, что я считаю своим долгом высказаться. Я не согласен с Кавериним, — нам представляется счастливый случай, ведь обсуждая рукопись мы можем прикоснуться к самому творческому процессу. Здесь много говорили о силе таланта Солженицына. Не думаю, что его надо называть великим, — это не на пользу. Но несомненно он выдающийся писатель. Я слышал выражение «врать правду». Он писатель, который органически не может врать правду. Начну с художественных достоинств. Солженицын несколько отошел от своего первоначального стиля. Первые его произведения были перенасыщены диалектизмами.

Говорят, что в рукописи есть натуралистические подробности, есть рассуждения о тяжелом состоянии онкологии. Но и в этом отношении нам не следует бояться правды. Но, **может** быть, автору все же следует учесть возможную болезненную реакцию читателей.

Я не согласен с теми, кто считает, что в рукописи есть пессимизм, неверие в науку. Еще высказываются сомнения, — ведь в «Раковом корпусе» — пресловутая лагерная тема. Сначала стали писать о лагерях, а потом появилось мнение, — а нет ли перехлёста? Стоит ли это продолжать? Но ведь в данном случае перед нами настоящее художественное произведение, вскрывающее раковую опухоль нашего общества.

Вот что мне кажется нездоровым: вскрывая пороки, присущие культу личности, мы обращали внимание прежде всего на крайности, — например, лагеря, но очень мало внимания обращали на огромный ущерб экономике, нравственности. И здесь автор прав, — мы потерпели большой нравственный ущерб.

Мне не понравился образ Капы, она однолинейна, не ясно почему она в курсе доносов мужа? Совершенно неестественно и что дочь об этом знает и даже успокаивает отца. Рассуждения о литературе, вложенные в уста Авиетты производят странное впечатление. Этот образ не удался. Трудно судить по первой части. Хотелось бы, чтобы автор рассказал нам сегодня, как он собирается строить вторую часть.

Н. Асанов. С моей точки зрения наше ощущение идеала, которое мы воспитывали в себе сорок лет давало бы право каждому писателю публиковать свои произведения и без таких обсуждений. Каждый из нас способен быть для себя редактором. И только странное недоверие к нашему клану заставляет нас собираться здесь в таком количестве и обсуждать произведение, которое выше большинства написанных нами книг. Надо восставать против такого положения, — восставать, конечно, не в большом, а в малом плане, надо защищать то, что нуждается в защите.

Мне не очень понравилась панегирическая часть выступления А. Борщаговского, но ведь потом и он сам встал на позиции редактора, подсказчика, советчика. Нам не доверяют, нам все пытаются помогать, даже цензоры.

Произведение А. Солженицына очень опасно, чревато. Вот Винниченко здесь обмолвился о раковой опухоли, — это же невольно, сразу сближается, раковая опухоль, неизлечимость рака не только у одного человека. А если вдруг речь идет и об обществе? Мы, конечно, надеемся, что наше общество излечится. Но это опаснее, чем какие-то отмеченные красным карандашом отдельные фразы. Речь ведь идет о том, чтобы

книга с нашей помощью вошла бы в жизнь. А вдруг автор и примет что-то из того, что сейчас вызывает наше неудобство.

Что в книге наиболее сильно и вместе с тем наиболее тягостно читать? День доктора Донцовой. Чувство приближающегося к ней самой рака. Она заведует отделом, она прекрасный врач, а жизнь ее за пределами больницы нищенская, ужасная. И это правда. Положение с интеллигенцией в нашей стране тягостно; инженеры, врачи мало зарабатывают, отвечают за все, кроме, разве что управления государством (смех в зале). Как подумаешь об этом, — ком становится в горле. Я не говорю, что это надо переписывать.

Очень сильны все сцены, связанные с Костоглотовым. Образ Русанова слабее. Не нужно, чтобы и жена и Авиетта знали о его доносах. Хорошо о реабилитированных, — они же действительно ничего ни с кого не требуют, это и я могу сказать по собственному опыту.

Литературные реминисценции в повести не стоят выеденного яйца, они ослабляют вещь. Повидимому, врач Гангарт будет играть главную роль в жизни Костоглотова, не надо и сравнивать ее с Зоей, а то у читателя ощущение неловкости за Костоглотова. Нужно ли было Ефрема Поддуваева делать с первых же страниц столь беспощадно грубым?

Не думаю, что можно кончать этим литературным спором между Дёмой и Авиеттой. Это не обогащает Вашу прекрасную вещь, — это я говорю не как цензор, а как товарищ по профессии.

Если уж автор задумал показать смерть 26 человек, то надо внести в поле зрения мир, окружающий раковый корпус. А то есть только литературные ссылки. Сколько сил и жизни отдает больным Донцова, как интересна мать Вадима, разыскивающая лекарство для сына, — сколько упущено возможностей. Вы сами обеднили себя тем, что слишком ограничили действие в пределах палаты. Тем самым подчеркивается второе значение заглавия, а я надеюсь, что ваш раковый корпус окружен здоровой землей. Очень хочется, чтоб эта вещь обросла бы плотью нашего общества. Тогда она станет более движущейся к печати работой.

А. Медников. А. Борщаговский сделал наиболее обстоятельный разбор произведения и мы все вольно или невольно движемся по его следу. В «Раковом корпусе» намечена интернациональная тема. В палате много немцев. Я имею к этой

теме личное касательство. В начале войны я был бойцом истребительного батальона НКВД. Наряду с другими было нам дано особое задание, — за одну ночь выселить всех немцев из Москвы. Было очень тяжело. Выселяли всех, — членов партии, женщин, детей. Не знаю, не вхожу в рассуждения была ли нужна такая превентивная мера, но я и тогда думал, как будут дальше жить эти люди? В книге Солженицына я их увидел, увидел Федерату, Веру Гангарт, — это хорошие, светлые люди. Здесь уже говорили о врачах Кадминых (цитирует). Ни в одном произведении Солженицына не было такого количества чистых, светлых образов. Я тоже думал, — почему называется «Ракочный корпус»? Речь идет о переломном времени. Ломается общественная атмосфера. В сущности все, описанное в книге могло бы происходить и на шахте, и на заводе. Автор взял раковую палату, чтобы обнажить драматизм. Я не буду повторяться, — Русанов утрирован. Образ мог бы быть мягче. Мне очень нравится Костоготов, — во все верю. Но фраза Борщаговского, что этот образ «выражает прекрасные черты современника» кажется мне претенциозной. Это образ автобиографический, я удовлетворен тем, что происходит с ним как с человеком. Я о 37-м годе знаю не по наслышке, не из литературы, — это все коснулось моей семьи, моей судьбы. Но в самые трудные моменты мы всегда думали более масштабно, думали о политике, о судьбах страны. Мне этого не хватает у Костоготова. У автора есть полная возможность показать его и с этой стороны.

Солженицын — тот, которого читают все писатели. Критики со временем разберутся почему он занял такое место в литературе, в общественной жизни. Он писатель трагической темы. Если бы его судьба и сложилась иначе, он все равно был бы трагическим писателем. Если бы не родился Солженицын, — сказанное им все равно обязательно было бы сказано кем то другим.

Л. Славин. Я читал рукопись с карандашом в руках, зная что предстоит обсуждение. В пределах моего вкуса я обнаружил некоторые промахи, — не надо об этом молчать. По мере чтения я начал находить симптомы рака у себя, как студенты медицинских факультетов находят все болезни у себя. Художественная сила автора не в этом, она — в социальном диагнозе, который поставлен очень точно. Через опухоль дан разрез общества. Происходит поединок со смертью. Свойственная

автору беспощадная искренность дана на фоне демократичности смерти. Я с волнением ждал — кто-кого? Автор, смерть или наоборот. Найдёт ли он то, что преодолевает смерть? Или поддастся? Я не согласен с теми, кто находит Русанова неудачным. Наряду с Донцовой это одна из крупнейших удач. Меня меньше всего удовлетворил Костоглотов.

Русанов, — бюрократический середняк, — становится гадом, который губил людей ради собственного благополучия. Такой силы образа еще не было в нашей литературе. И семья его хороша. Образ воздействует с тем большей силой, что автор как бы и добр к нему. Единственный промах, — бредовой сон. Не хватает художественной строгости. Пленительна Донцова. Хорош Вадим, Мита, Дёма, особенно разговор Дёмы с Асей. Сила образности, — огромна, убедительна. Неуклюжая меткость языка, — от Лескова, а стиль — от Бунина. Солженицын — резкий, жестокий автор, он принадлежит к линии Достоевского.

О Костоглотове, — не достигает силы выразительности. Речь его очень похожа на авторскую. Он вложил слишком много себя, образ теряет в конкретности. Временами натываешься на блестящее щегольство образностью. Например, — воспоминание о симфонии Чайковского. Кое-что очерково. В этом смысле «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка» обладают большей цельностью, большей свободой от беллетристики.

В конце, с Авиеттой врывается памфлет, и это сразу переводит вещь на более низкий уровень. Но и сейчас — это одно из самых сильных, самых нужных произведений последних лет, с которым я могу сравнить только «Новое назначение» Бека.

3. Кедрина. Мне представляется, что то, что мы можем здесь разговаривать о произведении далеко не ординарном, не должно восприниматься болезненно. Мы работаем, не надо бояться как бы не сказать чего-либо, что не понравится автору. Ведь перед нами не нервный, начинающий, которого мы боимся травмировать, перед нами безусловно талантливый и зрелый писатель. Мы должны работать доброжелательно, чтобы данный автор развивался наиболее естественно. (Во время выступления Кедринной начинают уходить из зала, председатель призывает дослушать). Мне кажется очень интересным поговорить о почве, о традиции, на которой растёт этот интерес-

ный автор. Это традиция Толстого. «Раковый корпус» — вещь менее выговоренная, чем другие произведения Солженицына. Это естественно, ведь когда автор проходит спор с редакцией, он и выявляет себя с большей полнотой (громкий смех, люди продолжают уходить, председатель обращается к залу, — «уважайте президиум!», указывает на Солженицына. Кедрина продолжает говорить). Что же тут особенного, в этом наша повседневность, ничего неожиданного. Это творческий спор, если конечно автор хороший и редактор хороший.

Верно, что «Раковый корпус» связывают со «Смертью Ивана Ильича». Это для нас очень актуально, — человек на грани жизни и смерти, — то, что Федин подчеркивал в восприятии Толстого. Наследники не только следуют традиции, они развивают ее. Солженицын преодолевает то, что у Толстого связано с непротивлением злу насилием. Но позиция автора здесь выражена не ясно. Отсюда происходит и противоречивость оценок: вот, видите, одним нравится Костоглов, другим, — нет, одним нравится Русанов, другим, — нет. Мы согласны с Костогловым в его ненависти к Русанову, не найдется ни одного человека, который будет защищать Русанова (крики из зала: «кроме самих русановых!»).

Но в Русанове все только названо. Мне сон не понравился. Со времен Чернышевского мы настороженно относимся к снам. Сон — эквивалент того, что недовыражено реалистическими средствами. Все дано прямолинейно. Было бы гораздо убедительнее, если бы Русанов с ужасом подумал, что скажут дети о его доносах. Авиетта введена, чтобы характеризовать нашу литературную обстановку не с лучшей стороны. И тут Лев Толстой не при чем как родоначальник традиции. Костоглов, показанный в жажде жизни, очень хорош. Он противопоставит Русанову. Но что не удовлетворяет в противопоставлении этих двух характеров? Только Русанову надо говорить о самых святых для нас вещах. Да, он лишь прикрывается этими словами. Но в повести кто произносит их всерьез? Кто отражает то, что ведет наше общество вперед? Да, есть атмосфера вещи, есть Донцова, есть Гангарт. Но ведь есть еще и общественный идеал, общественные страсти. Он должен быть отражен. Костоглов отражает жажду жизни вообще, но общественных страстей не выражает.

Сама тема Толстого в книге очень убедительна. Хотелось бы, чтобы Ефрем был дан более ярко. Есть натуралистические

детали, есть излишества. Надеюсь, что сам автор это увидит. Но в целом автор не натуралист.

Важна тема молодежи. Ася, Зоя не просто девушки, женщины обездоленные войной. Когда автор заставляет Костоглотова почувствовать, что Вера ему ближе, чем Зоя — здесь он подходит к истине. Он ведь создает персонажи не по методу «кап-кап» (в ответ на выкрики из зала объясняет, что один критик ввел этот термин «кап-кап»).

В образе Аси отражена скорее сегодняшняя молодежь, — во время войны не так уж много было танцулек.

Вещь очень интересна, не сомневаюсь, что она будет напечатана. Но требуется еще много работы, и не для того, чтобы она прошла редакции, а чтобы полнее воплотился замысел автора, чтобы четко обозначилась общественная позиция автора.

(Солженицын дает фактическую справку: о доносах Русанова была осведомлена только его жена; дочери они решили сказать лишь в последний момент).

Перерыв.

Л. Кабо. Хотелось поделиться непосредственным ощущением прочитанной вещи. Начать читать необыкновенно трудно, все в тебе противится: не хочу, чтобы меня вели в мир страданий, смерти, ужаса. А потом совершенно неожиданно наступает просветление. Лицом к лицу со смертью начинаешь думать о том самом главном, о том, к чему мы очень мало приучены советской литературой. О смысле жизни не в прямом, линейном, а в самом глубинном смысле слова. Я не ощутила, что не хватает мира за стенами больницы. Сюда пришли люди самого разного жизненного опыта и они принесли сюда этот опыт. Они уравнены одним страданием и опасностью и как по разному они реагируют на эту опасность!

Если говорить о Толстом я вспомнила не «Смерть Ивана Ильича», а госпиталь на Бородинском поле, Анатоля Курагина, князя Андрея. Автор там перед лицом смерти амнистирует своих героев. Насколько же по иному относится к своим героям наш современный писатель. И здесь на краю страданий он вершит свой суд, суд страстный и суд пристрастный. С нами говорит человек, умеющий взлетать на вершины и ступающий с нами вместе по грешной земле.

Здесь мало говорили о Вадиме. Очень не хочется, чтобы он умирал, — такой в нем заряд мечты, таланта, наконец просто

молодости. Поразительна зоркость писателя, — он ведь открыл в нем черты опасные, открыл душевную слепоту и глухоту. Вадим очень плохо разбирается в людях. Он и Русанова зачисляет в «честные трудяги». Он судит по поверхности. В нем есть суперменство, свойственное части нашей технической интеллигенции. Тем отраднее видеть в авторе боевого соратника.

Костоглотов — громадная удача автора. Более всего в нем активнейшего самоутверждения, стремления распоряжаться собой. Это естественно при той биографии, которая предшествовала больнице.

Решительно не согласна с Асановым в его критике изображения любви. Наша дорогая советская литература прививала тот рационалистический взгляд на любовь, согласно которому если ты хорош, то и полюбишь хорошую, если ты лучше, — то и полюбишь лучшую и т. д. А здесь у Солженицына поразительно как входит противоречивое, земное чувство. Кстати, Зоя сама очень хороший человек. Как свободно, широко дышится в этом произведении, не стесненно. Женщины поразительны, изображены не только с лиризмом, но и с глубоким состраданием, — это новая, щемящая нота.

Русанов написан неровно. Я вся зашлась (простите за вульгаризм), когда он вступает в спор на тему «чем люди живы» и уверенно произносит: «идейностью и служением обществу», а в это время прокусывает самый сладкий хрящик курицы. Но кое-где в этом образе есть публицистические пережесты. Все пережитое, ненависть к Русанову хватает автора за горло и это понятно. Еще раз повторю, — как хорошо, что мы в произведении, где автор также страстен и также пристрастен, как и современные читатели.

Великолепен штрих из биографии Русанова, когда он, еще молодой рабочий, идет чистить интеллигенцию. Корни очень многого из того, что мы пережили в 37 году и позже были заложены тогда, в двадцатых, тогда были заложены основы к перепугу. И за это я хочу поблагодарить автора.

Рукопись производит громаднейшее впечатление. Конечно она станет книгой. Присоединяюсь к высказанному уже неудовлетворению последней главой. Здесь Александр Исаевич мельче самого себя.

В. Сарнов. Шкловский в одной из давних статей заметил, что Булгарин не травил Пушкина, — он просто давал ему ру-

ководящие указания. С тех пор утекло много воды, отменили крепостное право, произошла великая революция, — а Кедрина и Асанов продолжают давать руководящие указания Солженицыну.

Мы обсуждаем рукопись не спроста. Литературная судьба Солженицына уникальна. Лет 10 тому назад один молодой человек сказал мне: великая русская литература кончилась на Бунине и только в 56 году молодые писатели начали все заново. Это точка зрения невежественная, чтобы так сказать **надо** не знать Бабеля, Платонова, Булгакова, Зощенко, Пастернака, Ахматову. Солженицын и среди этих имен занимает особое место.

Автор одного из писем в редакцию об «Одном дне Ивана Денисовича» сказал, что до Солженицына литература обходилась без грубых словечек. И никто не догадался ответить этому человеку, что до Солженицына литература, к сожалению, обходилась без многого. Прочитав «Один день» я испытал радость и счастье, — великая литература продолжается. Я не поставил бы «Раковый корпус» рядом с повестью «Один день Ивана Денисовича».

Солженицын ввел в литературу новый мир, подобно тому, как в свое время Горький рассказом «Страсти-мордасти». Нельзя говорить о Солженицыне как об одном из советских писателей. В 1934 г. во время первого съезда была выпущена сатирическая книга «Парад бессмертных». Там предлагался литературный табель о рангах, — шпала, ромб и т. д. Советская литература моя профессия, однако, я не знаю большинство тех писателей, которые тогда наделялись самыми высокими званиями в соответствии с занимаемыми местами в литературной жизни. Достаточно вспомнить, что в президиуме съезда рядом с Горьким и А. Толстым сидели А. Караваева, Кирпотин, Чумандрин. А Булгаков не получил на съезд даже гостевого билета. (Крики из зала: «Чумандрин хороший писатель», «Чумандрин убит на фронте!», «Не надо нам нового табеля о рангах!»).

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» печатается в журнале «Москва» с № 11, видимо для того, чтобы поднять подписку. (Снова крики, неразборчивые). В 1932 году Замятин начал письмо Сталину словами, — к Вам обращается писатель, приговоренный к высшей мере. Нет. Замятина не приговаривали к расстрелу. Но для писателя не печататься, — это и есть высшая мера.

Незадолго до смерти Вас. Гроссман написал рассказ «Тиргартен» и «Армянские записки». Ни то, ни другое не было опубликовано. А потом оба произведения напечатали, значит ничего особенного в них не было. Автор между тем тоже был приговорен к высшей мере.

Я желаю долгих лет жизни Александру Исаевичу, но я хочу, чтобы все его произведения увидели свет при его жизни. Ведь у «Театрального романа» Булгакова отняли 25 лет литературной жизни.

Ю. Карякин. В своем завещании Ленин высказал страстную и трагическую надежду, что придут люди, необходимые нам, со следующими качествами: они ни слова не скажут против совети; не побоятся вслух сказать о любых ошибках; не побоятся борьбы. Мы забываем эти слова, хотя часто цитируем завещание. А. Солженицын отвечает этим статьям.

В записках Достоевского есть слова, — что было бы, если бы Толстой соврал, если бы Гончаров соврал. Какая это была бы безнравственность, если эти лгут. Извините за невольный каламбур, — но Солженицын не солжет. Так на вершинах политики и на вершинах культуры сходятся требования, — жажда бескомпромиссной правды. Повесть «Раковый корпус» отвечает этим критериям. Меня поразило, что Маркс, уже автор «Капитала», уже основатель Интернационала, задумал написать драму о Гракхах. Есть такие разрезы действительности, которые не познать никаким иным способом кроме искусства.

Мне понравилась статья Дымшица о повести «Один день Ивана Денисовича», я бы и заменил предисловие Твардовского этой статьей.

Всем очевидно, что «Раковый корпус» должен выйти в свет. Я хочу привести политические аргументы в защиту этой мысли. Именно политические, а не политиканские. Мне пришлось собрать едва ли не все зарубежные отзывы о книге «Один день Ивана Денисовича». Эта книга единодушно была осуждена на страницах троцкистской, китайской, албанской, корейской печати. С теми людьми, которые и сейчас ее осуждают я расхожусь не по вопросу о том, надо ли применять политические критерии к произведениям искусства. Нельзя не применять. Подавляющее большинство положительных отзывов о повести «Один день...» дали руководители крупнейших компартий, самые выдающиеся марксисты современности. Публикацией этой повести мы приобрели огромное количество союзников, ибо люди поверили, что вернулась, как верно гово-

рил Каверин, подлинность тем идеям, которые губили Русановы.

Надо учесть печальный урок с повестью «Один день...», — ее противники повторяют (быть может и не по злему умыслу) все то, чем начинается и чем кончается хунвейбинство.

Вадим пострашнее Русанова. Им движет червоточинка тщеславия, он может еще очень много натворить. Образ, к сожалению, очень перспективен. Это настоящая находка автора. Тов. Кедрина уверяла нас тут, что с Русановым покончено, что сейчас его уже никто не поддержит. Это заблуждение, — не знаю злонамеренное ли, во всяком случае это неправда. Русанов — не вчерашняя опасность, не только опасность 55 года. Они живы, они мечтают о своем дне. Быть может, как показывает сегодняшнее обсуждение, их мечты и утопичны.

Есть у меня одно единственное внутреннее несогласие с автором, которое мне трудно сформулировать. Я вижу человека Солженицына, который не может простить Русанову все, что тот совершил. Камю при получении Нобелевской премии сказал, что высшее искусство не прокурорно. Человека можно повернуть и так и этак. Великая победа художника Солженицына состояла бы в том, что ненавидя Русанова, и благословляя смерть за то, что хоть смерть, — управа на русановых, — он тем не менее и в нем сумеет найти, обнаружить человеческое. Если это невозможно, тогда мы остаемся с безнадежной концепцией первородного греха.

Меня потряс Фетюков в «Одном дне», — этот шакал, лижущий миски, — а Иван Денисович вдруг говорит, — а разобратся так жалко его. Высшая мера наказания в искусстве не совпадает с высшей человеческой мерой. В искусстве надо, чтобы злодей либо как Иуда повесился, либо, — иди искупай. Это намечается. Это с огромным тактом намечается во сне. Все человеческое в Русанове пока загнано под кожу (громкие аплодисменты).

Е. Мальцев. Только вчера я кончил вновь читать эту замечательную книгу. Я не собираюсь учить Сарнова. Меня не удивишь острыми выступлениями, я и сам выступаю остро. Но мне кажется, что человек, выходящий на эту ответственную трибуну должен выбирать слова. Обсуждение идет прекрасно, мне очень понравилось замечательное выступление Каверина. А Сарнов проявил здесь лихость, безответственность, а это не может сейчас нам помочь. О самом произведении Солженицына

он не сказал ни слова, но, зачем-то начал сравнивать советских писателей с работниками третьего отделения (реплика из зала: «вернемся к теме!»).

Я прочитал рукопись во второй раз и нашел много нового, много новых оттенков. Больше всего меня взволновала мысль об ответственности человека перед жизнью, перед собой. Люди должны ответить на вопрос: для чего они жили, так ли они жили?

Как верно говорила здесь Любовь Рафаиловна, читая книгу, постепенно от оторопи перед жестокостью приходишь к просветлению. Приходишь к мысли о том, как трудно в этой нашей жизни быть человеком до конца. Здесь спорили о символике заглавия. Говорили будто бы речь идет о раковой опухоли нашего общества. Если бы наше общество было бы неизлечимо больно, мы здесь с вами не сидели бы, не обсуждали бы это произведение. Я решительно отметаю это толкование (аплодисменты). О Костоглотове Кедрина считает, что этот характер не выражает ведущие тенденции времени. Это совершенно неправомерное требование, — ведь в этом характере автор и не ставил такой задачи. Не нужно забывать в какой момент происходит наша встреча с героем, — Костоглотов находится в вечной ссылке. То, о чем он говорит, то, о чем он спорит, мне дорого. Он — замечательный человек, прошедший через страдания, унижения и не потерявший веры в себя, в людей. Сильнее всего это дано в сопротивлении смерти.

В этом больничном корпусе очень много хороших людей.

Я люблю и другие вещи Солженицына, но в этой все мотивы его творчества получают более широкое, объективное выражение.

Мне тоже кажется, что Русанов излишне прямолинеен и однозначен. Даже где-то и оглулен. Автор взял совсем нетронутый искусством пласт, но в жизни все сложнее. Когда я буду читать уже вышедшую из печати книгу, я хотел бы почувствовать эту большую сложность.

И разговоры о литературе мельчат произведение.

Мы собирались здесь в Союзе, обсуждали роман Бека. Собрались тогда люди серьезные и ни у кого не возникала мысль, что роман Бека не будет напечатан. Я и сейчас уверен, что книга Бека будет издана. У нас идут сложные и необратимые процессы демократизации, — догматики и субъективисты могут помешать этим процессам, но не могут их остановить.

Я хочу видеть напечатанной рукопись Солженицына. Я испытывал, когда читал, огромное чувство радости, праздничности, и сегодня я счастлив, что познакомился с автором.

П. Сажин. Писатели не обычного таланта всегда трудно проходят по жизни. Я смотрел недавно передачу по телевизору, посвященную Булгакову, — при жизни такая передача была бы невозможна. Такая же судьба у Ахматовой, Зощенко, Пастернака, — не буду перечислять всех.

Я не могу отделаться от сомнений, — вправе ли мы давать советы автору, — ведь будет же вторая часть. Одно мы вправе сделать, — сказать, что книга — большая удача. Автор свел своих героев не на случайной остановке.

Появление Солженицына мешает всем нам писать плохо (из зала: «не надо себя недооценивать!»).

Часто слышишь у нас жалобы, что мы не можем наладить в Союзе настоящую творческую жизнь. А вот смотрите, сколько народу пришло сегодня. Конечно, здесь есть и элемент сенсации. Рукопись Солженицына переживает трудную судьбу, — мы хотим помочь автору. А кроме того, каждый думает о том, что и его рукопись может постигнуть такая же судьба. Но есть и другая причина, — нам всем интересно, нам всем важно это обсуждение. Автор слушает нас, пользуясь его выражением, «обирчиво». Я хотел бы, чтобы он сумел отбросить все то лишнее, что мы здесь наговорили. Я покорен повестью. Согласен с теми, кто говорил о слабости Русанова. Можем себя поздравить с такой удачей.

Г. Березко. Все у нас шло бы очень хорошо, если бы не огорчительное выступление Сарнова. Нельзя сравнивать советских писателей с работниками 3-го отделения.

Е. Тареп. Все выступавшие до меня сходились в одном, — перед нами явление художественно поразительное. Стало быть нет сомнения: затруднения у повести Солженицына с печатанием основаны на том, что в повести нашлось место для изображения отрицательных черт нашей действительности. Весь опыт мировой литературы говорит, что нельзя замалчивать зло. Оно тогда становится сильнее (далее оратор подробно рассматривает главу романа «Воскресение»). Солженицын — на уровне великой традиции и не растворяется в ней. Умеет все свести к главному фокусу, — один день, один случай, здесь — одна палата. При этом, — огромная идея, всесторонне раскрыта картина большого мира. Узкие, тесные рамки палаты несколько

не дают. Запоминаются не только главные персонажи, но и самые второстепенные, лишь едва мелькнувшие. Солженицын — крупный мастер эпической формы. Другая его стихия, — стихия сказа.

Русанова не поняли те, кто обвиняли здесь Александра Исаевича в отсутствии добротной художественной ткани. Ведь Русанов искренне впитал в себя всю атмосферу лжи, при которой стали возможны доносы.

А. Турков. Я считал, что самое трудное поле боя, которое берет для себя Солженицын, — это сам раковый корпус, сражение со смертью. Но это обсуждение еще больше укрепило меня в том, что самое трудное поле боя, — столкновение с нормативной эстетикой. Один герой Платонова говорит: «без меня народ не полон». Это убеждение свойственно и Солженицыну. Он преодолевает нормативную эстетику прежде всего в изображении народа. Очень важно и переосмысление такого, якобы, героического образа, как Вадим. Он дал нам многообразие народных миров, а мы до сих пор поучаем писателя, исходя из готовых схем.

Г. Бакланов. Что должна отражать литература, — саму жизнь или сложившиеся представления о жизни? Все ответят на этот простейший вопрос, — конечно саму жизнь. А между тем мы до сих пор судим произведение в зависимости от того, отражает ли оно сложившиеся представления о жизни.

Литература не только отражает жизнь. Литература — часть жизни. При раскопках находят и обугленные зерна и наскальные рисунки, — хлеб насущный и хлеб духовный.

Есть ли у общества иной способ изжить свои беды, кроме как публично переболел, пережив их? Нет иного способа!

Эту задачу и решает произведение Солженицына.

Меня приучила армия к тому, что когда начальство советуется, это вовсе не означает, что оно действительно хочет выслушать совет. Мне кажется, что некоторые ораторы сегодня злоупотребили своим правом давать советы рядовому Солженицыну (смех).

Великое чувство меры, полностью присутствующее в книгах «Один день...», «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка» здесь, в этом произведении ощущается не везде. В наибольшей мере оно присутствует в главе Уш Терек.

Больно, что уже второе поколение русановых идет в литературу, — но что же тут сердиться, это факт жизни. А, Вы,

Александр Исаевич, Вы рассердились и начали сечь следствие. Отсюда излишняя публицистичность Русанова.

Просто стыдно не печатать «Раковый корпус».

(Председатель объявляет последнего, как он сказал, из записавшихся А. Белинкова, но Белинков, в виду позднего времени, отказывается от слова, просит приложить его написанную речь к стенограмме).

А. Белинков. Замечательное достоинство произведений Александра Исаевича Солженицына состоит главным образом в том, что они написаны.

Человек догадался написать свои книги.

Я знаю многих людей, которые могли бы тоже писать замечательно, но они не догадались это сделать. Простой мысли помешали многие другие, очень серьезные, очень сложные. Случается так, что люди, обладающие большим жизненным опытом, иногда знают больше чем следует знать писателю. Например, они знают, что всегда может что-то случиться и их книгу не издадут.

Я не выдумал людей, о которых сказал сейчас. Я говорю о людях, которых мы все хорошо знаем. Некоторые из них пришли даже сюда. Я говорю о тех, кто когда-то писал хорошо, а потом решил, что для общества будет гораздо полезнее, если они начнут писать плохо. И многим это действительно удалось.

Внимательно изучая русскую литературу, мы узнали цену этим догадкам: когда Пушкин начал писать стихотворения и поэмы, из которых «не выжмешь... ничего» (а хотели выжать дифирамб победоносному оружию, покоряющему Кавказ), то критика ответила на это чрезвычайно сердито. Она строго сказала: «Упадок таланта Пушкина». А когда Пушкин написал «Графа Нулина», один из ранних подступов к «Повестям Белкина», а «Повести Белкина» были прямыми предшественниками «Шинели», а из «Шинели», как хорошо известно всякому русскому писателю, мы вышли все, то было сразу с необыкновенной пронизательностью замечено, что «Граф Нулин» есть подлинный нуль в нашей литературе.

Александр Исаевич Солженицын догадался написать замечательные книги.

Такие книги получаются при сочетании двух качеств: таланта и смелости. Это необходимый минимум, без которого в искусстве не получается ничего.

Талант и смелость Александра Солженицына проявились в том, что он после некоторого перерыва, имевшего место в истории нашего искусства, стал говорить голосом великой литературы, главное отличие которой от литературы незначительной в том, что она занята категориями добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества, власти и личности. В великой литературе действующими лицами могут быть титан Прометей или богоборец Каин, но для великого искусства важны не большие чины, а значительные художественные идеи, и поэтому повесть о страданиях Акакия Акакиевича Башмачкина раскрыла людям с неоспоримой убедительностью категории добра и зла, хотя во всей повести нет ни одного слова, которое следовало бы искать в философском словаре, а из важных персон лишь мельком упоминается «значительное лицо» в генеральском чине, которому далеко до Прометея, не говоря уж о Каине.

Александр Исаевич Солженицын не написал трагедии о титане и не написал мистерии о богоборце. Он написал повесть об «Одном дне...» и рассказы об одном «дворе», одном «случае»...

День, двор и случай Александра Исаевича Солженицына это синекдохи добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества.

Я читал заметку в почтенном журнале и слышал разговор в высокочтимом Союзе, порицающие Александра Исаевича Солженицына за части, по которым читатели самостоятельно должны воспроизводить целое. От писателя не желали получать мир по частям. От него требовали сразу весь мир, да еще такой которого не бывает. Это естественно для мышления людей, хорошо понимающих, что часть может быть лишь воспроизведением недостатков, а целое, несомненно, воспроизводит сразу всю гидроэлектростанцию.

Прочитав заметку и вникнув в разговор, я, наконец, понял, что один писатель не может исчерпать потребности целой национальной литературы. Я вспомнил, что и Бальзаку помогали в правильном и исчерпывающем освещении эпохи другие хорошие писатели: Констан, Стендаль, Мюссе, Гюго, Виньи, Мериме. Писатель Солженицын существует в одной литературе вместе с другими писателями, и правильное, а главное, исчерпывающее освещение эпохи он создает вместе с ними. Все писатели нашей доблестной литературы изо всех сил воспроизво-

дят многоликий и ликующий образ времени. Так, писатель Софронов воспроизводит оптимистическую Стряпуху, а писатель Солженицын — пессимистическую Матрену. Если сложить, то мы получим... гидроэлектростанцию. Писателю Солженицыну, как и другим большим художникам, удалось показать еще одну незамеченную до него грань времени. Многогранность искусства так важна и так отвратительна некоторым искусствоведам, что первая потребность, которая возникает у людей, обладающих прирожденной любовью к порядку, это сделать что-нибудь с многогранником. Например, треугольник. Для этого стараются убрать все лишнее. Таким способом производится превращение рукописи в книгу.

Что же такое смелость человека, написавшего повесть «Раковый корпус»?

Одна из главных забот нашей литературы последних тридцати лет связана преимущественно с развитием классической традиции. В сочетании этих трех слов не все слова равноценны, и предпочтение чаще отдается двум последним, а иногда одному последнему. Александр Исаевич Солженицын сосредоточен главным образом на первом слове — развитии.

За тысячелетия своего существования художественная литература не становилась все лучше и лучше. Часто трудно понять, как после блестящего десятилетия она падала столь низко. Но всякий раз, когда снова приходило блестящее десятилетие, появлялся новый и почти всегда более совершенный метод исследования мира. Нужно иметь в виду, что искусство, как и другие виды восприятия и воспроизведения, проходит определенные стадии развития, и не становясь от этого не хуже и не лучше («Фауст» не превзошел «Иллиаду», «Моцарт и Сальери» оказался значительнее «Дворянского гнезда»), все время последовательно изменяет и чаще совершенствует метод исследования. В других видах исследования, главным образом, в естественных науках это более заметно. Поэтому я привожу пример из их истории.

После изобретения микроскопа естествоиспытатели увидели клетку, и с этого времени изучение перешло на новый — клеточный — уровень. На этом уровне были совершены решающие биологические открытия. Микроскоп появился не потому, что жаждали именно его, не потому, что естествознание предшествующего периода исчерпало возможности, и необходимо было что-то придумать, чтобы двигаться дальше. Ре-

шающие открытия физики, математики, химии и кибернетики перевели естествознание на иную — молекулярную — стадию. Сейчас происходят радикальные события, приближающие новый уровень.

Молекулярный уровень исследований А. Солженицына связан с пристальностью анализа, то-есть с извлечением исторического обобщения не из больших масс, а из элементарной частицы и включением в систему восприятия явлений, недоступных и не представлявших интереса для предшествующей стадии литературного развития.

Поэтому в повести «Раковый корпус» могли появиться такие люди, как Русанов и Костоглотов, которые вступают в неведомые предшествующей литературе взаимоотношения. Взаимоотношения между вечно ссыльным и начальником отдела кадров, который сылал, создают иную прозу, нежели та, которую мы уже знаем.

Так как в первую очередь читательское внимание сосредотачивается на языково-образной системе писателя, а она у Солженицына кажется похожей на обыкновенную великую русскую прозу, то ее легко и охотно стали принимать за традиционное письмо. Но великое искусство традиционным не бывает: это не надо доказывать, нужно просто перечислить: Аристофан, Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин, Бальзак, Достоевский, Блок, Пастернак — они ни на кого не похожи. Солженицын создает новую систему русской прозы, потому что вводит в состав искусства новые, неведомые или забытые представления о добре и зле, жизни и смерти, взаимоотношениях человека и общества. Кажущаяся традиционность его манеры сходна искусству Возрождения, которое было близко античному, но только издали и при невнимательном разглядывании. Творчество Солженицына не только похоже на Возрождение, оно и есть Возрождение русской духовной жизни.

Вот как похожа проза Солженицына на русскую классическую литературу и как явственно она лишь помнит ее опыт и пользуется им для создания нового искусства.

«...в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему (Костоглотову. — А. Б.)... Русанов... с обидой выговорил лаборантке...

— Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газеты первому мне!...

— А почему это вам первому?

— Ну, как почему? Как почему? — вслух страдал Павел Николаевич, страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами...

Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, по тому, что **не** указано и опущено, — составить верное понятие о новейшем направлении».

Безошибочность искусства Солженицына оказалась столь очевидной, что в многочисленных статьях, посвященных ему, рассуждения о том, как сделаны его произведения, казались несущественными, даже неуместными. Говорили о главном: о том, что писатель рассказал людям и от чего до сих пор литература бежала. Некоторые говорили о другом: о том, что было бы лучше Солженицына не печатать. С этими я не спорю, потому что откровенно дурные поступки обсуждению не подлежат: их нужно предупреждать, а если это не удается, то стараться как можно скорее исправить.

Так как об искусстве Солженицына до сих пор говорили мало, и это совершенно естественно, потому что в связи с его творчеством нужно было говорить о добре и зле, жизни и смерти, то я говорю лишь о самых заметных вещах.

Александр Исаевич Солженицын рассказал о людях, характерах, событиях и взаимоотношениях, которых до него мы не знали. До него в русской литературе не было таких людей, взаимоотношений и событий, каких мы увидели в куске о встрече молоденькой медсестры с ссыльным навечно человеком, от которого она услышала что-то непонятное и тревожное о темном куске эпохи, тайном крае века, закрытом от молодых и старых медсестер и даже иногда от начальников отдела кадров занавесами, статуями и страхом.

Только такой уровень художественного исследования дал возможность писателю сказать, что же происходит в мире, когда Лев Толстой, симпатичный геолог (который еще угрожающе и зловеще покажет, каков он), а также начальник отдела кадров говорят **одними** словами и мы начинаем понимать, что вещи, о которых они говорят, враждебны, и тогда возникает осязательная сложность непригнанных частей мира, враждебность вещей и доброжелательность слов, среди которых живут и умирают люди.

Солженицын принадлежит к тем замечательным писателям, которые возрождают в русской литературе великие категории добра и зла, жизни и смерти.

Он рассказал о том, что так важно для всех нас, то, с чем мы встречаемся каждый день и поэтому знаем сами. Но отличие его от других писателей в том, что другие писатели об этом не написали, а он написал. Он сделал то, что доступно лишь истинному таланту и настоящей смелости. И в этом значение и смысл искусства Александра Солженицына.

А. Солженицын. Главное чувство, которое я пережил сегодня, это чувство благодарности. Я тронут тем вниманием, которое секция прозы московской писательской организации оказала моему произведению и теми высокими оценками, которые, среди прочих, здесь прозвучали. В рязанской писательской организации, в которой я состою, я не смог бы получить и тени подобного.

В тех условиях, когда я пишу книгу за книгой, их не печатают, для меня такое обсуждение, — единственная возможность услышать профессиональное мнение, услышать критику.

Я сидел у себя дома, писал год за годом и думать не думал о том, — напечатают ли, понравится ли то, что я пишу. Та позиция утеряна. Но в ней были не только плюсы, но и минусы. Оказывается в единоборстве с бумагой, когда у меня и было всего несколько читателей, неизбежно теряешь требовательность к себе.

И вот при выходе на публичную арену я почувствовал, как мне не хватало профессионального обсуждения, — мне и сейчас его не хватает, поскольку меня не печатают, но сегодня я испытал огромное удовлетворение.

Что касается незаконченности «Ракового корпуса», я считал возможным обсудить и первую часть саму по себе. Бывало же в истории литературы, что вторые части и вовсе не писались, или уничтожались, всякое бывало.

Я не обижен ни на одно выступление. Я настолько польщен всем услышанным здесь, что знаю только один способ оправдать высокие оценки, — оправдать уровнем второй части. Но справлюсь ли?

Несколько частных вопросов: о названии. За название шел бой в «Новом Мире». Бой этот я проиграл. Лагеря, конечно, были опухолью. Но я не побоялся дать такое название потому, что рассчитывал: преодолею. Я не хотел ни угнест, ни задавить

читателя. Я надеюсь преодолеть в главном вопросе — борьба жизни против смерти.

Литература никогда не может охватить всего в жизни. Я приведу математический образ и поясню его: всякое произведение может стать пучком плоскостей. Этот пучок плоскостей проходит через одну точку. Эту точку выбираешь по пристрастию, по биографии, по лучшему знанию и т. д. Мне подсказала эту точку, — раковую палату, — моя болезнь. Мне пришлось всерьез заняться онкологией, чтобы контролировать как меня лечат. Но описывать территорию республики за пределами ракового корпуса я не чувствую необходимости. Все отразить нельзя, а та часть целого, которая необходима, — она может быть изображена и через эту точку.

Большая часть высказываний о Русанове подтверждает, что я с ним сделал что-то не то. Я не смею спорить с таким числом критиков. Но что делать конструктивно, — не знаю. Очень важна мысль Карякина, — она выходит за пределы моей книги, моего творчества, — как в произведении искусства должны соотноситься современность и вечность. Это труднейшая проблема. Как и любому писателю мне хотелось бы воспитать в себе чувство гармонии. Я пытался рисовать и Русанова с симпатией, иногда всеми силами, — ну, пожалуй, не всеми силами (смех). Ведь вход Русанова в палату автобиографичен, это я сам переступаю порог ракового корпуса.

Есть известное положение, — когда рисуешь хорошего, покажи, где он зол. Когда рисуешь негодяя, покажи, где он добр. Но ведь при этом можно потерять и негодяя.

Бакланов прав, — я в Русанове секу следствие, а надо бы мне художественно дотянуться и до причин. Вероятно, судьба моей вещи при этом не станет легче (смех), но замечание верное, я его принимаю.

Об Авиетте; говорят фельетон — согласен. Говорят: фарс — согласен. Говорят: я сорвался со своего метода, — согласен. Но фельетон не мой и фарс — не мой. Я применил здесь недопустимый прием, — в Авиетте нет ни одного моего слова, — она говорит слова, сказанные за последние 15 лет крупнейшими нашими писателями и литературоведами. С точки зрения вечности, — не надо бы эту главу. Но ведь как долго произносились подобные слова с трибун повыше этой, перед аудиториями побольше этой. Справедливо ли забыть об этом? Да это откровенный фарс, но не мой.

Здесь, в профессиональной аудитории не трудно убедить вас, что Костоглотов, — не автор. Я старался всемерно от него отдалиться, — если дистанция не удалась, — буду еще работать. Черты автобиографии есть и в других образах. Говорят, что неправдоподобна дискуссия о статье об искренности. Я вернулся из ссылки и сразу же натолкнулся на голубую затрепанную книгу журнала с этой статьей. Юра Маслов, с которого я писал Дёму, заговорил со мной об этой статье. И, когда я начал писать «Раковый корпус» и должен был просмотреть литературную историю года, вновь перечитал статью и считаю, что она была для того времени очень важной. Я ничего не выдумал. И десятый том Толстого в огоньковском издании 28 года был в моей палате.

Бывает и так: писатель не может бороться против своего воспоминания. Знаешь, что героя надо писать белым, а ты помнишь его черным. И ничего тут не сделаешь.

Я кончаю тем же, чем и начал: благодарностью.

Мне вернули мою рукопись в «Новом Мире», я послал ее еще в два журнала: в «Звезду» и в «Простор». Ответа еще не получил. (Громкие аплодисменты).

Г. Березко. У нас нет оснований сожалеть о проведенной работе. Будет прекрасно, если большой писатель Солженицын еще о чем-то подумает. Речь идет не об элементарных советах. Речь идет о большем.

Мне очень понравились и меня очень обнадежили слова Солженицына: «я не собираюсь угнетать и доводить до отчаяния читателя».

Повесть производит оглушительное впечатление, вещь необычайной художественной силы. В чем-то правы те товарищи, которые говорили о неполноценности образа Русанова.

Бюро с активом принимает решение: содействовать тому, чтобы повесть «Раковый корпус» была бы опубликована. Стенограмму обсуждения решено послать в «Звезду» и «Простор».

О. Войтинская считает, что секция прозы должна активно бороться за «Раковый корпус». «Надо потребовать, чтобы наш журнал «Москва» напечатал бы это произведение».

Когда обсуждение кончилось и все встали, к столу президиума подбежала Белла Ахмадулина и обращаясь к Солженицыну закричала: «Прекрасный человек! Помолимся Господу Богу, чтобы Он дал здоровья Александру Солженицыну!»

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 22 СЕНТЯБРЯ 1967 Г.

Присутствовало около 30 секретарей СП и т. МЕЛЕНТЬЕВ от Отдела Культуры ЦК. Председательствовал К. А. ФЕДИН. Заседание по разбору писем писателя СОЛЖЕНИЦЫНА началось в 13 часов, окончилось после 18 часов.

ФЕДИН. Второе письмо Солженицына меня покорило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца — совсем небольшой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной! Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком браться за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжается линия первого, но там более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печатании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его **тон** в непозволительную сторону. Читая письмо, ощущаешь его как оплеуху — мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашел я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что мало говорить в общем по письмам.

СОЛЖЕНИЦЫН просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:

«Мне стало известно, что для суждения о повести «Раковый корпус» секретарям Правления предложено было читать пьесу «Пир победителей», от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры, кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Ш-232 в те далекие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу, и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом, ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не хотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой

пьесе отпечаталась безвыходность лагеря тех лет, сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор ее есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести «Раковый корпус». Кроме того недостойно писательской этики — обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры **таким** способом. Разбор же моего романа «В круге первом» есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести «Раковый корпус».

КОРНЕЙЧУК. У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежует-ся? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?

ФЕДИН предлагает Солженицыну ответить.

СОЛЖЕНИЦЫН указывает, что он — не школьник всакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.

ФЕДИН говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.

БАРУЗДИН. Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы «Пир победителей», но нам волей-неволей приходится говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу в письме съезду, упоминать ее?

САЛЫНСКИЙ. Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъял эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?

ФЕДИН предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.

СОЛЖЕНИЦЫН повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.

ФЕДИН, поддержанный другими: Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.

РОПОТ ГОЛОСОВ: Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.

СОЛЖЕНИЦЫН. Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио **до** съезда: его стали передавать уже **после** закрытия съезда, и то не сразу. (Далее буквально): «Здесь употребляют слово «за-граница» и с большим значением, с большой выразительностью,

как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отчества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута в письме съезду? — это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал (далее буквально): «Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим еще человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не мое нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Все это — ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже на выставлялось. Хранение мое было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушивателем в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия — она единым толчком обнаруживается в разных местах страны: лектор Потемкин только что изложил ее многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП — московским писателям. Причем от себя он добавил и свое измышление: что все это я будто бы признал на прошлой встрече в Секретариате. А об этом у нас и разговора не было». Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии.

ВОПРОС: Отвергнута ли редакцией «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?

АБДУМОМУНОВ. Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?

ТВАРДОВСКИЙ. Вообще решение печатать или не печатать ту или иную вещь — в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.

ВОРОНКОВ. Солженицын ни одного раза не обращался непосредственно в Секретариат Союза писателей СССР. После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы — поговорить и помочь. Но после того, как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует...

ТВАРДОВСКИЙ. Ну, точно, как Союз писателей!

ВОРОНКОВ. ...это желание отпало. А тут вот появилось второе письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», давшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот — я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи — ваши, и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы естественно сами запросили — почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления — так и печатайте сами, причем тут Секретариат?

ТВАРДОВСКИЙ. А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали — и все равно не напечатали.

ВОРОНКОВ. Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?

МУСРЕПОВ. И у меня вопрос: как это он пишет в письме: более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?

ШАРИНОВ. И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?

ФЕДИН предлагает Солженицыну ответить на заданные вопросы.

СОЛЖЕНИЦЫН. Да то ли еще обо мне говорили? Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, он бы тогда же приговорил меня к расстрелу!... Здесь мое второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или ее на Западе напечатают. Но этот ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня бес-

покоит распространение повести в сотнях — эта цифра на глазок, я ее не подсчитывал — в сотнях машинописных экземпляров.

ГОЛОС. Как это получилось?

СОЛЖЕНИЦЫН. А вот такое странное свойство обнаружилось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать — за счет своего досуга или своих средств перепечатывают и дают читать дальше. Новую часть повести еще год назад перечитала московская секция. Я удивляюсь, почему тут т. Воронков сказал — не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили мои «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетелись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказы и там уже напечатаны. Вот чтобы такая утечка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал свое настоятельное письмо Секретариату. Я не меньше могу удивляться, как мог Секретариат нисколько не реагировать на мое письмо съезду — еще **прежде** Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Т. Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клеветуют на меня.

ТВАРДОВСКИЙ. Не все безучастны.

СОЛЖЕНИЦЫН. ...А редакторы газет, тоже братья, не помешают моих опровержений. (Далее буквально): «Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: ее не пропускали в лагерь, изымали обысками и сажали за нее в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича» и обещали, что «это не повторится». Но за последнее время книгу стали тайно изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать ее мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплете, или на руках, или доступа нет к тем полкам, и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма: — «В районной библиотеке мне по секрету (я — активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь «Один день» в журнале-газете, другая тут же остановила свою

опрометчивую подругу: «Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в Особый отдел, то опасно ее кому-нибудь дарить!»

Не скажу, что книга изъята из **всех** библиотек, кое-где еще есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в Рязанской областной читальне: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте. Но когда столкнешься с клеветой сам, да еще с невиданной новой формой ее — клеветой с трибуны, то диву даешься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например в Болшево, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же все записывается и разносится дальше с коэффициентом сто. В Соликамске (п/я 389) майор Шестаков объявил, что я бежал по туристской путевке в Англию. Говорит заместитель по политчасти — кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально **запрещено писать!** Ну, тут он хоть близок к истине.

Еще так обо мне заявляют с трибун: «Его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату...

ТВАРДОВСКИЙ. И там боевая характеристика офицера Солженицына!

СОЛЖЕНИЦЫН. А вот **«досрочно»** — это очень смачно употреблено! Сверх 8-летнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем **без приговора** получил **вечную** ссылку, с этой **вечной** обреченностью просидел **три года** в ссылке, только благодаря XX съезду освобожден — это называется **досрочно!** Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949-58 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз — значит освобожден «досрочно»... Ведь срок — вечность, и что раньше — то все досрочно.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комичных обвинений было такое: «Солженицын **материально** поддерживает капиталистический мир тем, что не берет гонорара» какого-то за вышедшую где-то

книгу, очевидно «Ивана Денисовича», другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал — почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. «Международная Книга»? Иностранная комиссия СП? — сообщите: вот, мол, твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берет гонорары с Запада — тот проданся капиталистам, кто не берет — тот их материально поддерживает. А третий выход? — на небо лети. Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли ее дальше. Например, ее повторил 16 июля этого года лектор А. А. Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! — умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки — материально укрепить мировой капитализм! Действительно, история для цирка. Вот такую чушь обо мне рассказывает всякий, кому не лень. 12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование — такое мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время — и вдруг слухи по всей Москве, все рассказывается не так, как было, все вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто были, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что тут говорится, но где гарантии, что и после сегодняшнего Секретариата опять всё не вывернут наизнанку? И если уж «братья по перу и труду», так — первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем Секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.

Я — один, клеветают обо мне — сотни. Я, конечно, не успею никогда оборониться и вперед не знаю — от чего. Еще меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костер Джордано Бруно, не удивлюсь».

САЛЫНСКИЙ. Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать — это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель невольно поддается раковой боязни, и без того распространенной в нашем веке. Это надо как-то убрать. Еще надо убрать фельетонную хлесткость. Еще огорчает, что почти все судьбы персонажей в той или иной форме связаны с лагерем

или лагерной жизнью. Ну, пусть Костоглотов, пусть Русанов, — но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату? В самом конце мы узнаем, что он — не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжелого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал безнравственный социализм — это было бы ужасно. Если бы он проповедовал национал-социализм или национальный социализм по-китайски — это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии. Сам я думаю — социализм определяется экономическими законами. Но спорить — можно, зачем же не печатать повести? (Далее призывает Секретариат решительно выступить с опровержением клеветы против Солженицына).

СИМОНОВ. Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» — я за публикацию. Мне не всё нравится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть что-то из делаемых замечаний автору надо и принять. А всё принять, конечно, невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить — вот там-то, в предисловии, будет хороший повод рассказать его биографию — и так клевета отпадет сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем мы, а не он сам. «Пира победителей» я не читал, и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.

ТВАРДОВСКИЙ. Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, неприятую форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин не печатать «Ракового корпуса», конечно, с известными доработками. Мы хотим только получить одобрение Секретариата или хотя бы — что Секретариат не возражает. (Просит Воронкова достать уже прежде подготовленный, еще в июне, проект коммюнике Секретариата).

ВОРОНКОВ не спешит достать коммюнике. Тем временем —

ГОЛОСА. Да ведь еще не решили! Есть против!

ФЕДИН. Нет, это неверно. Секретариат не должен ничего

печатать и опровергать. Неужели мы в чем-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?

ТВАРДОВСКИЙ (быстро, выразительно). Я? — Нет.

ФЕДИН. Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи — недостаточный повод. Другое дело, если Солженицын **сам** найдет повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах **чего** мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ — вот мы его и напечатаем, поможем вам. Именно с этого должно начаться наше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли — сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопись — три месяца? четыре? Разве **это** страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях.

(Одобрение среди членов Секретариата).

КОРНЕЙЧУК. Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тяжелого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответа. Отдадите ли вы себе отчет: идет колоссальная мировая битва и в очень сложных условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем свое правительство, свою партию, свой народ. Вы тут (иронически) высказались о заграничных поездках как о приятных прогулках. Но мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измученные, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу не по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях, кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря — и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления — только прокурорские. «Пир победителей» — это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ ее читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м **нам** приходилось переживать!! — но ничто не

остановило нас! Правильно сказал вам Константин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие, и, несмотря на все наши мирные усилия, Соединенные Штаты могут его применить? Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?

СОЛЖЕНИЦЫН. Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы это было исключено из рассмотрения!

СУРКОВ. На чужой роток не накинешь платок!

КОЖЕВНИКОВ. Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз о **серьезности** отношения Секретариата к письму. Если бы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острее и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что это за антисоветские рукописи. Я потратил много времени на их чтение. Повидимому, документально доказана военная служба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» еще не совпал с моим восприятием этой пьесы. Может быть потому, что и в «Круге первом» и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрениного двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетания всевозможных ужасов, но все-таки главный план его — не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы требуете публикации своей недоработанной повести. Достоин ли такое требование писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.

СОЛЖЕНИЦЫН (буквально): «Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную бессмыслицу об-

суждать произведение, написанное 20 лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, — часть ораторов сосредоточивается именно на этом произведении. Это гораздо бессмысленнее, чем, например, на 1-м съезде писателей поносить бы Максима Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь были опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что «такого не было и не будет, и в истории русской литературы такого не было». Вот именно!

ОЗЕРОВ. Письмо съезду оказалось политически странным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти лишь при условии исправления рукописи и дискуссии по проведенным исправлениям. Тут предстоит еще очень серьезная работа. Повесть разностойна по качеству, есть в ней и удачи и неудачи. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить. Философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.

СУРКОВ. Я тоже читал «Пир победителей». Ее настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же. Кто из всех персонажей вошел в мир героя? Только этот странный Шулубин, так же похожий на коммуниста, как я на... (пропуск), Шулубин, с его бесконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьева, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражаетесь, **вышку**, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта (не?) физиологическая, это — политическая повесть, и упирается она в вопрос концепции. И потом этот идол на театральной площади, хотя памятник Марксу еще не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть под-

нята против нас и будет посильней мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы упредить появление повести на Западе, но — трудно. Вот я был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать «Реквием», походил он несколько недель и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и настолько искушен, что его никакая книжка не уведет от коммунизма, а все-таки произведения Солженицына для нас, опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын — с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек. Мы — первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамен! «Нравственный социализм» — это довольно обывательский социализм, старый, примитивный и (в сторону Салынского) не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.

САЛЫНСКИЙ. Да я его не защищаю вовсе.

РЮРИКОВ. Солженицын пострадал от тех, кто его заклеветал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет. Солженицыну, если отказываться, то и от — «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатова — честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя — в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако, вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский спрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза писателей разрешения — печатать или не печатать. (Просит Солженицына отнестись с доверием к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу»).

БАРУЗДИН. Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матренин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показан Сталин, Абакумов и Поскребышев. «Раковый же корпус» — антигуманистическая вещь. Конец повести приводит к тому, что «по другому надо было идти пути». Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на съезде? Сколько съезд получил писем?

ВОРОНКОВ. Около пятисот.

БАРУЗДИН. Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? Я согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш Секретариат должен чаще превращаться в советнический орган и охотно давать советы редакторам.

АБДУМОМУНОВ. Это очень хорошо, что Солженицын нашел мужество отказаться от «Пира победителей». Найдет он мужество и подумать, как выполнить предложение Федина. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» — еще будет больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что это значит — «насыпал табаку в глаза макако-резус — просто так»? Как это — просто так? Это — против всего нашего строя высказывание. В повести есть Русановы, есть великомученики от лагеря — и только? А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так беспросветно. Много длинот, повторов, натуралистических сцен — все это надо убрать.

АБАШИДЗЕ. Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создалось такого впечатления, чтоб этот роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может быть самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность впасть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник — как ребенок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил Константин Александрович: пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть сперва по внутреннему употреблению.

БРОВКА. В Белоруссии много людей, тоже сидевших — например, Сергей Граховский, тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не советская власть виноваты в беззакониях. Записки Светланы Алилуевой — это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеется. А тут перед нами — общепризнанный талант, вот в чем опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете ее радости. «Раковый корпус» — слишком мрачно, печатать нельзя. (Как и все предыдущие и последующие ора-

торы, поддерживает предложение К. А. Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма).

ЯШИН (ругает «Пир победителей»). Автор — не измученный несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть среди Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить его исключить из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию лучше. Вот, например, молодой Икрамов. В «Раковом корпусе» — конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет, кроме Гитлера, «еще других». Кого это? — непонятно. Берия? (Все же оратор поддерживает «мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором». А после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу).

КЕРБАБАЕВ. Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все — бывшие заключенные, все — мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлагает герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девяносто девять плачут, один смеется» — это как понять? Это — про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только черное? А почему я не пишу черное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если б он отказался от «Ракового корпуса» — вот тогда я б обнял его как брата.

ШАРИПОВ. А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него все советское представлено отрицательно и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные и залежные земли и идет от успеха к успеху.

НОВИЧЕНКО. Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать все печатать. Это что ж тогда — и «Пир победителей» печатать? По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я — не ребенок, мне тоже придется умирать и может быть в таких же мучениях, как герою Солженицына. И здесь-то важнее всего будет: какова твоя совесть? каковы твои моральные резервы? И если бы роман

ограничивался этим, я бы считал нужным печатать. Но — низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь — карикатурная сцена с дочкой Русанова. Идеино-политический смысл нравственного социализма — это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина — «Во всех стихиях человек Тиран, предатель или узник» — это оскорбительная теория... Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов — отвратный тип, правдиво изображен. Но недопустимо, что он становится из типа — носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведен до определенной кондиции — он не станет романом соцреализма, но будет явлением, талантливym произведением. Прочел я и «Пир победителей» — и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.

МАРКОВ. Состоялось ценное обсуждение. (Оратор только что приехал из Сибири, 5 раз выступал перед массовой аудиторией). Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Только в одном месте подали записку — я прошу извинения, но именно так было написано: «А когда этот Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» Мы ждем от Солженицына совершенно честного ответа на буржуазную клевету, ждем выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю как и Сурков. Вещь стоит все-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических законов. «Кто-то сделал» — неизвестные адреса. При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребуеться очень серьезная работа. А сегодня пускать в набор, конечно, нельзя. Что же дальше? Конструктивно: А. И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника — а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. Все же я продолжаю считать его нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А. И., оказались по **вашей** вине, а не по чьей другой. Пред-

ложения об исключении из Союза? — при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.

СОЛЖЕНИЦЫН. Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов, я могу упрекнуть вас всех в том, что вы — не сторонники теории развития, если серьезно предполагаете, что за 20 лет и при полной смене обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьезную вещь: Корнейчук, Баруздин и еще кто-то высказались так, что «народ читает» «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каждое слово мое будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдет широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся **ответственность** за это ляжет на ту организацию, которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы. Организация делает это при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрестанно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, ее возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок — я предупреждал! И сейчас предупреждаю!

Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что рак и раковый корпус — не медицинский предмет, а некий символ. Отвечу: подручный же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и все стадии умирания. Слишком густой замес — для символа, слишком много медицинских подробностей — для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам — они признали ее с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно **рак**, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймет, какой это «символ».

Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот — это преодоление смерти жизнью, прошлого будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы

скрывать от него правду, смягчать ее, а говорить истинно то, как оно есть, как ждет его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:

Не люби поноворщика, люби спорщика.

Не тот доброхот, у кого на устах мёд.

Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта, к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяженного человечества, которые зародились в незапамятной глуби тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.

Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно, и отсюда родились извращенные представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеется» — это ходовая лагерная поговорка; к тому типу, который лезет без очереди, Костоглотов подходит с этой поговоркой, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это — про весь Советский Союз. Или — макака-резус, она два раза там встречается, и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим табак в глаза, подразумевается конкретно Сталин. А что мне возражали, что не «просто так»? Но если не «просто так» — так значит это было закономерно? Необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же — поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение дает такой промах, вы не поняли этой сцены? Шулубин приводит учение Бекона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» — и Костоглотов пытается это себе представить: рынок, а посреди возвышается сизый идол; Шулубин говорит — «идолы театра» — и Костоглотов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, так значит на театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идет о Москве и о памятнике Марксу, еще не поставленном?...

Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам — и он оказался заграницей. А «Раковый корпус» ходит (1-ая часть) уже больше года. Вот это-то меня и беспокоит, вот потому я и тороплю Секретариат. Еще тут был мне совет товарища Рюрикова —

отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого — руку на сердце положи — никогда не откажусь.

РЮРИКОВ. Я не сказал — отказаться от продолжения русского реализма, а от истолкования этой роли на Западе, как они делают.

СОЛЖЕНИЦЫН. Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно **публичности** я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса». Решено было секцией Прозы — послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились мне-то дать, автору. И сегодняшнюю стенограмму — я надеюсь, Константин Александрович, получить ее?

Спросил К. А.: «В интересах чего печатать ваши повести?» По-моему, это ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К. А., что **развязать** ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот — и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу писателей. Мне каждую строчку вычеркивают, а у Союза в руках вся печать. Я все равно не понимаю и не вижу, почему мое письмо не было зачтено на съезде. Теперь К. А. предлагает бороться не против **причин**, а против **следствий**, против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я написал опровержение — а **чего** именно? Не могу я вообще выступить по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моем есть общая и частная части. Должен ли я отказаться от **общей** части? Так я и сейчас все так же думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо — о чем?

ГОЛОСА. О цензуре.

СОЛЖЕНИЦЫН. Ничего вы тогда не поняли, если — о цензуре. Это письмо — о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение. Говорят нам с Запада: умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовывать, — такие, чтоб там глаза зажмурили, как от яркого света, притихнет тогда «новый роман», и окостенеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен

ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранен, не поправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это вы расчистите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: опубликуйте, во-первых, мое письмо, затем — коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите, что из восьми пунктов исправляется — вот тогда и я смогу выступить, охотно. Мое сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хотя я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано без всяких условий — а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?

Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается и вспыхивает все новая против меня клевета. Опровергать ее можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляли меня в сталинских лагерях.

ФЕДИН. Нет, очередность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний вашему таланту и стилю, вы найдете форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы — такая реплика не имеет твердого основания.

ТВАРДОВСКИЙ. А само письмо будет при этом опубликовано?

ФЕДИН. Нет, письмо надо было публиковать тогда, вó время. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?

СОЛЖЕНИЦЫН. Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?

ФЕДИН. Это потом уже посмотрим.

СОЛЖЕНИЦЫН. Ну, я уже ответил, и все, надеюсь, застенографировано точно.

СУРКОВ. Вы должны сказать, отмежевываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции в нашей стране, которую вам приписывают на Западе?

СОЛЖЕНИЦЫН. Алексей Александрович, ну, уши вянут такое слышать — и от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции! Как это вяжется?

НЕСКОЛЬКО КОРОТКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым. ГОЛОСА. Он подумает!... СОЛЖЕНИЦЫН еще раз говорит, что такое выступление ему первому невозможно, отечественный читатель и не будет знать, о чем речь.

РЕДАКЦИЯ

**НОВОГО
ЖУРНАЛА**

выражает свое глубокое сочувствие всем чехам и словакам, борящимся за свою свободу с вторгшимися в их страну советскими войсками.

ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!

ПРАЖСКИЕ УРОКИ

1

Трудно не согласиться с общим мнением, что чехословацкие события являются одним из важнейших, может быть, даже важнейшим событием послевоенной истории Европы. Применительно к этому событию, говорят о новой эре, о вехе, о началах и концах. Думаю, что это действительно так, хотя в дни, когда пишется эта статья, Чехословакия, и все с ней связанное, начинает понемногу сходиться с первых страниц газет.

Как всякое крупное и сложное событие, его можно рассматривать с разных точек зрения: с точки зрения самой Чехословакии, с точки зрения перспектив социализма (т. е. с точки зрения совместимости демократии и свободы с социализмом), с точки зрения СССР и перегруппировки сил в коммунистическом лагере, с точки зрения новой, до сих пор неиспытанной, тактики сопротивления, с точки зрения Запада и опять таки новой в нем перегруппировки сил. Начиная с конца августа 1968 года положение в мире, в результате чехословацких событий, изменилось. Постараемся разобраться в сути этих изменений.

Проще всего, мне кажется, обстоит вопрос о сути проблемы с точки зрения самой Чехословакии. Можно сказать, что то, что произошло, было обычным процессом в одной из вассальных коммунистических стран. Этот процесс в разных странах происходил и продолжает происходить по-разному, но суть всюду была и остается одной и той же: процесс шел по одной главной магистрали: освободиться от московского владычества и подчиненного положения; в некоторых странах (Югославия, Венгрия, Чехословакия, отчасти Польша) эта попытка освобождения от чужого господства сопровождалась и попыткой выйти, путем политических и экономических реформ, из загнанного тупика; в других (Китай, Албания, Румыния и, отчасти, Куба) этот процесс принял преимущественно формы националистические, окрашенные воинственной революционной идеологией.

Вопреки распространенному мнению, особенно в левых кругах, я не думаю, что «чехословацкий путь», пытавшийся, как это ему приписывают, объединить социализм со свободой мог стать примером и образцом для других стран — социалистических и несоциалистических. Во-первых, процесс высвобождения и реформирования идет, как уже сказано, по-разному и очень своеобразно в разных странах. Сомнительно, чтобы этот «путь» мог быть приемлем, скажем, для Восточной Германии или Сов. Союза, где все как-то по-иному — и люди, и условия, и цели. Во-вторых, как бы велики не были наши симпатии к «пражским реформаторам», не следует забывать, что они все-таки остаются коммунистами и, что, в виду этого, их реформаторство и демократические порывы имеют определенные границы, которые были бы, вероятно, быстро достигнуты и установлены, даже без московского вторжения. Это кардинальный вопрос, разрешить который помешало в Чехословакии — вторжение, в Польше — репрессии и, двенадцать лет тому назад, расправа в Венгрии. В единственной стране, где свободный и демократический социализм мог бы развиваться — в Югославии — именно там он достиг своей границы, при том весьма скромной. Едва ли кто-либо будет утверждать, что Югославия может стать «путеводной звездой», образцом для Западной Европы, скажем для Италии и Франции, где имеются сильные коммунистические партии. Мы сейчас все отдаем дань уважения Тито за его мужественное поведение во время чехословацкого кризиса. Мы не забываем, что он был первым, кто восстал против Сталина и почти уверены, что Югославия является сейчас той коммунистической страной в Европе, которая оказала бы, в случае нападения на нее, сильное (не пассивное и не символическое) и продолжительное сопротивление. Не надо, однако, забывать, что при всей относительной свободе, которой пользуются югославы, их страна управляется однопартийной властью, и что Джиллас и Михайлов за высказанные мнения (а отнюдь не за антигосударственную деятельность) провели и проводят годы в тюрьме.

Пошла бы Чехословакия дальше? Скатилась бы она к социал-демократизму и «буржуазной» демократии, как это утверждает Москва? Нашла бы она какой-то новый, свой «путь»? На эти вопросы никто не может ответить с уверенностью. Гадать и высказывать предположения можно. Мне лично кажется, что чехословацкие реформаторы шли к рефор-

мизму, меньшевизму и «буржуазной» демократии. И не «реваншизм» Бонна был опасен Москве, в эту глупость никто из советских вождей, конечно, не верил и не верит, а опасен был Вилли Брандт и другие с их политикой сближения — экономического, культурного и политического — с странами-сателлитами. «Мостостроительство» с Восточной Европой, «размывание», «размягчение» коммунизма — вот где была опасность для Москвы. Обозреватель «Правды» Виктор Маевский выразил эти опасения весьма ясно: цитируя «Франкфуртер Рундшау», которая писала — «То, чего Даллес и Аденауэр напрасно добивались своей «политикой силы», а именно — размягчения коммунистической системы власти — теперь осуществила политика протянутой руки», и Маевский прибавляет от себя: «Не осуществила, господа, но пыталась осуществить. Решительная акция пяти социалистических держав похоронила надежды Бонна на успех подрывной «восточной политики», ослабление социалистического мира». («Правда», 10 сент. 1968).

Разумеется, дело совсем не в Бонне, ибо не один Бонн строил свои надежды на «размягчение» и «размывание» коммунизма. Все на это надеялись, и Москва, не только пером своего обозревателя, а посылкой полумиллионной армии, напомнила: «Напрасно, господа!» Да, и Брандт, практически осуществлявший эту политику, и де Голль, разрушавший военный союз западных стран, исходя из соображений, что никакой советской коммунистической опасности больше нет, и Мак-Намара, и Джонсон, чье внимание почти исключительно приковано к китайской опасности, и все, или почти все, западные политики и советоведы просчитались.

В 1967 году на Западе всюду отмечали пятидесятилетие Октябрьской революции. И в бесчисленных статьях и обзорах преобладала одна мысль: революция и вышедший из нее режим утратили свой динамизм, свою агрессивность; революция приручена и осуждена на медленное умирание или эволюцию. Другого пути нет. СССР заинтересован в мире, сотрудничестве, в спуске на тормозах. Мне припоминается «юбилейный» номер парижской газеты «Монд», где на нескольких страницах давались краткие, но существенные выдержки из мировой печати. Я не помню, чтобы кто-нибудь высказал предположение, что этот якобы присмиривший, обессиленный и умирющий режим будет в состоянии, дабы помешать осуществлению вну-

тренних реформ «союзника», послать к нему полумиллионную армию; что «европеизированные» советские вожди будут вести себя со своими «братьями» («братьев не выбирают», сострил один чех) так, как они себя вели; что они до такой степени будут игнорировать и общественное мнение Запада и своих союзников из коммунистических партий. Многие обозреватели полагали, что в самой России возможны еще появления неосталинских рецидивов. Но почти никто не думал, что, в виду потенциальной опасности со стороны Китая, Советский Союз способен предпринять подобное тому, что он сделал в Чехословакии.

Другой пример не менее разительный. В связи с той же юбилейной датой, вашингтонский журнал «Проблемс оф Коммунизм» (май-июнь, 1968) организовал симпозиум о перспективах советского коммунизма. В симпозиуме, который продолжался полтора года и в котором приняли участие (обстоятельными статьями) виднейшие советоведы США и Европы, авторы преимущественно высказывали свои соображения по вопросам эволюции советского режима. Внимание авторов (которые в прошлом почти все много писали о советской внешней политике) на этот раз было обращено исключительно на внутренние советские проблемы. Хотя авторы этого не говорили открыто, но из их статей явствовало, что советская внешняя политика, ее роль в Европе, ее взаимоотношения со своими союзниками или с западными державами вообще уже не являются проблемой. Предполагалось, что здесь не следует ожидать от советов резких, решительных действий.

У меня нет возможности передать в этой статье наиболее существенные высказывания участвовавших в этой дискуссии авторов; многое, что там было высказано, заслуживает внимания и для нашей темы, ибо советская внешняя политика тесно связана с внутренней, точнее с «эволюционным» состоянием советского режима вообще. Ограничусь кратким резюме заключительной статьи профессора Збигнева Бзжежинского. «Бывшая в течение многих лет источником социального обновления, — пишет автор, — КПСС стала теперь в своей стране тормазом прогресса. Бюрократизм и догматизм, мешающие экономическому росту страны, образуют разрыв между обществом и политической системой, состояние, напоминающее предреволюционное положение царского режима. Поло-

жение усложняется тем, что, с одной стороны, правящая советская элита постоянно ухудшается в своем качестве; с другой стороны, на авансцене появляются новые силы. Последние, т. е. новые силы, могут полагать, что принуждение, имевшее оправдание в прошлом, имеет мало смысла сейчас. **Бюрократизированная и постаревшая правящая группа не может эффективно править, ни путем реформ, ни путем террора. В результате получается застой, который неизбежно должен вести к вырождению и гниению».** (Подчеркнуто мною. Д. А.).

Я привел эту мысль одного из видных американских специалистов по советскому коммунизму потому, что она характерна не только для участников этого симпозиума, но и для правящих кругов западных стран вообще. «Вырождение», «разложение», «захирение» не сходило с уст до чехословацкого кризиса. В приведенной в статье таблице, должествующей дать «анатомию дискуссии», выясняется, что из восемнадцати участников симпозиума, четверо склоняются к мысли о быстром падении советского режима, трое полагают, что он безнадежно осужден на смерть, посредством разложения, девять полагают, что он сумеет удержаться в результате «приспособления», а двое, что он способен видоизмениться и возродиться.

Другая мысль, пронизывающая статью Бзжежинского: — «Система коллективного руководства, правящая страной, лишаящая эффективной власти каждого члена этого коллектива в отдельности, затрудняет принятие важных политических решений; коллективное руководство, ставшее более коллективным, приводит к частичному политическому параличу». Итак, власть обречена, и по своей коллективной структуре, и по своей устарелой идеологии, и по своим неэффективным методам. Чего же можно ждать от такой власти? Пассивности... и хорошего поведения. Советы уже были приняты в клуб великих (и приличных) держав. Видите ли, эта власть была прогрессивной и нужной... Запад теперь так всполошился и возмутился именно потому, что **этого** от члена клуба никто не ожидал.

Почему же это случилось? Почему почти никто не предвидел приступа новой советской агрессивности, активности, способности к решительным действиям? При этом я имею в виду не только или не столько чехословацкие события, а общую тенденцию советской внешней политики, ее усиливающуюся активность в Средиземном море, ее давление на Западную

Германию и т. д.* На этот вопрос не легко ответить, во-первых, потому, что мы мало или ничего не знаем о том, что действительно происходило в советском руководстве; во-вторых, в этом, как и во всяком другом крупном и сложном событии, большую роль играли случайности, которые не поддаются рациональному рассмотрению и доводам. Кто принял решение о вторжении: Президиум или ЦеКа? Как и по каким признакам там разделились голоса? Были слухи о том, что Косыгин, Суслов, Шелепин и Пономарев высказывались против вторжения. Допустим, что это было так, ибо именно эти четверо больше других находятся в связи и с иностранными державами, и с иностранными компартиями. Эта четверка могла предполагать, что вторжение вызовет переполох и удар по их «империям» или «владениям»; и в то время, как Косыгин должен был найти убедительную «аргументацию» для западных стран, остальные три должны были успокаивать заграничные компартии и прокоммунистические профсоюзы — задача эта оказалась не из легких.

Однако, оставим эти уравнивания со слишком многими неизвестными и случайностями, о которых рассуждать бесполезно. Нет ли тут, одновременно с неизвестными и случайностями, какого-то рационала, который мог бы служить объяснением всеобщему западному заблуждению в отношении советского поведения? Следует полагать, что такой рационал есть и искать его надо в той же склонности и привычке людей вообще, и западных в частности, принимать чаемое за сущее. Более того, эта дурная привычка осложняется еще другой, не менее дурной привычкой, а именно, склонностью думать, что советские вожди действуют в аналогичных условиях аналогично тому, как действуют руководители западных стран. Уточним нашу мысль несколькими примерами. Большинство западных экспертов по Советскому Союзу склонно предполагать, что, если, скажем, экономические, политические и прочие реформы являются жизненной необходимостью для СССР, то они несомненно бу-

* Мне кажется, что только венско-пражский корреспондент газеты «Монд», Мишель Татю, верно предугадал и советскую инвазию (еще в апреле) и, что не менее замечательно, тактику чешских реформаторов перед лицом этой инвазии. Если бы таковые существовали, Татю должен бы был получить премию за политическую проинициателность.

дуг проведены в этой стране. Другие полагают, что если советская научно-техническая интеллигенция добивается изменений в духе, изложенном в брошюре академика Сахарова, то и эти изменения и реформы несомненно (и в скором времени) будут проведены. Третьи уверены, что борьба за духовную и творческую свободу, которую ведут некоторые писатели и художники, должна в скором времени увенчаться успехом, ибо режим не может их не удовлетворить потому, что требования этих писателей справедливы. Наконец, четвертые (или те же предыдущие) уверены, что в виду того, что агрессия чревата опасностями атомной войны, а также в виду того, что Советскому Союзу (как и всем другим странам) нужен мир, то век агрессий окончательно канул в прошлое.

Все это, разумеется, в какой-то мере так. В Советском Союзе действительно имеют место какие-то реформы; ученые физики и математики действительно пользуются большими привилегиями, и академик Сахаров, повидимому, несмотря на свою дерзость, еще не арестован; правда, в отношении творческой и духовной свободы, режим особенного либерализма не проявляет; зато он несомненно ведет осторожную политику, когда дело касается опасности настоящей, большой войны. Тем не менее, диктатура склонна скорее или чаще реагировать на требования своих граждан и союзников не так, как нормальная логика этого (по западным понятиям) требует. В ответ на давление снизу или сверху в пользу реформ, децентрализации и свобод, диктатура, дабы пресечь опасное развитие или «цепную реакцию», отвечает как раз обратным: не расширением, а ограничением свобод; не децентрализацией, а, наоборот, усилением централизации; не предоставлением большей автономии (как этого хотели в Чехословакии), а, наоборот, большим контролем, нажимом и военной оккупацией. В этом, т. е. в подобной реакции на давление, откуда бы оно ни исходило, и есть своя «диктаторская» логика. Она чужда действительно демократическим странам, где борющиеся группы обычно добиваются, хотя бы частичного удовлетворения своих требований. Но эта логика свойственна режимам авторитарным и диктаторским. Советский ответ на чехословацкую попытку был выдержан именно в духе этой логики, ибо эта чехословацкая попытка подрывала самые основы советской и «имперской» и внутренней организации.

Западному обозревателю, особенно наивному прокомму-

нистическому попутчику (таковые еще не перевелись), могло, например, искренно казаться, что чехословацкий опыт совкупления социализма с демократией оздоровил бы коммунизм не только в Чехословакии, но и в других коммунистических странах. Советская головка руководится, однако, другими — не далеко-идущими, а немедленными — соображениями сохранения и усиления своей власти и у себя в стране, и в сфере своего влияния. Хотя Хрущев и другие в свое время предали ее анафеме, советские вожди в практической политике руководятся известной формулой Сталина, которая постулировала, что, чем ближе страна к «осуществлению коммунизма», тем сильнее обостряется «классовая» борьба. Парадоксальная на первый взгляд, эта формула, по существу, свидетельствует о понимании Сталиным человеческой природы. Действительно, чем сильнее, обильнее, богаче, обеспеченнее, образованнее и культурнее становится народ или интеллигенция в коммунистической стране, тем сильнее повышаются требования. Удовлетворив материальные нужды, народ (и особенно интеллигенция — этот источник всех бед и крамолы) начинает добиваться свободы... той свободы, которая, по своей природе несовместима с коммунизмом. Ведь этот наглядный урок, так верно и проникновенно предугаданный Достоевским, стал в наше время своего рода новым социологически-психологическим «железным законом» и в Советском Союзе, и в народных демократиях...

2

Однако, вернемся к чехословацким событиям. Дала ли советская интервенция ожидаемые результаты? Западная публицистика склонна на этот вопрос дать отрицательный ответ. Указывают на чешское пассивное сопротивление, которое якобы спутало все карты, на то, что «акция» вызвала возмущение во многих коммунистических партиях, что она способствовала пробуждению и объединению Запада, склонного, как уже было упомянуто, принимать чаемое за сущее.

Все это, в известной мере, верно. Однако, только в известной мере. Не следует забывать, что эта интервенция (многим это может показаться парадоксальным и кошунственным), на мой взгляд, повысила престиж Советского Союза, если престиж отождествлять с силой и решимостью. Да, престиж, это сила и решимость. Я уже говорил, что Советский Союз запад-

ными политиками и специалистами по советским делам воспринимался чуть ли не как живой труп, осужденный на разложение и гниение. Никто не сомневался в наличии многочисленных советских дивизий и колоссальной советской атомной мощи. Сомневались, однако, в другом; в способности, в решимости коллективного руководства — по своей природе осужденного на паралич (вспомним заключение Бзжежинского, в данном случае, суммировавшего мнения почти всех выдающихся советоведов) — пользоваться своей силой. Чехословацкая интервенция эту иллюзию разрушила. Советы показали, что они готовы пользоваться силой, и словами некоего Ковалева («Правда», 26 сент., 1968) заявили во всеуслышание, что, во имя «целости и сохранности социализма» (и не только в Советском Союзе), они готовы пользоваться своей силой и в будущем. «Доктрина» Ковалева (ее уже так окрестили) стала своего рода советской доктриной Монро; она предполагает, что в советскую сферу влияния никто не имеет права вмешиваться. Да не только в сферу влияния. Мне рассказывали, что один умный советский адвокат, кавказского происхождения, бывший в Париже во время советского вторжения в Чехословакию, сказал в одном доме: — «Это напоминание также и нам, и балтийцам, и другим. В Москве не шутят, и Москва слезам не верит...»

Разумеется, вторжение не дало, с точки зрения советских интересов, только положительные результаты. Советы, во-первых, потеряли много и многое в коммунистическом и «прогрессивном» лагере; не только «интеллигентских хлюпиков» типа Арагона и Роже Гароди; нет, они потеряли целые партии и, может быть, потенциальных и сущих союзников. Если бы у Нассера или у сирийских правителей было больше зоркости, они должны бы были теперь отнестись к советской помощи с бóльшей осторожностью. В самом коммунистическом лагере начинает выделяться группа коммунистических стран и компартий, которые проявляют все бóльшую независимость в отношении Москвы. Ось Белград-Рим с расколотов французской компартией и со многими другими левыми группами начинает маячить как притягательный полюс. Коммунизм уже раздроблен на четыре враждующих между собой группы: маоистов, с преобладающим влиянием в Азии; кастристов, влиятельных в Южной и Центральной Америке; кремлевских, с влиянием в афро-арабских и частично европейских странах и, наконец,

независимых, которые пока не организованы, но на которых Москва уже рассчитывать не может. Характерно, что приверженцами теперешнего московского руководства являются преимущественно партии стран, которые получают военную и экономическую помощь от СССР.

Более важные и долговременные последствия чехословацкое вторжение может оказать на советскую международную позицию. Вторжение разбудило Запад; Северо-Атлантический Союз, которому угрожала чуть ли не естественная смерть, вновь ожил. В Америке (в большой степени, благодаря вторжению) пришел к власти Никсон, человек, считающийся более жестким в отношении коммунизма и советского режима.

Разумеется, Советский Союз очень силен, может быть, непобедим с глобальной или атомной точки зрения. Трудно, однако, отделаться от мысли, что, благодаря вторжению в Чехословакию, образовался новый потенциально-антисоветский фронт, включающий помимо Албании и Китая, также Румынию и Югославию, а завтра, может быть, вражескую Чехословакию, Венгрию и Польшу. На этих «союзников» Москва больше рассчитывать не может. Наоборот, дабы держать их в повиновении, она должна там иметь войска. Трудно также отделаться от предположения, что, несмотря на свою мощь, Москва вынуждена была внять предупреждению Дина Раска в отношении Румынии и Тито в отношении его собственной страны.

3

У некоторых стран — странные, трагические судьбы. Для нашего поколения Чехословакия уже три раза была началом чего-то страшного. В 1938 году был Мюнхен; ровно через десятилетие она была захвачена коммунистами, и этот захват ознаменовал начало холодной войны; теперь, ровно через два новых десятилетия — советское вторжение.

Чехи избрали путь пассивного сопротивления, оказавшийся, при солидарности и единении народа, особенно в начале, весьма действенным. Хотя пассивное сопротивление не может заменить активного, сопротивление — какое бы оно ни было — может заразить многих и внутри, и за пределами СССР. Советам следовало бы подумать и об этом, и о том, что в создающихся условиях арбитром положения становится Китай. Сегодня он уже посылает ракеты высокого качества в Албанию; завтра он может заставить Хо Ши Мина заключить с Аме-

рикой компромисс во Вьетнаме и этим освободить часть американской армии для защиты... одних коммунистических стран в Европе от другой или других коммунистических стран.

Если бы дошло до этого, Советский Союз имел бы все основания считать себя окруженным весьма своеобразными и разнородными силами. Может ли бредовой союз Вашингтон-Пекин-Белград стать когда-нибудь реальностью? Сейчас все карты до того спутались, что может быть и такой «бред» становится возможным.

Д. Анин

КОНЕЦ “РЫНОЧНОГО СОЦИАЛИЗМА” В ЧЕХОСЛОВАКИИ

После второй мировой войны Чехословакия вновь обрела национальную независимость. Но в 1948 году СССР произвел в ней коммунистический переворот. И с тех пор Чехословакия пошла в упряжке Совета Экономической Взаимопомощи, чем и определился путь ее экономического развития. В 1968 году попытка Чехословакии найти собственное решение экономических задач, — создание модели «рыночного социализма», — кончилась крахом под сапогом советской оккупации: тень экономической независимости и равноправия в социалистическом лагере окончательно исчезли.

Что же дал советский социализм народному хозяйству Чехословакии? Если опираться только на цифры, доверяясь их магии, то, пожалуй, может показаться, что введение социализма советского образца принесло даже какие-то положительные результаты. Так, американец Джордж Уилер, проживший 20 лет в Праге, удостоенный звания члена-корреспондента Чехословацкой Академии наук, связанный с Институтом Экономики, и даже получивший от чехов медаль за свою научную работу, в журнале «Нью Уорлд Ревью» (лето 1968 г.), сочувственно писал о развитии экономики Чехословакии при социализме. Ссылаясь на выступления руководителей чехословацкого правительства и КПЧ, он приводил такие данные: с 1948 по 1966 г. валовой общественный продукт вырос в 3,4 раза, а производство средств потребления — в 2,4 раза. Была ликвидирована безработица и производительность труда выросла к 1966 г. в три раза по сравнению с 1948 годом. В сельском хозяйстве были созданы кооперативы и государственные хозяйства. Благодаря механизации с вдвое уменьшившимся количеством сельскохозяйственных работников стало производиться больше аграрной продукции, чем в 1936 году. Медицинское обслуживание бесплатно и считается одним из лучших в мире. Хорошо поставлено социальное обеспечение.

Словом, все хорошо и развивалось как нельзя лучше, но... Вот эти многие «но» и ставят под сомнение целый ряд экономических и социальных «достижений», о которых достаточно легковесно пишет г. Уилер. Уже в 60-х г.г. экономическое положение в Чехословакии было отнюдь не безоблачно. Назревали серьезные трудности. В 1948 г. оптовые цены (и себестоимость) были выше мировых цен, а в 1966 г. они поднялись примерно до уровня в два раза выше мировых.

Резко снизилась эффективность капиталовложений. Чтобы получить приращение национального дохода на одну крону, в 1950 г. надо было вложить в капитальное строительство 1,33 кроны, а в 1963 г. уже — 18,22 кроны. В последующие годы, несмотря на значительные вложения в народное хозяйство, не было достигнуто заметного роста национального дохода, реальной заработной платы. Система забуксовала. Назрела необходимость экономической реформы. В Сов. Союзе вокруг предложения Е. Либермана шла тогда длительная дискуссия. Сначала отпугивал ключ к новой экономической политике — прибыль, рентабельность, процент, рынок, товарно-денежные отношения, процент на капитал и другие атрибуты капиталистической экономики. Потом несколько освоились с терминологией: ведь стоит лишь всюду впереди поставить прилагательное «социалистический», как все магически становится на свое место: социалистическая прибыль, социалистический рынок и т. д. Даже подозрительный процент на капитал был заменен удобным термином «платность основных фондов».

Экономическая реформа проводилась в СССР, но была задана и другим странам СЭВ. В начале не было особого предписания: где остановиться в реформе, где положить предел в перестройке планирования, в развитии товарно-денежных отношений, в основах материального стимулирования. Но так уж случилось, что наиболее систематически эта экономическая реформа разрабатывалась как раз в Чехословакии. Да, пожалуй, и нуждалась в ней Чехословакия больше, чем какая-либо другая «народная демократия».

В противоположность многим странам Восточной Европы Чехословакия накануне Второй мировой войны была страной высокой индустриальной культуры. Достаточно сказать, что Чехословакия с ее почти 14 млн. населением в середине тридцатых годов входила в число первых десяти индустриальных стран мира. Причем по размеру продукции и экспорта на душу населения Чехословакия стояла на 4-5 месте в мире.

Чехословакия, как признают и советские источники, имела многовековой опыт работы на экспорт. Ее продукция всегда отличалась высоким качеством. Это положение — высокая экспортная способность страны и высокое качество продукции автоматически некоторое время сохранялись и в послевоенные годы. На всемирной выставке в Брюсселе (1958 г.) и на всемирной выставке в Монреале (1967 г.) Чехословакия получила первый приз и большую золотую медаль.

Отакар Шимунок, заместитель председателя правительства ЧССР, отмечает высокий удельный вес экспорта, «который в валовом общественном продукте составляет примерно 10 процентов, а в национальном доходе — приблизительно 20 процентов». («Междун. Жизнь», 1968, 4, стр. 32). На экспорт поступает 17,3 процента всего промышленного производства страны (1963 г.). Все это заставляло чехословацких экономистов особенно присматриваться к состоянию мирового рынка и искать путей вхождения в него, в дополнение к тем формам товарооборота, которые диктовались решениями СССР под маркой Совета Экономической Взаимопомощи.

Характер товарооборота внутри социалистического лагеря требовал и соответствующей перестройки промышленного аппарата, структуры народного хозяйства. Советским Союзом Чехословакия была вынуждена пойти по пути советской индустриализации, форсировать развитие тяжелой промышленности и вводить такие отрасли промышленности, которые не диктовались потребностями ее внутреннего рынка и не были традиционным видом производства в прошлом. Это приводило к росту диспропорций в отраслевой структуре промышленности и к замедлению развития сельского хозяйства.

Трудности в развитии чехословацкой экономики стали особенно заметны в начале шестидесятых годов. В 62-63 г.г. уже были налицо признаки стагнации. Реальная заработная плата начала снижаться. И это тем более стало заметно, что чехи и словаки из-за роста иностранного туризма начали соприкасаться с зарубежными гостями и видеть недостатки своей повседневной жизни.

Вслед за коммунистической прессой, Уилер объясняет пороки чехословацкой экономики тем, что централизованное планирование способствовало погоне за «валом», а не за качеством, за перевыполнением плана измеряемым в ценах, а не за нужной стране продукцией. Премии выдавались за успешность

выполнения плана, а вопросы затраты труда, материалов, себестоимость, — все отступало на задний план.

Все это типично для всякого коммунистического строительства. Но в ЧССР были и свои особые причины затруднений. Часть из них назвал, как это ни странно, генеральный секретарь компартии США Гэс Холл, доклад которого с сокращениями был опубликован в приложении к «Известиям», в еженедельнике «Неделя» (1968, № 39, стр. 10-11). Высокие темпы экономического развития Чехословакии, объясняет Холл, основывались на старой индустриальной базе и резервах квалифицированных рабочих. И кризис был вызван исчерпанием этих ресурсов, на которых покоились прежние высокие темпы. Был достигнут предел в наличии рабочих кадров, не была удовлетворена потребность в капиталах для обновления машинного оборудования и для введения новой технологии. Дефект видит Холл и в высоком росте заработной платы. По его мнению, Чехословакии еще задолго до кризиса следовало бы уменьшить ежегодное повышение заработной платы и побольше капиталов вкладывать в промышленное оборудование и в развитие технологии. Но этого, мол, не было сделано и поэтому не удивительно, что «начиная с 1963 года темпы роста начали снижаться».

Я остановлюсь только на одном, не лишенном справедливости, утверждении, что не было уделено достаточно внимания обновлению и модернизации производственного аппарата. Но дело то в том, что вина в этом менее всего лежит на руководителях чехословацким народным хозяйством. Известно, что КПСС смотрела на чехословацкое благополучие с некоторой завистью и недоброжелательством, полагая, что чехословацкий народ живет слишком жирно. Поэтому Чехословакия была обязана выделять часть капиталов, чтобы пособить индустриализации других социалистических стран.

Приведу лишь небольшой перечень обязательного кредитования Чехословакией ряда проектов, осуществляемых в рамках Совета Экономической Взаимопомощи. В книге С. Д. Сергеева «Экономическое сотрудничество и взаимопомощь социалистических стран» (Внешторгиздат, 1964) можно найти такие кредитные операции, к которым была принуждена Чехословакия:

1. «Чехословакия и ГДР оказывают Польше материальную и техническую помощь в увеличении добычи угля и серы. Чехословакия предоставила для этой цели кредит на сумму

250 млн. марок... Погашение кредита производится поставками польского угля и кокса (стр. 154).

2. В 1961 г. было подписано польско-чехословацкое соглашение о сотрудничестве в строительстве трех медных рудников в районе Люблин-Глогув и предприятий медной промышленности в Польше. Для указанных целей Чехословакия предоставила Польше кредит в сумме 112,5 млн. руб., его погашение будет производиться поставками меди и медных изделий (стр. 155).

3. В ноябре 1959 г. между Чехословакией и Болгарией достигнуто соглашение о совместном строительстве промышленного объекта «Медет» и разработке богатого месторождения медных руд вблизи болгарского города Паногориште. В соответствии с соглашением Чехословакия поставляет Болгарии в кредит оборудование, прокат черных металлов и другие материалы...» (стр. 155).

В очень оригинальной и своеобразной форме трансформируется и финансовая помощь в соглашении между Чехословакией и Польшей, о чем пишут авторы в книге «Ресурсы и международное сотрудничество», выпущенной Академией наук СССР в 1968 г. (изд. «Международные отношения», см. стр. 67):

«Польша получила кредит от Чехословакии в размере 40 млн. инвалютных рублей на развитие добычи серы в районе Тарнобжега. Кредит был предоставлен в форме оборудования и товаров народного потребления, продажа которых на внутреннем рынке позволила Польше мобилизовать внутренние ресурсы для собственных капиталовложений».

Как видим, средства для государственного строительства создаются путем двойной эксплуатации двух народов. Конечно, только СССР мог «помочь» достигнуть такого соглашения. (Видно из благодарности Польша Гомулки принимала охотно участие в оккупационных маневрах войск стран-участниц Варшавского пакта).

Чехословацкими кредитами не обойдена была и Восточная Германия. На основе соглашения о сотрудничестве в области развития калийной промышленности в ГДР, «Чехословакия предоставляет ГДР кредит в виде машин и оборудования на сумму 115 млн. марок, а ГДР берет на себя обязательства по увеличению поставок калия в Чехословакию» (стр. 68-69).

Чехословакия заключает не только двухсторонние кре-

дитные соглашения, но ей приходится также участвовать в многосторонних соглашениях. Вот одно из подобных соглашений весьма сомнительной эффективности для чехословацких финансов. «В Румынии около порта Брэилы с помощью кредитов Чехословакии, ГДР и Польши сооружен крупный целлюлозно-бумажный комбинат годовой мощности 200 тыс. т. целлюлозы. Сырьем для него служат огромные запасы камыша в дельте Дуная... Чехословакия обеспечила в счет кредита поставку силовых установок и машин для регенерации щелоков» (стр. 68). Не знаю, работает ли этот комбинат, но подобный проект для утилизации также огромных запасов камыша р. Волги, оказался полным провалом.

Помимо того, что Чехословакия была принуждена за счет своих средств помогать индустриализации других социалистических стран, к ней в кредитоискатели попал и сам богатый Советский Союз.

Сергеев приводит текст соглашения, достигнутого между СССР и Чехословакией о совместном строительстве предприятий цветной металлургии и расширении советской железнорудной базы. «Чехословакия обязалась поставить Советскому Союзу в 1961-1966 г. в кредит машины и оборудование и другие материалы, необходимые для развития железнорудной промышленности и для строительства и оснащения указанных заводов... Расчеты за кредит СССР будет осуществлять поставками в Чехословакию железной руды» (стр. 155-56).

По другому соглашению, подписанному в сентябре 1966 года, Чехословакия должна была поставлять СССР нефтеобрабатывающее оборудование, а кредит начнет погашаться лишь с 1970 г. поставками нефти сверх количества предусмотренного долгосрочными торговыми соглашениями (стр. 157).

По четырехстороннему соглашению, с участием Чехословакии, Польши и ГДР в Советском Союзе намечено сооружение Кингисеппского рудника и обогатительной фабрики по производству фосфоросодержащего сырья (стр. 157). В сооружении нефтепровода «Дружба» и газопроводов потребовалось долевое участие всех государств, через территорию которых прокладывались трубопроводы. А это обозначало финансирование сооружений, в которых был кровно заинтересован экономически и политически Советский Союз, так как этим связывались топливные ресурсы всех стран СЭВ в единый комплекс, полностью подчиненный воле «старшего брата».

Нужно упомянуть и еще один источник утечки финансовых средств Чехословакии — это кредитование стран социалистического лагеря. Чехословакия неоднократно предоставляла кредиты Албании (Сергеев, стр. 182). Значительная финансовая помощь оказывалась Болгарии, за период 1951-1955 г.г. она получила кредитов на сумму 36 млн. руб. (стр. 182). Еще большие суммы были предназначены для оказания финансовой помощи Венгрии: в 1956 г. — 16,8 млн. руб., в 1957 г. — три кредита на общую сумму — 134,6 млн. крон (стр. 182). «По соглашению, заключенному в июле 1957 г., Венгрия получила от Чехословакии долгосрочный кредит в сумме 180 млн. крон из двух процентов годовых с погашением в течение 10 лет поставками обычного венгерского экспорта» стр. 183).

Не была обойдена и Куба: кое-что перепало и на ее долю. Чехословакия предоставила ей кредит в 40 млн. долларов. И Монгольская Народная Республика кое-что перехватила: «в соответствии с соглашением, подписанным в декабре 1956 г., МНР получила кредит в размере 2.025 тыс. руб...» (стр. 183).

Участие Чехословакии в кредитовании индустриализации других стран социалистического лагеря, великодушно называемое в СССР «стремлением к выравниванию уровня социалистического строительства», не единственный источник утечки валюты и финансовых средств из Чехословакии. СССР всегда рассматривал и рассматривает Чехословакию как неперемного участника его внешнеполитических и внешнеэкономических акций. ЧССР поставляет оружие Объединенной Арабской Республике, Северному Вьетнаму и другим странам, в вооружении которых СССР особенно заинтересован. Из социалистического лагеря Чехословакия принуждена была быть главным поставщиком машин и оборудования для развивающихся стран, если СССР по каким-то соображениям было желательно оставаться в тени. Не важно, если в большей части таких акций нарушались собственные интересы Чехословакии и наносился ущерб ее финансам. Экономисты ЧССР совершенно справедливо указывали на то, что правительство страны заинтересовано больше в индустриализации своих отсталых районов, как, например, некоторых провинций Словакии, чем в индустриализации африканских республик.

О том, что ЧССР в течение лет была вынуждена вести экономическую и финансовую политику противоречащую собственным интересам, свидетельствует и тот факт, что

средний уровень накопления по отношению к размеру национального дохода в Чехословакии самый низкий в социалистическом лагере. Это, разумеется, не могло не привести к замедлению индустриализации, потере правильной структуры народного хозяйства и к серьезному техническому отставанию от западного мира.

18 июня 1968 г. заместитель председателя правительства ЧССР О. Шик, которому под давлением СССР пришлось уйти в отставку, сообщил в печати сведения, показавшие изнанку благополучия экономики страны. Производительность труда в промышленности настолько отстает от нужных темпов роста, что теперь для увеличения национального дохода на один процент необходимо сделать в четыре раза больше капиталовложений, чем десять лет тому назад. К 1963 году устарело 57 процентов машинного парка. Многие оборудование находится в эксплуатации больше 60 и 80 лет. Из-за отставания в техническом прогрессе на предприятиях ЧССР необходимо израсходовать 435 кг. металла для производства единицы продукции, которая требует в США всего 186 кг.

Другой ученый, молодой профессор Ванек Шилхан 14-го июня с. г., в беседе с представителями печати, резко критиковал прежнюю экономическую политику, которая поощрялась и направлялась Советским Союзом через СЭВ. Она привела к усилению тяжелой промышленности, к созданию таких ее отраслей, которые в чехословацких условиях были убыточны. Он отметил, что в последнее время пришлось закрыть 300 мелких и 5 крупных предприятий горно-рудной промышленности и разместить сорок тысяч уволенных рабочих на предприятиях иного профиля, что, разумеется, было связано с потерями для рабочих и государства.

О недостатках в организации чехословацкого народного хозяйства пишут и в материалах, публикуемых в советской печати уже после оккупации, но, конечно, в смягченных тонах. Так, О. Черник, председатель правительства ЧССР и член президиума КПЧ, в «Известиях» должен был поместить статью об «историческом пути чехословацкого народа к свободе и социализму» (27 октября 1968 г.), чтобы доказать, что ЧССР не мыслит своего пути вне социалистического лагеря, руководимого «братским» СССР. Вот, что он писал о причинах перехода к экономической реформе:

«С февраля 1948 года у нас были большие достижения,

но появились также и недостатки. Экономическое развитие было направлено главным образом на экстенсивные источники роста. На интенсивные источники начали обращать внимание только в шестидесятые годы, когда стало ясно, что развитие экономики проходит слишком односторонне и когда дело дошло до стагнации роста.

Но и замедление темпов роста, стагнация промышленного производства и отставание производительности труда, все это следствия былой экономической политики, направляемой СССР. После окончания второй мировой войны и оккупации Чехословакии советскими войсками и политическими агентами, правительство вынуждено было следовать этой экономической стратегии коммунизма. Советский Союз получал особые преимущества от создания замкнутого социалистического рынка, монополизировав всю внешнюю и экономическую политику стран социалистического лагеря. Достаточно сказать, что Чехословакия накануне коммунистического переворота 1948 года 60 процентов своей внешней торговли вела с западными странами, а в 1967 году всего лишь 28 процентов. И это потому, что после 1948 года главным торговым партнером ЧССР стал СССР, и тогда — взаимный товарооборот составлял более трети чехословацкой внешней торговли. На социалистический рынок приходилось четыре пятых экспорта чехословацких машин и оборудования. И две трети импорта энергии, сырья и других материалов приходилось покрывать за счет поставок из стран СЭВ. Это положение, как и стремление сделать из ЧССР «социалистического банкира» привело к тому кризису, который не могли не увидеть даже самые просоветские агенты ЧССР, и не могла отрицать советская пресса.

«Социалистический банкир» остался сам без средств для собственной индустриализации, модернизации и обновления действующего производственного аппарата. Реформа и переориентация экономики стали необходимы. Однако, как оказалось на деле, недостаточна была переброска средств на обновление основных фондов. Нужна была перестройка структуры народного хозяйства и сама система стимулирования экономики и материального поощрения нуждались в коренной ломке.

В первую очередь надо было завершить сооружение важнейших строек и отказаться от дальнейшего строительства некоторых из начатых объектов. За последние два года удалось

частично ликвидировать разрыв между строительством и введением в эксплуатацию новых фондов, но многие стройки так и остались незавершенными, как, например, Восточнословацкий металлургический комбинат в Кошице, атомная электростанция в Богунницах, комбинат по переработке бурого угля в Вржесове («Руде Право», 1968, № 66).

При составлении программы строительства в 1968 году было подано заявок на 37 млрд. крон, то-есть почти в три раза больше, чем это позволяли наличные ресурсы. Поэтому и в годы реформы решения принимались административным давлением вышестоящих органов. Несмотря на нарушение здоровой структуры промышленности, все еще сказывалось желание усилить тяжелую промышленность за счет легкой. Легкой промышленности по-прежнему не уделялось достаточного внимания, хотя ее продукция быстро бы нашла выход на мировой рынок и дала бы возможность накопить иностранную валюту для расширения экономического потенциала Чехословакии.

Для Чехословакии, которая по внешнеторговому обороту на душу населения и сейчас занимает первое место среди социалистических стран, было жизненно необходимо расширять свои традиционные связи с западным рынком, чтобы компенсировать потери на социалистическом рынке.

Известно, что за последнее время и Советский Союз стремится расширить свои связи с странами несоциалистического лагеря, вплоть до того, что берет долгосрочные кредиты под закупку продукции таких стран, как Франция и Япония. Итальянские фирмы будут финансировать постройку автомобильного завода в г. Тольяти (быв. Старополь на Волге). Но когда чехословацкое правительство заикнулось о том, что ФРГ предоставляет широкие возможности для товарообмена и согласна предоставить Чехословакии кредит в размере 500 млн. долларов, — советская печать завопила, что этим чехословацкое правительство думает закабалить свою страну реваншистам и превратить свою промышленность в подсобную мастерскую Западной Германии. Вот образчик советских инсинуаций в официальной печати: — «Больше двух десятилетий рабочий класс Чехословакии строил социалистическое общество и многого добился за это время. Были, конечно, трудности, ошибки и просчеты. Нашлись, однако, люди, которые с легкостью необыкновенной перечеркнули двадцать лет самоотверженного труда народа и под прикрытием разговоров о «развитии эко-

номики» фактически взяли курс на сращивание чехословацкой промышленности с монополистическими концернами Запада, на превращение ее в подсобную мастерскую картелей «Общего рынка» («Правда», 26.8.68).

Но справедливо другое: уже 20 лет, как Чехословакия превращена в подсобную мастерскую Советского Союза и работает по невыгодным принудительным соглашениям. Чехословакия получает из СССР железную и марганцевую руду, уголь и кокс, нефть и газ по ценам более высоким, чем мировые. К тому же ЧССР должна кредитовать строительство новых промышленных мощностей в советской добывающей промышленности. А при закупке на мировом рынке Чехословакия не только не должна была бы вкладывать в иностранную промышленность свои средства, но получила бы долгосрочный кредит под свои закупки, приобрела бы для перевооружения промышленности самую новейшую технику и, реализуя за валюту свои традиционные товары на Западе, имела бы достаточные накопления для расширения своего народного хозяйства.

О том, что Чехословакия является подсобной мастерской СССР свидетельствует не только поглощение Советским Союзом значительной части чехословацкого экспорта, но и то, что промышленность ее выполняет главным образом советские заказы, и то, что целый ряд предприятий производят продукцию, не нужную чехословацкому народному хозяйству, а целиком идущую в Советский Союз.

Отакар Шимунок, заместитель председателя правительства ЧССР, в мартовском номере советского журнала «Международная Жизнь» привел такие примеры «сотрудничества»: — «Ряд машиностроительных заводов ЧССР работают преимущественно для удовлетворения нужд Советского Союза. Это относится, например, к производству судов и речных землесосов, электровозов и других изделий». В своей статье Шимунок отмечает, что «... в настоящее время нет ни одной отрасли народного хозяйства где бы... сотрудничество (с Советским Союзом) не занимало достойного места». И признает, что экономические связи Чехословакии с СССР за прошедшие годы оказывали «непосредственное влияние на темпы развития, структуру и технический уровень чехословацкого хозяйства». Это верно, но из-за этого и наступила стагнация народного хозяйства ЧССР и выявилась необходимость экономических реформ.

В последнее время в советской печати появляются многочисленные статьи, авторы которых стремятся доказать, что экономическое сотрудничество в рамках СЭВ взаимно выгодно всем странам-участницам, и что Советский Союз, отнюдь не эксплуатирует страны своего блока и, в частности, ЧССР только выигрывает от того, что работает на старшего брата. Доктор экономических наук В. Золотарев в № 10 журнала «Внешняя Торговля» (1968) выступает против «инсинуаций» буржуазных ученых, которые, по его мнению, стремятся доказать, что сотрудничество социалистических стран якобы выгодно лишь СССР, который, мол, эксплуатирует другие страны, входящие в СЭВ. К сожалению, ни факты, ни цифры приводимые им не доказывают справедливости его опровержений. Факты как раз говорят о другом.

В октябре 1968 г. швейцарская газета «Нейе Цюрихер Цайтунг» поместила подробный экономический обзор о торговле между ЧССР и СССР. Причем все цены взяты по сов. валютному курсу и из советских источников за ряд лет. Автор приводит перечень важнейших товаров советского экспорта в ЧССР и в западные страны. Не будем цитировать весь список, приведем лишь два примера, взятые мною непосредственно из советского источника. ЧССР обходится советский каменный уголь в 11 руб. 30 коп. тонна, а Франции — 5 руб. 80 коп. Советская нефть стоит чехословацкой промышленности 15,5 руб. тн., а Франции — 8 руб. 25 коп. тн. По расчетам швейцарского экономиста, Чехословакии советские товары обходятся в целом на 35 процентов дороже, чем западным странам.

Еще большая торговая дискриминация проводится в отношении чехословацкого экспорта в СССР. Советский Союз, например, за чехословацкие шерстяные ткани платит в 1,7 раза меньше, чем западным странам. В целом ЧССР получает за свои товары на 115 процентов меньше, чем страны несоциалистического лагеря, торгующие с СССР.

Если мы возьмем весь товарооборот ЧССР с СССР за 1966 г., то увидим следующую картину. По действующим ценам Советский Союз поставил Чехословакии товаров на 804,6 млн. руб., а получил из нее товаров на 827,5 млн. руб., то-есть на 22,9 млн. руб. больше. Если же мы будем считать товарооборот по мировым ценам, или по тем ценам, по которым идет советский экспорт в западные страны, то Чехословакия поставила Советскому Союзу товаров на сумму свыше 1 млрд 600 млн. руб., а получила от СССР всего товаров на 600 млн. руб.

Выходит, что СССР обсчитал своего партнера на один миллиард с лишним. Этот дефицит дискриминационной торговли никакими красивыми фразами о взаимной дружбе никак не прикроешь.

Надо думать, что происходящий сейчас пересмотр цен во взаимных поставках стран-участниц СЭВ приведет к еще большему ухудшению торгового баланса ЧССР и прочих вассальных стран социалистического лагеря. Не мудрено, что Чехословакия ищет для компенсации потерь в торговле с СССР таких торговых партнеров, товарооборот с которыми был бы действительно взаимновыгоден. Такими являются многие западные страны, с которыми в прошлом торговля была постоянной и охватывала традиционные товары.

Экономические реформы в ЧССР были может быть даже нужнее, чем в СССР. И чехословацкие экономисты были последовательней и радикальнее, чем их коллеги в Советском Союзе в разработке новой экономической системы. Ими была разработана очень рациональная стратегия хозяйственной политики в условиях новой системы управления и планирования, новых форм финансирования, кредитования, оплаты труда и ценообразования.

Уже в 1967 году все основные отрасли народного хозяйства ЧССР перешли на новую систему, и как пишет Милослав Когутек в журнале «Господарни Новины», «начала действовать целостная система экономических рычагов, вступили в действие новые принципы планирования и формирования государственного бюджета, созданы юридические и экономические предпосылки для развития новых форм руководства экономикой страны» (1968, № 2, стр. 1-6).

Чехословацким реформаторам экономической политики были ясны неискоренимые пороки той модели «советского социализма», которую они вынуждены были до сих пор рабски копировать и из-за которой были демобилизованы прежние движущие силы экономического развития — здоровая конкуренция, внимание к экономическим рычагам воздействия на предприятия через прибыль, личная заинтересованность руководства предприятий, регулирование производства и потребления через рынок.

«Мы ликвидировали частную собственность, — писали создатели новой экономической модели, — и не создали более высокого стимула и движущей силы экономического развития, не создали собственной социалистической системы **всеобщей**

инициативы». Понятно, что эти слова вызвали гнев советской печати.

Не буду останавливаться на особенностях чехословацкой модели «рыночного социализма». В ее осуществлении выявились новые проблемы, но и определилась дальнейшая перспектива развития экономики страны. Одна из задач, которую ставили себе творцы новой экономической модели, — это создание таких условий, при которых экономика ЧССР более полно отвечала бы требованиям мирового свободного рынка. Но сейчас это уже вопрос истории неосуществленных мечтаний о создании свободной социалистической экономики. Советские обвинения Чехословакии в скатывании к капитализму, конечно, ни на чем не основаны. Да, О. Шик на страницах «Руде Право» писал о том, что монопольному положению предприятий необходимо противопоставить внутриотраслевую конкуренцию или конкуренцию внешней торговли. Но ведь и советские экономисты предлагали закрывать предприятия, работающие нерентабельно. Да, О. Шик предлагал в органы управления предприятиями ввести по югославскому образцу рабочие советы. Но разве сие противоречит социализму? Да, предлагалось усилить влияние рынка и товарно-денежных отношений. Но разве модель «рыночного социализма» не столь социалистична, сколь советская модель «административного социализма»? Скорее наоборот, ведь советский «социализм» гораздо правильнее называть — государственно-монопольным капитализмом.

Некоторые чехословацкие ученые имели неосторожность утверждать, что советская «индустриальная модель» построения социализма приносит в жертву будущему потребности нынешнего поколения. И хуже того, — они заговорили о необходимости «гуманизации труда», о необходимости обеспечить в первую очередь быстрый рост жизненного уровня населения. Вот такие отравленные стрелы в лагерь идеологов «советского социализма» никак не могли прийтись им по душе. В этом догматики и увидели чуть ли не переход членов КПЧ в лагерь антикоммунистов, явно испугавшись того, что чехословацкий опыт может оказать влияние на умы и в СССР, где тоже м. б. захотят осуществить «рыночный социализм» и больший либерализм в общественной жизни.

А. Иванов

НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА*

Названная в примечании книга Роберта Мэсси имела огромный успех у американских читателей и в течение долгих месяцев находилась в списке «бэст-селлер»'ов. Это обстоятельство возбуждало у скептического историка подозрение, не является ли эта книга лишь занимательной болтовней рассчитанной на не слишком высокие вкусы обывательско-читательской публики. Но с каждой прочитанной главой это подозрение рассеивалось, а дочитав книгу до конца, внимательный читатель приходит к заключению, что это — серьезная, объективная, научно-популярная, интересно написанная книга.

Прежде чем говорить конкретно о книге, а также о лицах и событиях, о которых она повествует, я хочу, по возможности точно и подробно, привести содержание книги, по главам.

Во введении автор, между прочим, отмечает, что мировая война 1914-1918 гг. вызвала падение всех трех европейских империй, и что имп. Николай по своим моральным качествам и по своей интеллигентности стоял не ниже всех остальных европейских монархов «в его или в наши дни».

Гл. 1: «Императорская Россия в 1894 г.». Здесь автор рисует картину социального строя России и ее политической идеологии (картину несколько стилизованную во вкусе западных авторов и читателей), описывает жизнь петербургского общества, дает характеристики имп. Александра III и императрицы Марии Федоровны и говорит, вкратце, о внутренней и внешней политике этого царствования.

Гл. 2: «Цесаревич Николай» — описывает характер — мягкий, простой и приветливый — молодого наследника престола; преобладающее идеологическое влияние Победоносцева; жизнь в столице, где цесаревич, в чине полковника, командовал эскадром конного гвардейского полка, скучал в заседаниях Государственного Совета, но часто и охотно посещал оперу, дра-

* Robert K. Massie. "Nicholas and Alexandra". Atheneum. New York, 1967 (584 pp.).

му и балет; его роман с молодой балериной Матильдой Кше-синской; его путешествие (в 1892 г.) на Восток — в Египет, в Индию, потом в Японию (где было совершено покушение на его жизнь).

Гл. 3: «Принцесса Алиса». Принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская была, по матери, внучкой британской королевы Виктории; Алиса росла и воспитывалась при британском дворе. Николай встретил ее, еще девочку, в Москве, куда она приезжала к своей старшей сестре Елизавете, бывшей замужем за великим князем Сергеем Александровичем; потом он виделся с ней в Дармштадте и в Англии, глубоко — на всю жизнь — полюбил ее и сделал предложение; оно было принято, но для того, чтобы стать женой наследника российского престола, Алиса должна была (после предварительной подготовки) принять православие, и она приняла его не только формально.

Гл. 4: «Брак». Осенью 1894 года императора Александра III постигла тяжелая болезнь, и царская семья, по совету врачей, переехала в Крым; туда же приехала и невеста цесаревича. 20-го октября Александр III умер (в возрасте всего 49 лет), и 26-летний престолонаследник стал императором, не подготовленный к этому ни психологически, ни практически. Гроб с телом покойного царя был перевезен в Петербург, и жители столицы впервые увидели свою будущую императрицу в похоронной процессии... Свадьба была совершена в середине ноября с максимальной скромностью, но все же это сочетание похорон и свадьбы показалось многим мрачным предзнаменованием.

Гл. 5: — «Коронация» — содержит подробное описание торжественной церемонии коронации. Страшное несчастье на Ходынском поле было как бы новым мрачным предзнаменованием. Осенью 1896 года молодой царь, с супругой, посетил Англию, а потом Францию; Париж приветствовал союзника Франции восторженно.

Гл. 6: «Новый царь», — он получал горы официальных бумаг, донесений и докладов и добросовестно их прочитывал; столь же внимательно он выслушивал устные доклады министров о самых разнообразных предметах, о существовании которых он имел весьма слабое и смутное понятие. Верховным принципом политики было для него сохранение самодержавной власти, завещанной ему предками. В остальном его отношения к лицам

и вещам не имели характера прямоты и устойчивости, и случилось, что министр скоро после самого любезного приема получал указ об отставке. Императрица, попавшая в чуждую среду, не знающая ни нравов и обычаев, ни языка и культуры своей новой страны и будучи застенчивой, держалась, по внешности, замкнуто и холодно, и ее сразу не взлюбили царская родня и петербургское аристократическое общество. Она утешала себя мыслью, что Петербург — не Россия, а простой православный народ неизменно предан царю как своему отцу и его жене как «матушке-царице», которой она хотела бы быть.

Гл. 7: «Революционеры» — Ленин и Керенский.

Гл. 8: «Совет кайзера». Император Вильгельм II, кузен и — по внешности — друг Николая II, в переписке с ним и при личных встречах убеждал его в том, что внешне-политические стремления России должны быть направлены не в Европу, а на Дальний Восток: оттуда европейскому миру угрожает «желтая опасность» и там Россию ожидает «священная миссия» распространения христианской цивилизации. Русско-японская война 1904-5 гг. положила конец иллюзиям о «священной миссии» на Дальнем Востоке.

Гл. 9: «Революция 1905 года». В трагическую эпоху неудачной войны и начинающейся революции (летом 1904 года) у царя родился долгожданный и страстно желанный наследник престола, названный Алексеем; но скоро безмерная радость родителей омрачилась тяжелым горем: мальчик оказался болен неизлечимой болезнью — гемофилией.

Гл. 10: «Царское Село» — подробно описывает жизнь царя и царской семьи во дворцах и в парке Царского Села. Там, в постоянном общении с императрицей, жила и ее единственная близкая подруга Анна Вырубова.

Гл. 11: «О.Т.М.А.» и Алексей. — «О.Т.М.А.» есть обозначение группы четырех царских дочерей: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Центром, вокруг которого вращалась вся жизнь семьи, был маленький Алексей. За ним ухаживали мать и все сестры и его специально обслуживали два матроса — Деревенко и Нагорный, которые носили его на руках, когда он, по болезни, не мог ходить.¹

¹ После революции Деревенко покинул царскую семью, но Нагорный сохранил верность до гроба, отправился со своим царевичем в Сибирь и был убит большевиками в тюрьме в Екатеринбурге.

Гл. 12: «Агония матери» — описывает материнское горе и постоянную тревогу императрицы за сына, всегда жившего под угрозой катастрофы, тревогу, которая изнуряла ее и подтачивала ее силы физические и душевные, превращая ее в истеричку. Но причина ее болезненного состояния не была известна внешнему миру, ибо от России хотели скрыть тот факт, что будущий император (Алексей) — неизлечимо-больной, инвалид.

Гл. 13: «Путешествия царской семьи» — описывает жизнь царской семьи во время плавания на яхте «Штандарт» и во время ее пребывания в Крыму (во дворце в Ливадии).

Гл. 14: «Маленький не умрет». В сентябре 1912 г. царская семья приехала в Спалу для предполагавшегося сезона охоты в Беловежской пуше. Здесь у Алексея случилось кровотечение, которого доктора не могли остановить, и ребенок явно умирал. Анна Вырубова телеграфировала Распутину в с. Покровское (родное село Распутина в Тобольской губ.), прося его молитвы; от него пришла ответная телеграмма с приведенными выше словами и вскоре произошло — необъяснимое для врачей — выздоровление Алексея, после чего царица окончательно убедилась в том, что жизнь и судьба ее сына находятся в руках Распутина.

Гл. 15: «Распутин» — описывает историю появления Распутина при царском дворе, где он был признан «Божьим человеком», посланным свыше для блага царской семьи (и всей России), ибо только его какая-то необъяснимая сила могла останавливать кровотечение у Алексея.

Гл. 16: «Святой чёрт» — описывает кутежи и бесчинства Распутина, о которых поступали донесения к царю; но царица отказывалась верить этим донесениям, считая их клеветой на святого человека.

Гл. 17: «Нам нужна великая Россия» — описывает период управления страной П. А. Столыпина, который стремился спасти Россию и монархию путем проведения необходимых реформ и при этом непрерывно подвергался жестоким нападениям слева и справа.

Гл. 18: «Династия Романовых» — дает краткий, схематичный (и не очень точный) обзор русской истории со времен Ивана Грозного и говорит о моральном упадке в среде императорской фамилии в конце периода.

Гл. 19: «Долгое лето 1914 года» — говорит о событиях и переговорах, предшествовавших началу первой мировой войны.

Гл. 20: «На защиту святой Руси» — описывает военные усилия России, неподготовленной к тягостям тяжелой войны.

Гл. 21: «Ставка» — описывает жизнь имп. Николая и маленького Алексея в Могилеве осенью 1915 года.

Гл. 22: «Бедные ребята, они готовы отдать жизнь за улыбку» (т.-е. за похвалу) — это слова одного русского генерала, сказанные английскому военному агенту Ноксу, по поводу безропотной службы солдат и офицеров, несущих огромные потери в тяжелых боях.

Гл. 23: «Роковое заблуждение». Императрица и ее старшие дочери (Ольга и Татьяна), пройдя соответственный курс обучения, работали в госпиталях как сестры милосердия. Преданная своей новой родине и желающая ей победы, царица при этом непоколебимо верила в послание Распутина и в мудрость его советов и требовала от царя охранения самодержавной власти от всякого вмешательства Государственной Думы в дела управления.

Гл. 24: «Правительство распадается». Приняв на себя верховное командование армиями и уехав в Ставку, царь оставил в столице царицу как его «очи и уши», т.-е. фактически — во главе управления. В старых и слабых руках премьер-министра Горемыкина правительство перестало нормально функционировать, а постоянные смены министров — «министерская чехарда»,² увольнения популярных министров и назначения, по рекомендации Распутина, таких одиозных фигур как Штюрмер и Протопопов, вели к окончательному падению престижа правительства и царской семьи. В конце 1916 года петербургское общество все больше интересовалось распутинским скандалом и все меньше войной.

Гл. 25: «Князь (Феликс Юсупов) и мужик» — рассказывает историю убийства Распутина.

² За 2½ года войны в России «случилось» 4 премьер-министра, 4 военных министра, 6 министров внутренних дел, 4 министра земледелия и даже 4 обер-прокурора Святейшего Синода. Впрочем, «министерская чехарда» (хоть и по другим мотивам) продолжалась и при Временном Правительстве.

Гл. 26: «Последняя зима в Царском Селе» описывает психологическое состояние царской семьи и императорской фамилии накануне революции.

Гл. 27: «Мартовская революция 1917 года».

Гл. 28: «Отречение». Здесь, м. пр., приводится оценка личности и царствования Николая II, данная великим британским государственным деятелем Уинстоном Черчилем (я приведу его слова в конце статьи).

Гл. 29: «Императрица в одиночестве» (в Царском Селе в дни революции).

Гл. 30: «Гражданин Романов» — описывает пребывание царя под арестом в царскосельском дворце и посещения царской семьи Керенским.

Гл. 31: «Правительство Его Величества не настаивает». Временное Правительство намеревалось отправить императорскую семью в Англию, и британское правительство сначала выразило свое согласие предоставить убежище двоюродному брату британского короля, но потом, под влиянием левых элементов, отказалось от этого плана, и британский посол Бьюкенен известил министра иностранных дел Милюкова, что «правительство Его Величества не настаивает на своем прежнем предложении гостеприимства (т.-е. приюта) для императорской фамилии».

Гл. 32: «Сибирь». В августе 1917 г. царская семья была, под военным конвоем, перевезена в Тобольск, где местное население с видимой симпатией относилось к заключенным (поселенным в губернаторском доме) и приносило им в подарок разную снедь. Отношение стражи было неровное, но до захвата власти большевиками оно было еще переносимым.

Гл. 33: «Хорошие русские люди» — такими сначала показались царице отряды большевических красногвардейцев, присланные весной 1918 г. из Екатеринбурга и из Омска для несения караульной службы при пленниках, на смену прежнему солдатскому караулу. Новая стража вела себя грубо и жестоко, а скоро большевический совет в Екатеринбурге потребовал перевода пленников туда. В апреле произошло какое-то загадочное событие: в Тобольск явился присланный из Москвы комиссар Яковлев с отрядом солдат и с приказанием от председателя ВЦИК'а Свердлова — доставить царя в Москву (предположительно, по требованию германского посла гр. Мирбаха). Яков-

лев взял с собою царя, царицу и вел. княжну Марию (остальные сестры остались в Тобольске с больным Алексеем), но по дороге поезд был задержан местными большевицкими властями, и пленники были привезены в Екатеринбург (куда 8 мая были привезены и остальные члены царской семьи).

Гл. 34: «Екатеринбург». В Екатеринбурге пленники были поселены в доме купца Ипатьева, который был назван «домом особого назначения» и к которому доступ кого-либо из публики был строжайше запрещен. В мае караул из рабочих-красноармейцев был сменен интернациональным отрядом чекистских палачей под командой Я. Юровского. Екатеринбургский совет (с ведома и согласия Москвы) постановил убить всех пленников, и в ночь с 16-го на 17-е июля большевицкие палачи совершили свое гнусное злодеяние, убив, кроме семи членов царской семьи, доктора Боткина и трех верных слуг.

В эпилоге автор говорит о дальнейшей судьбе тех лиц, которых читатель встречает на страницах его книги.

За текстом следуют генеалогические таблицы, многочисленные примечания (стр. 515-561), библиография и указатель. В середине текста — несколько листов с фотографиями.

Таково содержание книги Р. Мэсси, основанной на внимательном изучении исторических источников и литературы предмета. Конечно, внимательный взгляд старого русского историка должен был заметить в книге Мэсси некоторые фактические ошибки и неточности. Приведу несколько примеров.

На стр. 16 сказано, что Александр III заявил о сохранении самодержавия в неприкосновенности в своем манифесте о восшествии на престол; в действительности это заявление было сделано лишь через два месяца, в манифесте 29-го апреля 1881 г., изданном по настоянию Победоносцева, без ведома и одобрения других министров.

Согласно русско-китайскому договору 15 (27) марта 1898 г. (ст. 3), Порт-Артур был уступлен Китаю «в аренду» России не на 99 лет, как сказано на стр. 85-й, а на 25 лет.

Известную резолюцию против допущения в Россию евреев: «От врагов Христовых не желаю интересной (т.е. корыстной) прибыли» положила не Екатерина II (как сказано на стр. 94-й), «вольтерьянка», чуждая расовой и религиозной нетерпимости, а Елизавета Петровна, веселая барыня в шикарных французских платьях, но со старо-московскими воззрениями (об этой

резолюции см. С. Соловьев, История России, т 25, гл. 2-я).

На стр. 100 сказано, что председателем петербургского совета рабочих депутатов в революцию 1905 года был Троцкий; но Троцкий появился в этой роли только «под занавес», а в октябре, во дни подъема революции, председателем петербургского совета был меньшевик Хрусталев-Носарь.

Депутаты распушенной 8-го июля 1906 г. первой Государственной Думы, уехавшие в Финляндию для составления известного «Выборгского воззвания», устроили свое заседание не «в лесу», как сказано на стр. 209, а в зале одного из выборгских отелей.

На стр. 228 ошибочно сказано об **убийстве** царя Бориса Годунова.

На стр. 229 Петру Великому приписывается указ, по которому придворные дамы и господа, захваченные спящими на постели в обуви, должны быть «немедленно обезглавлены». Подозреваю, что этот «указ» есть произведение одного из иностранных рассказчиков глупых анекдотов о русском дворе.³

Но все эти ошибки — сравнительно мелочи. Некоторые элементы «развесистой клюквы», повидимому, неизбежны в сочинениях иностранцев, пишущих о России, и я должен заметить, что в иных исторических трудах американских авторов, занимающих университетские кафедры русской истории, мне приходилось находить гораздо большее число, и более серьезных, ошибок; не говоря уже о том, что в писаниях советских историков типа ленинского обер-историка Покровского развесистая клюква густо покрывает всю до-революционную историю России.

В книге Р. К. Мэсси важно и ценно то, что он стремится дать объективную оценку лиц и событий, о которых он говорит в своей книге, что он пишет **историю**, а не политический памфлет и не обвинительный акт против «царизма», но при этом

³ Читатель, если он старый русский интеллигент, найдет, что в первых главах книги Мэсси слишком много места уделено описаниям драгоценных украшений в палатах дворцов и на костюмах, на шеях и на руках дам императорской фамилии, с точным перечислением где сколько было алмазов, бриллиантов, перлов, рубинов и сапфиров, но, видимо, автор отдает дань вкусам и интересам современной американской публики.

без всякой идеализации русского исторического прошлого.

Приведем несколько примеров его объективно-справедливых оценочных суждений. На стр. 15, говоря об «отлучении от церкви» Л. Н. Толстого, которое, как известно, вызвало великое негодование российской интеллигенции, автор справедливо замечает, что Толстой (уже давно перед тем) покинул церковь, и синодский акт «экскоммуникации» «был только формальным признанием этого факта». На стр. 103 автор замечает (вопреки общепринятому клише о «поражении» революции 1905-6 гг.), что революция 1905 года и манифест 17-го октября быстро продвинули Россию вперед через «трудное политическое пространство», на прохождение которого странам Западной Европы понадобились столетия.

Говоря о военно-полевых судах и правительственных репрессиях столыпинской эпохи, автор указывает, что число казненных террористов было значительно меньше числа губернаторов, генералов (т.-е. вообще агентов власти), солдат и полицейских, убитых террористами (стр. 206). На стр. 207 автор приводит преувеличенную цифру крестьянских дворов, получивших свои наделы в собственность, но справедливо отмечает значительный прогресс в экономике страны и в народном образовании, который принесла столыпинская эпоха, а также указывает на исключительную трудность положения премьеры Столыпина, непрерывно подвергавшегося ожесточенным нападениям и слева и справа; а вскоре к врагам Столыпина присоединилась императрица, возненавидевшая Столыпина за его отрицательное отношение к Распутину, которого он даже «осмелился» выслать из Петербурга (стр. 212).

Добавлю от себя, что в моих глазах Столыпин, при всех недостатках и ошибках его политики, представляется последним русским богатырем, мужественно ставшим на защиту «обновленного строя» Империи и сраженным изменнической рукою. На стр. 278-й автор справедливо подчеркивает, что русские солдаты, умиравшие в лесах Восточной Пруссии, столь же существенно помогли успеху союзников, как французские солдаты, умиравшие на Марне. На стр. 455 автор правильно определяет характер большевицкой революции в Петрограде 25-го октября как мелкие «стычки», которые впоследствии «были возвеличены в коммунистической мифологии в эпос борьбы и героизма».

В предпоследней главе автор отмечает неблагодарность западных союзников по отношению к низложенному императору, который был так непоколебимо верен своим союзникам и который мобилизовал все силы своей империи для достижения победы над общим врагом. После Брест-Литовского мира «западные союзники потеряли всякий интерес к судьбе российской императорской фамилии. Царь, который мобилизовал 15 миллионов русских солдат на войну, который пожертвовал одну из своих армий, чтобы помочь спасти Париж, который отказался заключить сепаратный мир даже тогда, когда его потрясенная войной империя была накануне крушения, ныне был забыт или подвергался насмешкам и поношению» (стр. 477-478).

Таковы содержание и характер книги Р. Мэсси. Закончу свой обзор тем, чем начал. Эта детальная биография последней российской императорской четы есть солидный, объективный, интересно написанный труд, и можно только порадоваться успеху этой книги, вносящей некоторый «корректив» в поверхность-невежественно-презрительное отношение западной интеллигенции к главным героям российской трагедии. Западным хулителям императора Николая II в особенности не следовало бы забывать, что его непоколебимая верность союзникам и отказ от заключения сепаратного мира с Германией повели к гибели его династии и его Империи, но спасли западную Европу от тевтонского завоевания.

Общепринятое требование о «суде истории» побуждает меня добавить к обзору книги Р. Мэсси свою оценку характера и исторической роли двух главных героев российской трагедии. «По должности» историка я обязан судить «не взирая на лица» и на личные чувства, возбуждаемые скорбным образом царя. В своей книге «Россия в XIX веке» я представил читателю следующую характеристику имп. Николая II: «Вступивший на престол в октябре 1894 г. молодой император Николай II был человек глубоко религиозный, искренний патриот, скромный и приветливый в личных отношениях, но его правительственные таланты не стояли на уровне тех требований, которые предъявляла к повелителю Империи Всероссийской бурная и сложная эпоха начала XX века». Развивая последнюю фразу, укажу на то, что, будучи неподготовленным к своей великой роли и ответственности, Николай II не имел никакой определенной поли-

тической или правительственной программы. Единственным догматом его политической веры, внушенным ему его отцом и его ученым наставником Победоносцевым, была вера в богоустановленность и в необходимость для России неограниченно-самодержавной царской власти, которую он получил от предков и которую он считал себя обязанным сохранить для передачи своему преемнику.

В практической политике в первое десятилетие его царствования он стоял под двумя прямо противоположными влияниями: министр финансов С. Ю. Витте стремился к индустриализации и, следовательно, к модернизации России; обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев рад был бы вернуть Россию, психологически и политически, в эпоху до-Петровской Руси.

Последовавшая за русско-японской войной революция 1905 года ниспровергла политику и влияние Победоносцева и вознесла наверх политической волны графа Витте. Вынужденный подписать манифест 17-го октября, император Николай формально и по существу отказывался от неограниченно-самодержавной власти, ибо манифест обещал «установить, как неизблемое правило», чтобы отныне «никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы»; но в душе царя оставались сомнения и колебания по вопросу о характере верховной власти в «обновленном строе» Российской Империи.

Статья 1-я «Основных государственных законов», в их прежней редакции, гласила: «Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Реформы в высшем государственном управлении, произведенные в 1905-6 гг., вызвали необходимость пересмотра текста основных законов, и Совет Министров предложил изложить первую часть цитированной выше статьи в такой редакции: «Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть». В особом совещании по пересмотру основных государственных законов, заседавшем в апреле 1906 года под председательством императора, почти все участники совещания — министры, особо приглашенные члены Государственного Совета и великие князья — высказали мнение, что необходимым последствием издания манифеста 17-го октября

должно быть исключение термина «неограниченный» из определения характера царской власти, и только будущий премьер И. Л. Горемыкин предлагал «лучше не трогать» эту статью основных законов. Царь долго и мучительно колебался в решении вопроса о том, имеет ли он право отречься от полноты власти, завещанной ему предками, и должно ли, в результате манифеста 17-го октября, изменить определение верховной власти российского монарха, но в конце концов, уступил и в последнем заседании Совещания (12 апреля 1906 г.) заявил о своем согласии на исключение слова «неограниченный» из определения характера царской власти.⁴

Таким образом, слово о «неограниченной» царской власти было вычеркнуто из текста основных законов, но слово «самодержавная» власть осталось от прежнего текста, и эта двусмысленная формулировка как бы отражала те сомнения и колебания, которые сохранялись в душе носителя верховной власти и обнаруживались в его политике между революциями 1905 и 1917 гг. Он принял Государственную Думу, как главный элемент «обновленного строя», установленного в 1905-1906 гг., и не соглашался исполнить требования правых кругов об упразднении Думы или о превращении ее в законосовещательное учреждение, но решающая роль и ответственность в управлении государством должны были попрежнему принадлежать императору, и мысль о министерстве ответственном перед парламентом представлялась царю совершенно неприемлемой.

Может быть, главным недостатком императора Николая II, как правителя, было то — пусть не обижаются на меня читательницы «Нового Журнала», — что он слишком любил свою жену и слишком полагался на эту ненадежную опору. Ее влиянию, в частности, надо приписать и то, что царь охладил к своему верному слуге, искреннему монархисту П. А. Столыпину, самому яркому и крупному из государственных деятелей предвоенной эпохи, выделявшемуся среди большинства тусклых, вялых и безличных министерских фигур. Царица ревниво стре-

⁴ «Протоколы заседаний совещания под личным Его Императорского Величества председательством по пересмотру основных государственных законов 7, 9, 11 и 12 апреля 1906 г.» С.-Петербург. Государственная типография, стр. 28-35 и 94.

милась к сохранению неприкосновенности силы и прерогатив самодержавной царской власти и неохотно видела в составе высшего правительства всякую сильную, самостоятельную и, тем более, популярную фигуру. А к народному представительству, в лице Государственной Думы, она относилась определенно враждебно.

В военные годы, приняв на себя командование армиями и уехав в Ставку, царь фактически передал управление государством в руки своей супруги, немки по рождению, англичанки по воспитанию, оставшейся, в сущности, чуждой стране, в которой она должна была играть роль «матушки-царицы». Народ и «общество» не знали ее «материнской агонии», о которой так подробно и убедительно пишет Мэсси, и считали ее гордой и себялюбивой. Во время военных неудач 1915-го года, как всегда бывает, поползли слухи и толки об измене или самой царицы-немки, или ее ближайшего окружения. Этим клеветническим слухам об «измене» наверху и о каких-то, будто бы, ведущихся с немцами переговорах о заключении сепаратного мира содействовало и выступление лидера кадетской партии и думского «прогрессивного блока» П. Н. Милюкова (его известная думская речь 1-го ноября 1916 г.).⁵

Мистически-религиозная и, вместе с тем, нервно-расстроенная от постоянной тревоги за жизнь больного, бесконечно любимого сына, несчастная царица ухватилась, как за якорь спасения, за пришедшего «из народа» сибирского «старца», мнимого «Божьего человека», который стал для нее не только молитвенником и исцелителем ее сына, но и — советником в делах управления, включая назначение и увольнение министров. И этот всероссийский «распутинский скандал», разду-

⁵ А советские историки, считающие правду и добросовестность в передаче исторических фактов «буржуазным предвзвешиванием», и поднесь повторяют эту заведомую клевету. В Советской Исторической Энциклопедии (т. I, стр. 373) читаем: *Александра Федоровна...* «Во время первой мировой войны была сторонницей заключения сепаратного мира». И в Большой Советской Энциклопедии (т. 44, стр. 562, в статье: Февральская революция 1917 г.) бесстыдно сообщается как факт: «Царизм рассчитывал укрепить свое положение посредством заключения сепаратного мира с Германией».

тый враждебной царице молвой, так дискредитировал царский двор и, вместе с тем, монархическую идею в обществе, в народе и в армии, что когда царский строй рушился, ни одна рука (кроме несчастных петроградских полицейских) не поднялась на его защиту.

Можно и должно испытывать чувства сострадания и жалости к несчастной царице, трагически погибшей, вместе со всей семьей, от злодейских рук ленинских чекистов, но если отвлечься от эмоций и отыскивать индивидуальных виновников катастрофы, постигшей российскую монархию, то первое место в ряду этих виновников принадлежит — не субъективно, но объективно — императрице Александре Федоровне (хотя, конечно, в гибели национальной России, в большей или меньшей степени, повинны все россияне современники Февраля и Октября).

В заключение своей статьи я хочу привести эпитафию Российской Империи и ее последнему монарху, которую написал великий британский государственный человек, крупный историк и выдающийся писатель Уинстон Черчилль. Говоря об участии России в мировой войне и о личной роли государя, Черчилль пишет:

«Несомненно, что ни к одной иной стране судьба не была столь жестока как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда уже был виден порт. Она в действительности уже выдержала бурю, когда все было брошено. Все жертвы были принесены, весь труд завершен. Отчаяние и измена овладели властью в тот момент, когда дело уже было сделано.

Долгое отступление закончилось; снарядный голод был преодолен; вооружение текло широким потоком; более сильные, более многочисленные и лучше снабженные армии охраняли огромный фронт; тыловые сборные пункты были полны здоровыми людьми. Алексеев командовал армией и Колчак флотом. К тому же, никаких трудных действий теперь не требовалось; надо было только оставаться на месте и давить тяжелым весом на растянутые немецкие линии фронта; без особых усилий удерживать на фронте ослабленные неприятельские силы; словом, держаться — вот все, что стояло между Россией и плодами полной победы.

Действительно, Россия приготовила для кампании 1917

года гораздо бóльшую и лучше снабженную армию чем та, с которой она начала войну. В марте еще царь был на своем троне; Российская Империя и народ держались; фронт был надежен и победа насомненна.

Поверхностные люди нашего времени пренебрежительно трактуют царский режим как недальновидную, разложившуюся, ни на что неспособную тиранию. Но обзор 30-ти месяцев войны с Германией и Австрией должен был бы исправить это ошибочное впечатление и выяснить главные факты. Мы должны измерять силу Российской Империи теми ударами, которые она выдержала, теми бедствиями, которые она пережила, теми неиссякаемыми силами, которые она обнаружила, и тем восстановлением сил, на которое она оказалась способна. В управлении государствами, когда происходят великие события, то вождь народа, кто бы он ни был, считается ответственным за неудачи и ему все прощается за успехи. Кто бы ни исполнял работу, кто бы ни составлял планы, порицание или признательность относится к верховной власти.

Почему этот строгий критерий не должен применяться к Николаю II? Он сделал много ошибок, но какой правитель их не делал? Он не был ни великим полководцем, ни великим монархом. Он был только верным, простым человеком средних способностей, доброжелательного характера, опиравшимся в своей жизни на веру в Бога. Но бремя главных решений лежало на нем... Самоотверженный натиск русских армий, спасший Париж в 1914 году; преодоление агонии отступления войск, лишенных снарядов и патронов; постепенный сбор новых сил; победы Брусилова; вступление России в кампанию 1917 года непобежденной, более сильной чем когда-либо; разве нет во всем этом заслуги царя? Несмотря на многие тяжелые ошибки, режим, который он олицетворял, которого он был главою, в этот момент выигрывал войну для России». Россия пала, «когда победа была уже в руках».⁶

Может показаться, что слова Черчиля находятся в противоречии с моим предыдущим изложением, но в дей-

⁶ Winston S. Churchill. *The World Crisis 1916-1918*. Vol. I. New York, 1927, pp. 227-229.

ствительности они лишь дополняют его. Общее заключение: в крушении Империи главную роль играли не военно-стратегические и не социально-экономические, но общественно-психологические факторы.

С. Пушкарёв

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

О И. А. ПЯТНИЦКОМ (ТАРСИСЕ)*

Биографическая справка об Иосифе (Осипе) Ароновиче Пятницком: «Родился в 1883 году, советский государственный и партийный деятель, член коммунистической партии с 1898 года, участвовал в созыве 2-го (1903) и 3-го (1905) съездов РСДРП, в работе Пражской конференции РСДРП (1912); в 1917 году член МК и Исполкома Моссовета; с 1921 года работал в Коминтерне, с 1923 года секретарь Исполкома Коминтерна; на 13-ом (1924) по 17-ый (1934) съездах партии избирался членом ЦК ВКП(б)». (Энциклопедический словарь, изд. Советской энциклопедии, Москва, 1964).

Эта биографическая справка дает главные даты жизни И. А. Пятницкого так, как это считается теперь полезным и необходимым в Сов. Союзе. Но уже с первого взгляда ясно, что целый период жизни Пятницкого (после 1934 года) остается совершенно не освещенным. Ничего не говорится и о смерти И. А. Пятницкого в 1939 году.

Мне пришлось впервые познакомиться с Пятницким в 1924 году. В дальнейшем, когда мы работали вместе в Исполкоме Коминтерна (ИККИ), мы стали близкими знакомыми. Пятницкий подробно рассказывал мне о своей жизни и партийной работе до революции. Эти мои воспоминания могут быть полезны тем, кто интересуется И. А. Пятницким и историей революции.

Пятницкий происходил из очень бедной еврейской семьи

* Воспоминания о И. А. Пятницком (Тарсисе) принадлежат бывшему видному коммунисту — И. М. Бергеру, который в 20-х годах работал вместе с Пятницким в Коминтерне, в еврейской секции. В годы ежовщины И. М. Бергер был репрессирован и провел в концлагерях около 20 лет. В 1956 году он был амнистирован и ему, как уроженцу Израиля, было разрешено выехать из СССР в Израиль, где он сейчас и живет. И. М. Бергер выпустил ценную книгу о советских концлагерях. РЕД.

в Белоруссии. В детстве он не получил никакого образования и, самоучкой научившись читать, стал читать разные брошюры, листовки, газеты на русском языке, связанные с рабочим движением. В своих рассказах он вспоминал, что и читать-то он научился не по букварю, а по газетам и листовкам, многие из которых были революционного характера. В семье его говорили главным образом по-еврейски (идиш) и своим образованием он обязан только самому себе.

Родители отдали его рано в обучение к портному и до того как примкнуть к революционному движению он некоторое время был ремесленником-портным. Но в возрасте 17 лет Пятницкий окончательно связал свою жизнь с революционным движением.

Естественно было ожидать, чтобы юноша Пятницкий присоединился к одной из еврейских революционных групп, которые тогда формировались на окраинах России. (В 1897 году, например, был основан еврейский «Бунд», в 1898 году был созван первый конгресс Всемирной сионистской организации в Базеле, кроме того развивались местные профессиональные союзы с преобладающим участием в них еврейских рабочих). Однако Пятницкого с самого начала привлекала перспектива участия не в специфически еврейской революционной организации, а в общероссийской партии.

Однажды, вспоминая первые этапы своего участия в революционном движении, он рассказал мне, что на него решительным образом повлияло то, что он называл «бесперспективностью» узконациональной еврейской партии. Он рассуждал примерно так: угнетение пролетариата происходит от государственной власти, которая находится в руках царя и помещиков, следовательно, борьба против них может вестись только народом, составляющим большинство населения — русскими. Этот взгляд привел его в ряды русской социал-демократической рабочей партии. Это было еще в то время, когда эта партия была только что основана и немногочисленные ее организации по всей стране вели подготовку к второму партийному съезду. (На этом съезде, как известно, произошел раскол между сторонниками Ленина и меньшевиками).

По рассказам Пятницкого — а рассказывал он про этот период в 20-ых годах с большой гордостью — он, как только узнал о разных группах внутри партии, присоединился к боль-

шевикам и, несмотря на свой возраст (ему тогда исполнился 21 год) стал активно участвовать в подготовке следующего съезда партии. Это был, как Пятницкий подчеркивал, чисто большевистский съезд, в котором принимали участие только ленинцы. Меньшевики бойкотировали этот съезд и впоследствии не признавали его решений.

В годы усиленной активности революционных групп, предшествовавшие 1905 году, Пятницкий стал одним из тех большевистских активистов, которые преследовались и были под особым надзором полиции. Он неоднократно арестовывался, ссылаясь, совершил несколько побегов из тюрьмы и из ссылки.

После революции 1905 года Пятницкий «специализировался» на одном виде партийной работы, ставшем особенно актуальным в период перед началом первой мировой войны: он занимался переправкой партийной литературы из Германии в Россию. Эта работа требовала очень большого напряжения, умения создавать конспиративные аппараты, а также требовала безусловного доверия со стороны партийного руководства. Это руководство, находясь за границей, вынуждено было всецело полагаться на тех, кто ведал переправкой литературы, чтобы иметь уверенность в том, что решения Центра будут известны партийным кадрам внутри страны.

Придавая большое значение доставке партийной литературы в Россию, руководство партии специально поставило вопрос об ответственности за эту работу на Пражской конференции большевиков 1912 года. Решением этой конференции была создана специальная «техническая транспортная группа». Ее руководителем, «главным транспортером», был назначен И. А. Пятницкий. Возложенная тогда на Пятницкого ответственность, и доверие, оказанное ему Центром, были и в дальнейшем, вплоть до революции 17-го года, характерны для положения Пятницкого внутри партии.

Однако в период первой мировой войны произошли события, несколько отдалившие Пятницкого от непосредственного участия в партийном руководстве. Начало войны он встретил в тюрьме. Он был одним из многочисленных деятелей революционного подполья, эсеров, меньшевиков, большевиков, которые были освобождены после падения самодержавия, и которые принимали участие в политической борьбе в период Керенского.

Пятницкий после своего освобождения жил в Москве и

стал одной из центральных фигур в Московском комитете партии и в созданном им центре по руководству борьбой с «юнкерами, засевшими в Кремле» (этими словами он описывал то, что, на его взгляд, казалось главным в событиях ноября 1917 года). Впоследствии, в 20-х годах, Пятницкий особенно подробно и охотно описывал этот эпизод из своей жизни.

Первые годы после революции Пятницкий работал главным образом в Московском Комитете и в Исполкоме Моссовета, членом которого он состоял. В 1919 году (1-го марта) было объявлено о создании 3-го, коммунистического, Интернационала. Председателем его был избран Г. Зиновьев. Уже в первые месяцы существования Коминтерна началась острая внутренняя борьба. Эта была борьба за влияние внутри этой организации, а точнее за верность той линии, которую большевистская партия считала необходимой для успеха мировой революции.

Разумеется, когда примерно через десять лет, в конце двадцатых годов, Пятницкий рассказывал об этих первых месяцах и годах существования Коминтерна (и когда мне приходилось слушать эти рассказы) на первый план выдвигался не столько вопрос об идеологических разногласиях (которые раньше фактически заполняли все), сколько вопрос о тех мерах, которые способствовали бы обеспечению главенствующей роли большевистской партии СССР.

Первое время руководители Коминтерна должны были выбираться по примеру 2-го Интернационала. В руководство выбирались представители всех компартий, так что как крупные партии, так и небольшие, более или менее активно участвовали в руководстве. Не только Исполнительный комитет, но и различные комиссии и секретариат и т. д. носили ярко выраженный интернациональный характер. Большевистская партия, а именно члены Исполкома К. И. от этой партии, как Ленин, Троцкий и другие, были заинтересованы в том, чтобы Коминтерн имел действительно интернациональный характер и чтобы его решения — воззвания и резолюции — вырабатывались при участии представленных в нем партий, а не могли рассматриваться как отражающие взгляды только одной советской делегации. Советские руководители Коминтерна избегали видимости навязывания своих решений другим партиям, но вместе с тем они были заинтересованы в том, чтобы проводились именно их «установки». Поэтому уже тогда, в первые годы существования Коминтерна, оказалось необходимым существование крепкого сплю-

ченного «аппарата» Коминтерна. Наряду с Зиновьевым, уже в 1919 году, в руководство Коминтерном вошла Анжелика Балабанова, назначенная секретарем Исполкома. Балабанова принадлежала к крайне левой группе итальянской социалистической партии и 2-го Интернационала. Как фигура, пользовавшаяся авторитетом, как в западном социалистическом движении, так, с другой стороны, и в большевистской партии, она, по предложению Ленина, была выдвинута в руководство Коминтерна.

Со слов самой Анжелики Балабановой, с которой я встретился в 1961 г., незадолго до ее смерти в Риме, я узнал о тех трудностях, которые возникли сразу же после ее назначения. С одной стороны, Ленин относился к ней с большим доверием и поощрял ее усилия находить общий язык с представителями разных партий, даже если они не были согласны с большевиками. Но с другой — председатель Исполкома Зиновьев неуклонно проводил не только все решения большевистской делегации, но кроме того на практике пытался распоряжаться в Исполкоме Коминтерна «как в своей вотчине».

Балабанова все больше чувствовала, что она служит вывеской, и что фактически проводится то, на чем настаивает советская делегация. Уже тогда, 50 лет назад, Балабанова после целого ряда острых столкновений поняла, что руководителем Коминтерна был Зиновьев, а его главной опорой — «аппарат». Именно на аппарат и на его безупречное действие возлагала свои надежды советская делегация в Коминтерне. И именно противопоставление международных традиций этому аппарату пыталась было осуществить Балабанова. Этот конфликт через некоторое время обострился до такой степени, что уход Балабановой с поста секретаря Коминтерна стал неизбежен. Она ушла и уехала из Сов. Союза.

С началом двадцатых годов определились, с одной стороны, победа большевиков на всем пространстве бывшей Российской империи, а с другой — поражение коммунизма на международной арене. Все это привело к дальнейшим переменам и в методах и в общей линии деятельности Коминтерна. В 1921 году состоялся 3-ий конгресс Коминтерна. Он проходил в период спада революционной волны. Руководство Коминтерна, хотя и провозглашало свою веру в новый скорый подъем, однако сознавало, что нужно революционную работу строить по-новому, что нужно работать с дальним прицелом.

Вопрос о влиянии советской партии в Коминтерне был вы-

двинут целым рядом партий и был центральным вопросом, обсуждавшимся тогда в дискуссиях между русскими большевиками и немецкими (Пауль Леви), итальянскими (Серрати) и т. д. Во главу угла была поставлена задача распространения большевистского влияния, укрепления большевистской дисциплины, больше того, задача практического превращения Исполкома Коминтерна в «штаб мировой революции».

Исходя из этого усилившегося влияния «штаба» еще более расширялся и укреплялся аппарат Коминтерна. В этот период секретарем Исполкома и был назначен И. А. Пятницкий. Смысл этого назначения был прост: предстояло организовать международную большевистскую партию. По убеждению руководителей Коминтерна, у большевиков имелось налицо множество ошибок, которые следовало устранить в разных партиях и у них не было сомнений в том, что разные отряды международного пролетариата нуждались в первую очередь в руководстве со стороны старых революционеров-большевиков.

Директивы руководящего центра, Исполкома Коминтерна, нужно было таким образом передавать на места, превратить связь между разными партиями и ИККИ в непосредственную живую связь и осуществлять эту связь должен был преданный и опытный специалист этого дела, «главный транспортер» большевистской партии 1912 года.

Казалось бы, дело очень простое: если в дореволюционные годы перевозка большевистской литературы была стержнем революционной работы, то по тому же образцу снабжение литературой, указаниями и директивами, должно было быть главным элементом в большевистском «перевоспитании» немецких, итальянских, французских и других коммунистов-рабочих. У руководителей как РКП, так и Коминтерна было твердое убеждение, что объективно назрела мировая революция, что победа пролетариата может быть осуществлена быстрее и легче, чем в России. Если Пятницкий накануне первой мировой войны организовал массовый перевоз большевистской литературы с запада на восток, из Лейпцига в Питер, имея в своем распоряжении лишь ограниченные средства, а против себя всю мощь царского аппарата, то ему предстояло сейчас, в 20-ые годы, направить поток большевистской пропаганды с востока на запад, с Моховой — возле московского Кремля — на заводы Гамбурга, Берлина, Глазго, Турина. Это казалось бы было гарантией победы в мировом масштабе.

Функция Пятницкого была как будто не политическая, а технически-организационная. Политикой занимались Зиновьев, Бухарин, Мануильский и другие, а на Пятницкого возлагалось практическое осуществление принятых решений. Но фактически в руках Пятницкого сосредоточивалась все больше и больше власть в Коминтерне. В его руках был контроль над выполнением решений, от него зависела очередность, срочность того или иного решения.

Пятницкому подчинялся аппарат, в его руках были международные связи (так называемый ОМС Коминтерна). Это был аппарат, который ведал не только направлением и распределением печатных материалов на разных языках, но и распоряжался десятками и сотнями сотрудников всех национальностей, подчиненных этому аппарату. В двадцатые годы этот аппарат разросся до очень значительных размеров; были установлены местные отделения аппарата Коминтерна и во всех более или менее значительных центрах Европы.

Директивы Исполкома Коминтерна проходили через Пятницкого, под его наблюдением рассылались шифрованные инструкции, в его руках находилось руководство всеми крупными «акциями», которые вырабатывало руководство Коминтерна. Его большой заботой было ограждение коммунистических кадров в разных странах от опасности провала, от преследований, а также от неосторожного поведения, которое могло поставить под угрозу мероприятия, намеченные к исполнению. Наконец, в руках И. А. Пятницкого находился важный инструмент деятельности Коминтерна: в его руках был бюджет, касса Коминтерна. Средства, которыми располагал Исполком, формально поступали от членских взносов разных компартий. Фактически же главные суммы в кассу Коминтерна направляла РКП(б)-ВКП(б).

Распространенное мнение о том, что через кассу Коминтерна проходили миллионные, баснословные суммы денег (или драгоценностей), по-моему, преувеличено. Однако бюджет Коминтерна был финансовой основой агитации и пропаганды, а также создания аппаратов почти всех коммунистических партий. Власть Пятницкого в вопросе об увеличении (или уменьшении) субсидий была решающей, если не для существования партий, то во всяком случае для успеха отдельных акций. Удельный вес Пятницкого в Исполкоме Коминтерна вырос значительно в середине двадцатых годов. Тогда произошло крупное

столкновение внутри Центрального комитета, которое отразилось не только на политической линии Коминтерна, но и персонально на составе его руководства. С 1925-го года началась, раньше в очень скрытой незаметной форме, а потом — все более явная, борьба внутри русской делегации в Исполкоме, перешедшая в период между 25-ым и 28-ым годами в борьбу за овладение аппаратом Исполкома.

В бытность свою председателем Исполкома Зиновьев старался обеспечить наличие преданных ему людей на решающих участках. Когда после 14-го съезда Зиновьев оказался в оппозиции, началась кампания очистки аппарата от «зиновьевцев», подобно тому как все подозреваемые в оппозиции выводились в то время из составов исполкомов ленинградского совета, московского совета и т. д. Позиция Пятницкого оказалась весьма затруднительной. Он фактически был связан не только с ленинским кругом (в течение двух-трех десятков лет), но и за последний период — за время своей работы секретарем Коминтерна считался «человеком Зиновьева».

Во внутривнутрипартийной борьбе Пятницкий придерживался строгой линии ЦК. Однако когда дело дошло до устранения Зиновьева с поста председателя Исполкома и до вывода его из членов Исполкома, перед Пятницким встала трудная альтернатива: он должен был или включиться в активную борьбу против Зиновьева и его людей или же уйти самому из Секретариата. Исход «дела Пятницкого» на этом этапе (1925-27 гг.) был определен решением Секретариата ЦК ВКП(б), т. е. И. В. Сталиным. Было решено оставить Пятницкого секретарем Исполкома, и он продолжал работать на этом посту до 1936-го года.

В последние годы своей работы Пятницкий становился все более мрачным и нелюдимым. Уже его работа в подполье наложила на него отпечаток странной молчаливости. Он отличался строго формальным отношением ко всем сотрудникам, причем настаивал на скрупулезном выполнении решений, на безусловной дисциплине. При этом однако у Пятницкого было чувство справедливости. От него зависели решения по организационным вопросам. Я часто наблюдал, как он избегал всякого решения, которое могло бы нанести обиду отдельным товарищам и старался в осуществлении решений находить более благоприятные для отдельных лиц варианты. Лично он редко сближался

с людьми, с которыми имел дело по работе. Круг его друзей был небольшой, преимущественно старые подпольщики.

В начале тридцатых годов, когда отношения внутри партии становились все более напряженными, и от мер партийного взыскания Сталин стал переходить к арестам и расстрелам, у Пятницкого появилась еще бóльшая сдержанность во встречах и разговорах. Конечно, не было речи о каких-либо критических замечаниях или о каком-либо противодействии мерам террора. Позиция Пятницкого в это время лучше всего определяется следующим эпизодом. В 1932 году (или в 1933) однажды не явился на работу молодой способный сотрудник Пятницкого Идельсон. Идельсон считался близким к Пятницкому человеком, к которому Пятницкий питал безграничное доверие. В день «исчезновения» Идельсона я зашел в приемную Пятницкого, где рядом с его технической секретаршей сидела женщина. Она была крайне взволнована. Это была родственница Идельсона. Она только что вышла из кабинета Пятницкого, которому сообщила о том, что прошлой ночью Идельсон был арестован. Пятницкий спросил: «А кто его арестовал?» Ответ был: «ГПУ». На это Пятницкий в деловом тоне сказал: «А ведь ГПУ знает кого арестовывает». На этом разговор был окончен.

Кольцо террора сжималось все уже. Террор стал доходить до работников на самых высоких постах, до коммунистов с большим стажем, наконец, до членов ЦК партии. В начале 1934 года происходил 17-ый съезд ВКП(б). Этот съезд был объявлен «съездом победителей» и проходил под знаком раздувания культа личности Сталина. В недрах съезда шли однако процессы другого рода: выборы Центрального комитета были (как всегда) тайными, и при подсчете голосов оказалось, что Сталин был избран не единогласно. Часть делегатов съезда за Сталина не голосовала. А кроме того оказалось, что единогласно был избран член ЦК И. А. Пятницкий.

Вскоре решением секретариата ВКП(б) Пятницкий был устранен от работы в Исполкоме Коминтерна и переведен на другую должность — заведующим отделом научных институтов при ЦК партии. Однако и там он долго не проработал. В 1937 году под руководством Н. И. Ежова стала проводиться чистка самого ЦК партии. Списки арестованных утверждались Сталиным. Оказалось, что именно арест Пятницкого вызвал такое возмущение у членов ЦК, которые были созданы на пленум в

июле 1937 года, что на этом пленуме выступила группа в десять членов ЦК с критикой поведения Ежова, который якобы без согласия ЦК арестовывал его членов, избранных 17-ым съездом. Как пример приводился арест Пятницкого. Этот своеобразный «бунт на коленях» был подавлен Сталиным немедленно, а период между июльским пленумом и концом 1937 года был использован Ежовым для жестокой расправы с членам ЦК ВКП(б). Был расстрелян и Пятницкий.

И. Бергер

ОТ РЕДАКЦИИ

Ввиду обилия полученного из СССР материала мы были вынуждены отложить до следующей книги несколько уже набранных статей и весь отдел библиографии. Этот материал появится в книге 94-ой.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

...

В 1969 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

...

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 3 долл.

Во Франции — 10 франков

...

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.
